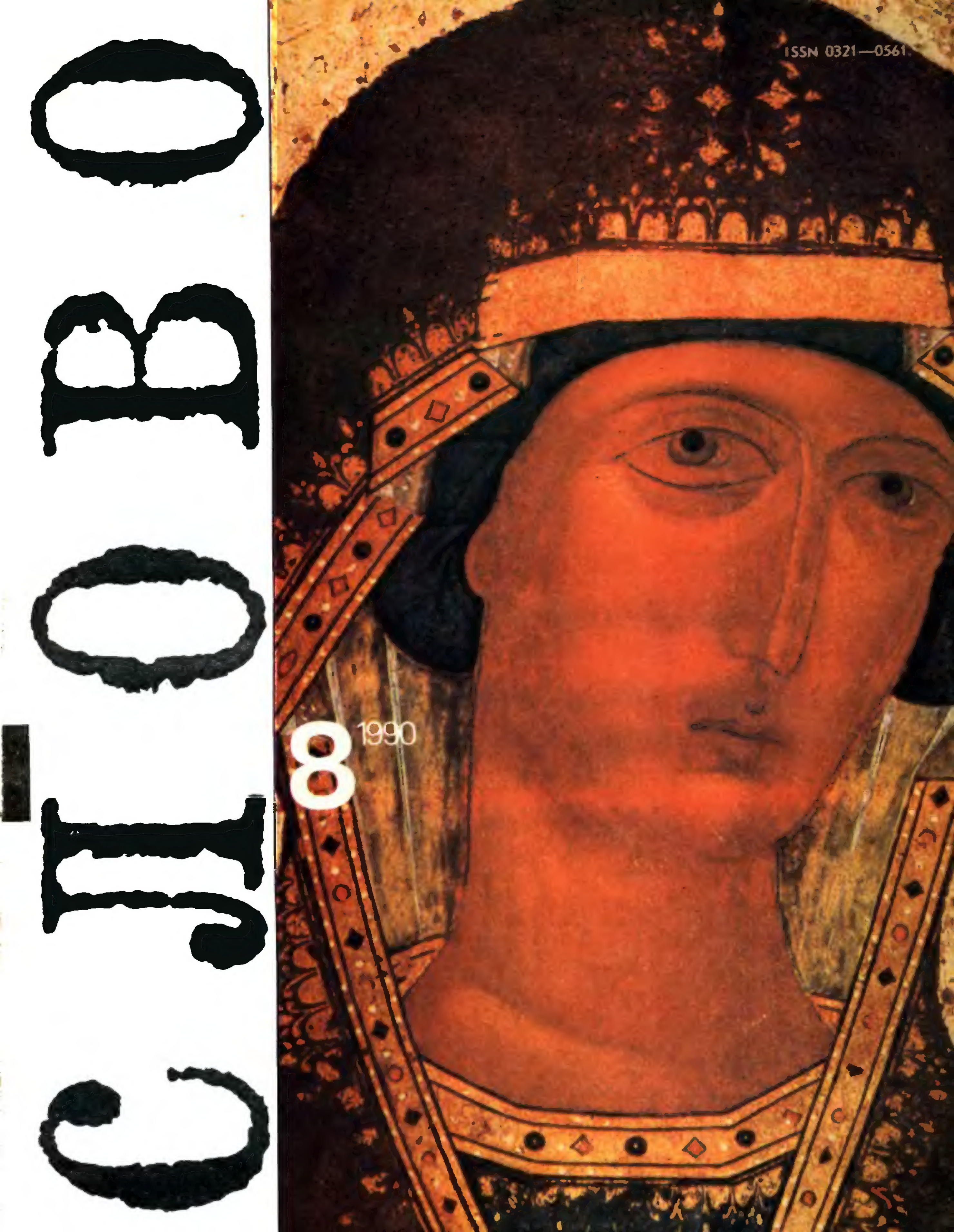

СЛОВО
ISSN 0321—0561
8
1990



Сергий Радонежский. Ксилография.
Записки художника Сергея Харламова на стр. 27.

ВРЕМЯ

Идеи. Диалоги. Поиски.

На первой обложке икона «Богоматерь Одигитрия» работы Дионисия (хранится в Государственном Русском музее). В этом году культурный мир отмечает 550-летие со дня рождения этого великого художника Древней Руси.

книга и перестройка: некоторые итоги

Прошло немало времени с тех пор, как в пятом номере нашего журнала за прошлый год была начата публикация материалов под рубрикой «Книга и перестройка». Напомним, что открывала ее статья «Путь к читателю — хозрасчет и демократия» председателя Госкомиздата СССР (ныне Госкомпечать). Этот заголовок по существу и очертил основное содержание рассматривавшихся в рубрике проблем.

Более двадцати материалов — статей, интервью, репортажей — было напечатано под рубрикой «Книга и перестройка». В чем не откажешь их авторам, так это в искренности радения за достойную жизнь отечественной книги среди читателей, решительный поворот к демократическому, наполненному гуманизмом книгоизданию. Однако главным камнем преткновения в осуществлении этих планов и надежд авторы материалов рубрики, как правило, считают, так сказать, материальную сторону дела — скудность бумажных ресурсов, низкое качество полиграфии. То есть, как и прежде, перед глазами стоит «вал» продукции, которым и обеспечивается выполнение плана. Но почти никто из авторов рубрики не дал конкретных, хорошо обоснованных предложений по выработке долгосрочной программы книгоиздания, максимально приближенной к нуждам читателей и задачам его нравственного и духовного очищения. А ведь вопрос этот видится основополагающим для целесообразного существования отрасли.

По итогам деятельности предприятий и организаций Госкомпечати СССР за 1989 год государственные план и заказ выполнены. Выпуск книг в стране составил 2,2 миллиарда экземпляров (из них почти 1,5 миллиарда приходится на систему Госкомпечати). Тем не менее положение дел в отрасли (а значит и настроение читателей) существенно не улучшилось. 61 тысяча наименований, 55 миллионов экземпляров книг центральных, республиканских, областных и других издательств, выпущенных в 1986—1987 годах, не распроданы. Продолжаются сложные процессы вживания отрасли в новые условия работы. С одной стороны, декларируется демократизация книгоиздания, что означает и общедоступность, невысокую стоимость книги, а с другой — расширяется его коммерциализация. Не только кооперативы, но и «формальные» издательства быстро наращивают темпы и объемы выпуска литературы по договорным, то есть завышенным ценам.

Но не будем на этом основании обвинять всех и вся в погоне за длинным рублем. В конце концов начинает действовать свободный рынок — пришла вынужденная, суровая реальность. Тем не менее ее жесткие и даже жестокие условия не должны наносить удар главному в культурной политике — заботе о духовном здоровье народа.

Много лет слава о советском читателе основывалась, главным образом, на количественных показателях. Их противоречивость показывает профессор А. И. Соловьев, статьей которого мы и заканчиваем разговор в рубрике «Книга и перестройка». Ныне, оглянувшись, как следует осмотревшись, осмелев в атмосфере демократизма и гласности, наши теоретики книги и чтения все настойчивее стали фиксировать внимание общества на бедах миллионов читателей — недостаточно образованных, не имеющих таких стойких литературных интересов, которые возвышают душу и облагораживают сердце. Современный читатель нашего общества, оказалось, не в состоянии формировать свои книжные запросы — они случайны, поверхностны, порой даже наивны.

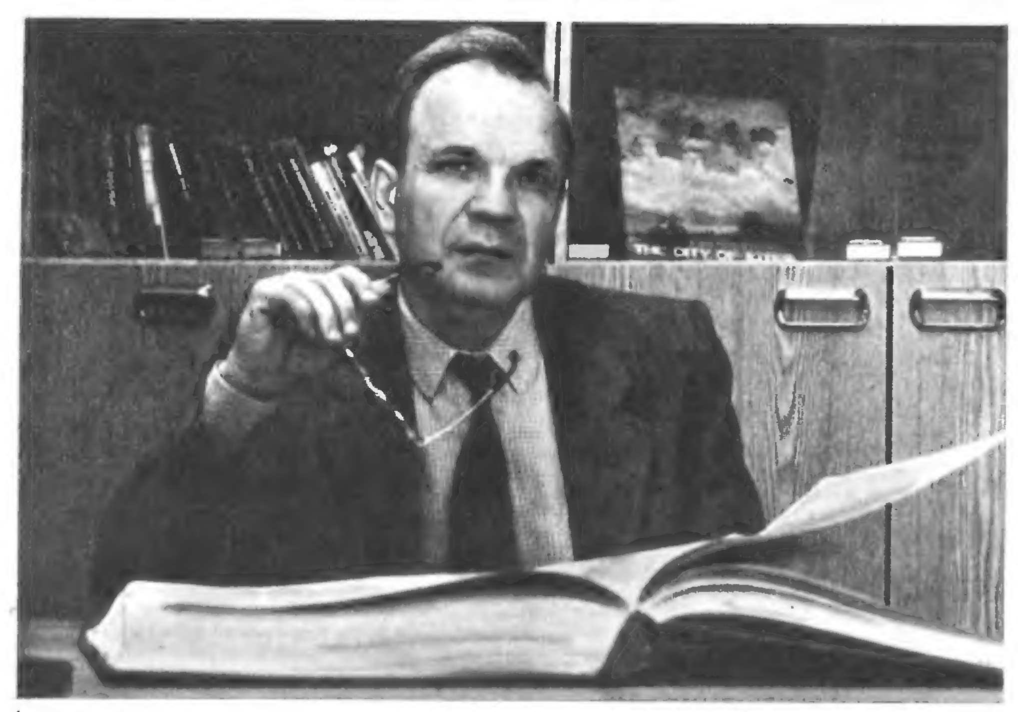
Вспомним в этой связи почти уже забытого, как и многие другие русские просветители, выдающегося библиографа Н. А. Рубакина, который путем многолетних исследований в гуще народа пришел к выводу, что 600 книг — вот максимум, достаточный для чтения и образования любому человеку на всю жизнь. Но книг самых нужных, самых лучших. И, к слову сказать, Рубакин эти книги называл. Тщетно будем сегодня искать подобных подвижников — их нет, как и, к стыду нашему, нет до сей поры цельной, опирающейся на достижения отечественного и мирового духа и знания, комплексной программы выпуска книг. Одна надежда — на корифеев издательского дела, библиографов, науку. Но создается впечатление, что весь этот сонм теоретической и практической мысли и поныне продолжает видеть перед собой какую-то аморфную, не доведенную до ума конструкцию — «массового читателя», то есть множество людей самого разного уровня знаний, способностей и материальных возможностей. А ведь этот «массовый читатель» — основа моделирования всей нашей издательской деятельности...

Отношение к книге и чтению всегда служило мерилом культуры общества. К сожалению, у Верховного Совета и, видимо, у правительства тоже руки пока не доходят до нужд отрасли. Но не пора ли им, наконец, осознать, что все экономические и социальные беды, омрачающие нашу жизнь, — следствие прежде всего недостаточности знаний, низкой культуры, то есть напрямую зависят от книжных проблем. Так что ленинская идея о всеобщей доступности книги не претворена в жизнь. А ведь еще И. Д. Сытин упорно стремился дорогую книгу удешевить, а дешевую качественно улучшить. Его издательские программы, как и многих других отечественных издателей прошлого — А. Ф. Смирдина, М. О. Вольфа, К. Т. Солдатенкова, А. С. Суворина, П. П. Сойкина, А. Ф. Маркса — составляли лучшие, самые светлые умы России. И какая большая потеря, что преемственность накопленных веками духовных ценностей русской культуры опрометчиво нарушена в надежде на «очищающую» силу новых постулатов. Прервалась естественная связь мысли, наработок долгого вдумчивого труда умных, предприимчивых, высоконравственных людей.

Путь к оздоровлению нашего книжного дела один — он лежит в русле отечественной культуры. Возрождение из забвения ее лучших традиций и достижений в соединении с сегодняшним знанием смогут создать не ходульный образ «самого читающего» читателя, а действительно современного, широко образованного, достойного высоких идеалов своего Отечества гражданина.

Вот почему, оставляя в стороне освещение экономической, хозяйственной, организационной стороны дела в отрасли, мы решили сосредоточить теперь внимание на духовной, нравственной сущности и судьбе нашего книгоиздания. Среди множества собранных В. И. Далем русских пословиц и поговорок есть и такая: на всякую перестройку смело клади вполовину больше сметы. Нам кажется, что свой новый взгляд на проблему, который мы постарались здесь разъяснить в связи со сменой рубрики, и сможет прибавить важную часть к прежней «смете».

ЮРИЙ ЧЕРНЕЛЕВСКИЙ,
обозреватель «Слова»



СОЛОВЬЕВ Анатолий Иванович родился в 1939 году, получил высшее педагогическое образование. Работал на телевидении, находился на комсомольской и партийной работе в Иркутске и Москве, преподавал в вузах. Автор нескольких книг и брошюр. Профессор, доктор философских наук. В настоящее время — директор научно-исследовательского Института книги.

Фото АЛЕКСАНДРА ШАТРОВА

АНАТОЛИЙ СОЛОВЬЕВ

КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА: ОПАСНОЕ ПАДЕНИЕ

Прежде всего хочу оговориться — все, что я здесь скажу, это лишь первые подходы к осмыслению тех сложных проблем, которые характерны для сегодняшнего бытия отечественной книги. И бытия весьма тревожного. Сформировавшийся за последние шестьдесят лет вульгарный идеологизм вкупе с технократизмом и деляческим прагматизмом стали главными причинами возникновения авторитарно-бюрократических извращений книжного дела в стране. Из этого, разумеется, не следует, что тем самым мы стали чуть ли не застрельщиками насилия над книгой и свободной мыслью. Во все времена (в том числе и в России) Слово находилось в авангарде всех идеологических движений, в самой гуще конфронтаций мировоззрений, становясь кафедрой, трибуной и даже трибуналом над общественными взглядами. Сколько раз книга восходила на костер или эшафот то жертвой, то палачом!

Но что нам обращаться к скрижалям истории — и в нашем обществе недавнего прошлого книга оказывалась инструментом духовного манипулирования людьми, средством социальной демагогии, идеологической опорой диктатуры. В нашей книжной, а значит и социально-культурной традиции образовался огромный «котлован» размером в несколько поколений. Потому что были разорваны сосуды культурной, интеллектуальной преемственности, питающие духовный и творческий потенциал народа. К чему это привело, хорошо известно — выросло великое множество людей вульгарно-технократической ориентации, либо не желающих, либо уже не способных читать что-то другое, кроме сентиментально-развлекательного и детективного ширпотреба. Даже значительное число сегодняшних интеллигентов не испытывают потребности знать, понимать и культивировать идеи, рожденные творчеством Сократа и Леонардо да Винчи, Рублева и Аввакума, Гоголя и Достоевского, Соловьева и Флоренского, Н. Вавилова и Вернадского...

Одна из главнейших задач всего нашего общества — вернуть в руки народа право: «От диктата производителя — к господству потребителя». Сделать это, прямо скажем, нелегко — десятки лет жизни в путах административной системы привели к тому, что не только наука, но и практика оказались беспомощными перед лицом обнажившихся вдруг духовных и нравственных проблем. Одна из них — потеря все большего год от года объема социальной памяти, которая напрямую зависит от многообразия научной и художественной литературы. Ведь именно в многообразии книг находят свое место любые новые научные направления, открытия и даже туманные гипотезы, концентрируется весь круг идей, знаний, опыта, то есть то, что мы называем интеллектуальным потенциалом, духовным богатством народа.

С этих позиций, хотя бы бегло, не вдаваясь в подробности, посмотрим, как же менялось количество изданий по мере развития страны. Не трудно определить, что этот показатель напрямую связан с подъемом или спадом в ее духовной жизни. Рост приходится на два периода: 1925—1931 годы, когда стали сказываться результаты нэпа (от 32 до 55 тысяч названий), и времена «хрущевской оттепели» (от 55 тысяч названий в 1955 году до 79 тысяч в 1962-ом). Зато резкий спад пришелся на годы нарастания сталинских репрессий (от 55 тысяч названий в 1931 году до 38 тысяч в 1937-ом), хотя в тот период, впрочем как и в годы застоя, фарисейски эксплуатировалось ленинское положение о том, что социализм должен быть силен сознательностью масс, когда массы все знают, все понимают, на все идут сознательно...

Конечно, не таким уж наивным может показаться вопрос: «А может быть, большего числа книг советскому читателю не требуется?» Но да-

вайте сравним наше положение с США. Там на один миллион населения издается ежегодно 600 названий книг и брошюр. У нас в два раза меньше. Многое стоит за столь не главным в общегосударственной статистике показателем — числом изданий. Он — один из самых красноречивых отражений темпов общественного прогресса, перспектив будущего страны.

Что, например, означает уменьшение числа изданий научной и производственно-технической литературы? Сужение возможностей возникновения новых направлений в науке, технике, культуре, оскудение интеллекта народа. Между тем наше книгоиздание в новых условиях хозрасчета, когда началась безудержная погоня за денежной выгодой, все более отчуждается от интересов «узких» отраслей науки и культуры, где чаще всего и формируется новое знание, возникают новые идеи, теоретические и практические разработки. Сегодня малотиражная книга, рассчитанная на «узких» специалистов, не выгодна. Но разве не может не тревожить, что из-за такого деляческого подхода фаза признания в науке, технике и литературе сдвинута у нас уже на 15—20 лет. Великая страна, располагающая четвертью всех научных работников мира, теряет первенство во многих исследованиях и разработках.

Где же выход? В создании эффективной системы госзаказа на издание малотиражных книг, несущих в себе даже риск оригинальных и новых идей. Резонен вопрос — где взять средства на выпуск такой литературы? Да просто делать так, как давно практикуют в западных странах, — покрывать расходы за счет высоких и легких доходов, которые поступают за счет издания детективов, фантастики, переизданий популярных имен.

Обратившись к художественной литературе, мы столкнемся с другим парадоксом. При ее бездонном у нас дефиците растут залежи нераспроданных романов, повестей, стихотворных сборников. И получается, что книжный дефицит — это чуть ли не голод при изобилии.

Параметры этой уже ставшей в отечественном читательском мире хронической болезни помогают очертить социологи Института книги, как бы говорящие голосом «страдающей стороны». 56 процентов читателей с трудом могут купить нужную книгу в магазине, 73 процента не могут получить ее в библиотеке. И почти половина наших респондентов считают причиной тому недостаточно продуманную книгоиздательскую политику. Однако нельзя замалчивать и изъяны книжной торговли, например, протекционизм при распределении дефицитных изданий. С достаточной долей достоверности можно сказать, что при тираже книги в 100 тысяч экземпляров она по существу оседает среди «номенклатуры», торговых работников и спекулянтов. Логическое следствие — неуклонное возрастание использования книги как «рейтинга престижности», эквивалента в натуральном обмене на другие товары, средства для оказания взаимных услуг.

С другой стороны, даже по нашим очень осторожным прикидкам не менее десятой части книгоиздательской продукции не находят сбыта даже спустя три-четыре года после выхода в свет. Библиотечные залежи «мертвых книг» достигают по некоторым данным от 2 до 2,5 миллиарда экземпляров, то есть чуть ли не половины всего фонда!

Другого вывода быть не может — сложившаяся в стране система издания и распространения книг не отвечает интересам и запросам читателей, а значит, целям духовного обновления общества. Потому что она не обеспечивает полнокровного воспроизводства культуры и искусства, науки и техники, идею перестройки в целом. Десятилетиями упорно не менявшиеся отношения между автором, издателем, книгораспространителем и читателем не удовлетворяют своим результатом — книгой — любознательность, профессиональные и культурные интересы народа.

Очерченный здесь лишь в самых общих чертах кризис отечественной книжной культуры вызвал мощную волну общественного негодования, которое направлено главным образом против Госкомпечати СССР. И такую заданность можно объяснить — именно он несет главную ответственность за благополучие «читального зала» страны. Однако, истины ради, напомню: десятилетия книжного оскудения, омертвление настоящих гор всевозможных изданий, дискриминация, а то и полное отсечение от читателей множества талантливых и самобытных авторов, забвение богатейших традиций книжной культуры Отечества — печальный итог насильственной деформации общественного сознания, следствие отвратительных явлений сталинизма и застоя.

Ныне предпринимаются отчаянные попытки для вывода книжного дела из кризиса. Тем не менее этот процесс развивается крайне медленно. Народ вправе спросить: неужели великая держава не в состоянии выпускать столько и таких книг, которые требуются для нормального интеллектуально-духовного воспроизводства? Проблема настолько значима для судьбы страны, что общественное мнение должно же, наконец, подхлестнуть тех, кто отвечает за производство и распределение бумаги, создание и поставку полиграфического оборудования. Главная надежда здесь — на действенный спрос и контроль со стороны Верховного Совета и правительства СССР.

Закономерно спросить: а что же предлагает наука о книге и чтении? К сожалению, даже ее основные специфические понятия не имеют еще научной определенности. И в самом деле — что есть книга? Кто есть читатель? Каковы границы, за которыми человек может быть отнесен к «нечитателю»? Ответы на эти, как и многие другие вопросы, лежат в контексте понятия «современная книжная культура».

Более полувека характерным для нашей действительности было рождение и существование «нового читателя». Но какого? Сориентированного на привычный, весьма ограниченный набор имен. Специфика нынешней ситуации в «круге чтения» в неожиданном воскрешении из забвения множества литературных имен. На смену, казалось, незыблемым представлениям о «современной литературе» и «хороших книгах» пришли вдруг разнообразие, неоднозначность, множественность и что самое главное — свобода выбора. И вот уже в огромном книжном половодье образуются отдельные потоки, стремнины, заводи... Все это и создает тот плюрализм книжной культуры, по которому мы так истосковались, но который объективно и жестко диктует свои требования к производителям и распространителям печатного слова.

Еще К. Маркс дал универсальный ключ для решения возникающих перед любым обществом проблем: «Идея неизменно посрамляла себя, как только она отрывалась от интереса...» Перефразировав эту мысль, можно сказать: идея административного книгоиздания, во многом оторванного от интересов читателя, посрамила себя. Производители книги, как бы они того ни хотели, не смогут освободиться от все усиливающегося прессинга читательских интересов.

Каков же сегодняшний читатель?

Прежде всего обратимся к активным. К ним главным образом относится интеллигенция, большая часть которой располагает накопленным предыдущими поколениями капиталом книг. Эти люди обладают в силу такого наследства высоким уровнем «культурного старта», имея с детских лет семейную библиотеку в тысячу и более томов. По нашим подсчетам этих библиотек насчитывается около пяти процентов от всего количества домашних собраний. Каждый такой «книжный фонд» делает его обладателя в немалой степени независимым от иных источников получения литературы, позволяет иметь широкий и самостоятельный выбор, устойчиво поддерживать и воспроизводить высокие стандарты культуры. Тот, кто вырос в столь благоприятной книжной атмосфере, как правило, свободен от унылой дидактики сто-

роннего руководителя чтением, с «младых ногтей» приобретает собственную ориентацию в книжном мире и навыки самостоятельного освоения богатств культуры.

Правда, не у каждого из таких хранителей, знатоков и даже экспертов книги одинаково благополучно складывается «книжная жизнь». Имеющих доступ к каналам распределения дефицита явное меньшинство. Основная часть активных читателей, этих главных носителей книжной культуры народа, стонет от книжного голода. Не удовлетворяют их даже массовые тиражи. Произведем несложный расчет. В стране насчитывается более 361 тысячи населенных пунктов, свыше 66 миллионов семей. Если тираж книги равен, к примеру, 100 тысячам экземпляров, то на каждый населенный пункт не приходится даже одного.

По нашим данным, больше других страдают от дефицита книг люди с высшим образованием, кандидаты и доктора наук, студенты. То есть именно активные читатели, ориентированные на лучшие образцы литературы. Число таких людей составляет 40—50 миллионов человек, это девять десятых постоянных посетителей книжных магазинов. Если продолжать политику формирования единообразия книжной культуры, проблему не решить — даже при самом радикальном увеличении производства бумаги наше книгоиздание никогда не сможет давать тиражи в десятки миллионов экземпляров.

Путь видится в другом. Надо «распылить», то есть четко разделить читательские интересы, формировать максимально широкий спектр читательских вкусов и предложений. Пора также отыскать эффективные пути вовлечения в активный книгооборот 50-миллиардного потенциала книг из домашних собраний, выявить книги, которые не востребуются в общественных библиотеках, не доходят до своего адресата. Проблема эта архиважная, ибо от усилий активного читателя во многом зависит нравственное, экономическое, культурное состояние нашего общества. И, несомненно, он должен иметь преимущества в получении книги, особенно перед другой группой читателей, которую можно назвать околономенклатурной элитой.

Не секрет, что некоторые работники торговли и связанные с ними «деловые люди», а то и просто пронырливые обыватели приобретают книги (конечно, имеются в виду супердефицитные) при помощи неформальных, а то и просто нелегальных каналов книгораспространения. И все бы ничего — в конце концов каждый член нашего общества должен иметь право на свободное духовное развитие и получение необходимой книги. Но как легко заметить, в «ареале» коррумпированной элиты книга теряет свою духовную ценность, рассматриваясь прежде всего в качестве редкого товара. Книга в такой среде — деньги, капитал, сокровище, броский элемент интерьера, показатель престижа. В этой малочитающей среде, причем многочисленной, и сконцентрировано то извращение книжной культуры, которое порождено дефицитом и нравственной деградацией. Книга здесь теряет свое социальное, функциональное назначение, и таким образом происходит крайняя степень вырождения, деформация книжной культуры в значительной части нашего общества.

Логическим завершением подобного существования (а вернее сказать, прозябания) книги является ее перекачка в руки книжной мафии «черного рынка», которая по предварительным оценкам Института книги постоянно имеет в своем обращении изданий общей стоимостью от полутора до двух миллиардов рублей. Наши данные говорят и о другом — сегодня каждый девятый покупатель вынужден прибегать к услугам «черного рынка». И рассеивает таким образом свои ядовитые семена антиобщественная мораль...

Но есть еще более тревожные наблюдения — самой массовой социально-культурной группой являются у нас пассивные читатели. И дело здесь не в уровне их образованности. К ним относятся представители всех социально-классовых, профессиональных и национальных слоев взрослого населения. Приобщены они, в основном на школьной скамье, к чтению классики и наиболее издаваемых советских писателей. В книжный магазин такой читатель заходит крайне редко, не более трех-четырех раз в год, имеет дома 200—300 книг. Он забыл дорогу в общественную библиотеку, классику читать бросил, а достать бестселлеры не надеется, что, впрочем, мало его тревожит. По самым приблизительным прикидкам, таких пассивных читателей насчитывается около ста миллионов. Но что интересно — сейчас в этой среде идет благотворный процесс — вновь издающаяся литература о «белых пятнах» отечественной истории, обнаженная, ранящая каждого из нас правда о прошлом и настоящем страны пробудили обостренный интерес к книге и чтению, идет превращение пассивных читателей в активных. Такой внезапный взрыв интереса к чтению у многих миллионов людей придает нынешней ситуации в книгоиздании еще большую остроту, ибо они фактически напрочь отключены от любых официальных и «неформальных» каналов получения популярных новинок. Такие «социальные лишенцы» особенно раздражены недоступностью книги, и с точки зрения социальной культурной политики это раздражение не может не настораживать, требуя принятия быстрых и радикальных мер.

И, наконец, нельзя не сказать о детском чтении, постановка которого носит стратегический характер, ибо оно напрямую связано с воспроизводством интеллектуального и нравственного потенциала нашего общества в XXI веке. А нынешняя картина детского чтения в стране драматична. Все больше наблюдается отчуждение ребенка и подростка от книги. Особенно беспокоит этот процесс в неблагополучной социально-культурной среде, где из-за ограниченности доступа к ценностям духовной культуры, не проявляется должной заботы о развитии вкуса к чтению. Наши исследования зафиксировали: треть детей вообще не любят читать, каждый третий ребенок не может удовлетворить свой читательский интерес, более половины родителей не знают, что же читают их дети.

В свете этих реалий трудно объяснить, почему же происходит снижение объемов выпуска детской литературы. Такой путь чреват тяжелыми последствиями — человек, не обладающий достаточно развитым сознанием и духовной культурой, не сможет адаптироваться в ближайшие десятилетия, он выпадает из системы интеллектуальных ценностей современного мира, эпоха снесет такого человека на обочину жизни...

И последнее наблюдение в «групповом портрете» персонажей книжного мира. Вопреки известной характеристике нашей страны как страны читателей, «нечитателей» у нас предостаточно. Это те 10 процентов людей, которые вообще не имеют дома книг. Это те 30 процентов наших сограждан, которые не посещают книжные магазины. Отчуждение от книжной культуры захватывает и ту прослойку неграмотных, которые еще, увы, имеются в СССР. Сколько же их, «нечитателей»? Около десяти миллионов человек. И еще 30 миллионов, читающих очень и очень редко. Таким образом где-то 40—50 миллионов наших соотечественников практически находятся вне книжной культуры!

Ясно, что Институт книги не может стоять в стороне от этих сложных процессов. Кроме постоянных социологических исследований, помогающих лучше понять на данный момент направления читательского интереса, мы, в частности, работаем над выяснением оптимальных соотношений качественного и количественного подходов в книгоиздании. Ведь каждый из нас может назвать немало примеров выпуска «массовыми» тиражами произведений либо откровенно слабых, либо носящих коммерческий характер.

Интересуют нас и соотношение покупательского и читательского поведения, психологические механизмы чтения, роль книги в кон-

тексте научно-технического прогресса...

Я назвал только несколько направлений наших исследований, и сегодняшнее их состояние может быть оценено как начало, первый шаг на пути глубокого социального анализа книжной культуры, создания достоверной панорамы бытия книги в нашей стране. Однако должен подчеркнуть, что наши рекомендации окажутся пустым звуком без заинтересованного внимания к ним со стороны издателей, книготорговцев, Госкомпечати СССР. Принципиально важным становится определение системы приоритетов и социального норматива обеспечения людей книгой.

Что касается приоритетов, к ним мы прежде всего относим детскую, учебную, научную, справочно-энциклопедическую, научно-техническую, научно-популярную, классическую художественную литературу. Если же говорить о проблеме обеспеченности книгой, то ныне ежегодный выпуск книг и брошюр в стране составляет 2,2 миллиарда экземпляров — около 8 экземпляров на душу населения. По экспертным оценкам, для удовлетворения читательских потребностей выпуск изданий в ближайшие 10—15 лет должен возрасти до 4—4,5 миллиарда экземпляров. Мы прекрасно осознаем трудность достижения этого показателя. Тем не менее он постоянно должен стоять перед глазами практиков, как напоминание им о том ближайшем пределе, хотя бы приближение к которому значительно улучшит состояние нашей книжной культуры.

Многое из того, о чем говорилось, уже вошло в разработанную Институтом книги Концепцию развития книгоиздания в СССР, и мы удовлетворены, что ее основные положения используются при разработке предложений Госкомпечати СССР для долгосрочной программы развития культуры в нашей стране. Правда, некоторые критики названной концепции не без оснований говорят, что в ряде ее разделов «повторяются зады». И действительно, это плохо. Но плохо и то, что снова и снова приходится говорить о не удовлетворяющем общество состоянии книгоиздания, ошибках в расстановке акцентов при определении приоритетности тех или иных изданий. Значит, дело не столько в «повторении задов», сколько в определенном консерватизме, недостаточной продуманности программы книгоиздания.

В стране вводится рыночная экономика. Идет поляризация интересов производителей и потребителей. Цель одних — доход, цель других — культура. Но и в этих сложных, противоречивых, новых для всех нас условиях нельзя упускать из виду эталон нравственности книгоиздания, его высокую гуманистическую цель.

НА СВОЕМ ЯЗЫКЕ...

Три года назад в нашем журнале были впервые опубликованы воспоминания Евгения Борисовича Пастернака (№№ 5-6, 1987) «Приблизить час», которые потом вошли в его книгу *«Борис Пастернак. Материалы для биографии»*. Сын поэта, известный литературовед, рассказал в них о светлых и трагичных страницах необыкновенной писательской судьбы, о людях, окружавших Б. Л. Пастернака, сыгравших в его жизни разные роли, о времени, в которое довелось жить и творить. Книга, вышедшая в издательстве «Советский писатель», необыкновенно хорошо проиллюстрирована — многие фотографии, гравюры, рисунки публикуются в нашей печати впервые. Этот том — заметный вклад в литературоведение и в мемуаристику, посвященную выдающемуся поэту в год его 100-летия. Несомненно, интерес читателей вызовет и книга «Переписка Бориса Пастернака», составленная Е. Б. Пастернаком и Е. В. Пастернак. В книгу вошли уникальные образцы эпистолярного наследия поэта — его письма Цветаевой, Горькому, Тихонову, Шаламову, Ариадне Эфрон. Но не только изящество, глубина мысли и своеобразие стиля писем привлечет всех, кому посчастливилось приобрести книгу, изданную экспресс-методом в издательстве «Художественная литература». Читатель узнает новые факты биографии поэта, истории создания его произведений.

В этом номере мы публикуем беседу литератора Александра Знатнова с Евгением Борисовичем Пастернаком. Надеемся, что эта публикация, в которой мы использовали рисунки и фото из книги «Борис Пастернак. Материалы для биографии», приоткроет еще одну грань личности нашего выдающегося современника.

Корр. Когда произошла Октябрьская революция, Борис Леонидович Пастернак уже был сформировавшимся поэтом, автором книг стихов «Близнец в тучах» (1914) и «Поверх барьеров» (1917). Как он встретил новую жизнь, начавшуюся после слома прежнего мира, и каково было его отношение, в связи с этим, к насилию?

Е. П. Отношение Пастернака к новой жизни в ее чаяниях достаточно хорошо видно по тому, как написана «Сестра моя — Жизнь» и стихи революционного времени. В то же время Пастернак был всегда противником насилия, поэтому мировая война и ожидание революции были для него связаны с тем, что война и кровопролитие, братоубийство кончается и после революции начнется нечто прекрасное. То есть будет свобода от ограничений, от насилия, которую ждали все, она придет с революцией. Революция внушала ему надежду, что кончится война, что тьма, которая объяла Россию, сменится светом. Об этом есть его письмо родителям начала 1917 года. Он был тогда конторщиком на Урале на военных заводах, потому что был освобожден от военной службы в связи с укорочением ноги из-за перелома. Приехав в Москву после февральской революции, он встреченному на улице университетскому другу Константину Григорьевичу Локсу сказал: «Как замечательно, что это море грязи начинает излучать свет». Ожидание этого света, то есть перехода к чему-то новому, когда человечество России найдет мирный, ясный и достойный образ жизни, владело им тогда. Он начал писать драму, которая называлась «Смерть Робеспьера», о конце якобинской диктатуры во Франции, думая, что тем самым покажет, насколько революционные перевороты могут привести к еще худшим результатам и как этого избежать. Но эта почти академическая задача вылилась в два отрывка, которые сохранились, а вместо драмы он написал революционным летом книгу «Сестра моя — Жизнь», сочетающуюся с замыслом и трудом всей жизни — «Доктором Живаго». Эта книга связана с тем, как вся Россия митинговала и думала, как бы устроить новое существование в русле надежд всей христианской Европы, всего того, что принесла европейская гуманная христианская традиция за, без малого, две тысячи лет своего существования.

Корр. Многие исследователи пытаются выстроить некую периодизацию творчества Пастернака, чтобы проследить эволюцию его взглядов и творчества. Была ли, *на ваш взгляд*, эволюция пастернаковских идей, или же они оставались неизменными и эволюцию можно наблюдать лишь в способах их выражения?

Е. П. Есть разного рода эволюция. Пастернак всю жизнь хотел рассказать о том, что он видел, сделать опыт своей жизни художественно доступным всему человечеству. Вот в этом эволюции не было, это едино в течение всей его жизни. Замысел книги о своем опыте только пополнялся, также как пополнялся сам опыт. Эволюция была в другом — в выразительных средствах, потому что он начинал тогда, когда воспитанная символистами публика изъяснялась на «лиловом», как тогда говорили, языке. Пастернак любил повторять, что его опыт и Маяковского был в самой поэтике, он заключался в том, что если Блок мог свободно говорить на «лиловом» языке, потому что его окружали «лиловые» люди, то ему пришлось менять язык, на котором он писал, потому что это окружение ушло в прошлое, на смену ему пришел совершенно иной человек, для которого перенасыщенность отдельными метафорами, образная сложность был «звук пустой». Надо было, чтобы книги, которые писал Пастернак, взахлеб читал бы любой человек простой жизни, говорящий на бытовом языке, не начитанный в философии и том эстетическом слое, который совершенно необязателен для людей. Искренний и умный человек должен был понять написанное Пастернаком с лету, без предварительной подготовки. Это сказалось на первых же вещах, которые он писал после революции, на «Детстве Люверс». Это сказалось в поисках нового, более простого способа разговора в его поэтических сборниках. Он считал свой опыт в этом отношении, когда он писал эпические вещи — поэмы «Девятьсот пятый год», «Лейтенант Шмидт», и «Спекторский», — неудачным, потому что то была попытка написать эпос, что, вообще говоря, — задача второго плана. Эпос более свойствен язычеству и древним культурам и мало что говорит душе человека, поэтому Пастернак всегда старался внести в эти эпические вещи, но считал, что этого недостаточно. Во «Втором рождении» он провозгласил задачу:

«Есть в опыте больших поэтов
Черты естественности той,
Что невозможно, их изведав,
Не кончить полной немотой.

В родстве со всем, что есть, уверясь
И знаясь в будущем в быту,
Нельзя не впасть к концу, как в ересь,
В неслыханную простоту».

и добавлял:

«Но мы пощажены не будем,
Когда ее не утаим.
Она всегда нужнее людям,
Но сложное понятней им».

И история его последующих «простых» вещей, и, главное, «Доктора Живаго» как раз подтвердила этот тезис, потому что именно то, что он просто и ясно написал о картинах полувекового обихода в России, принесло ему весь трагизм его последних лет и конца. Он заплатил за эту «немыслимую простоту» как раз тою ценой, о которой он во «Втором рождении» думал и писал провиденциально.

Такова его эволюция. Это уход от псевдосложности, возможность писать так, как он хотел, так как он был подготовлен для тех людей, которые эту подготовку утратили. Для тех людей, которые в силу исторической трагедии России просто утеряли язык, на котором тогда говорили, утеряли возможность смелого понимания написанных со всей глубиной вещей и потребовали от искусства крупного искреннего и не связанного, скажем, с университетским образованием разговора. К этому Пастернак поначалу не готовился, он готовился, как художник, к гораздо более глубоким вещам. Поэтому его «неслыханная простота» — плод эволюции, навязанной ему историческими условиями. Об этом есть в его письме к жене Шаламова (для передачи Варламу Тихоновичу) мысль о том, что сейчас даже не существует и того языка, на котором тогда говорили, и он вынужден переводить на нынешний более обыденный и простой язык хотя бы то основное тепловое цветовое органическое восприятие



Борис Пастернак.

жизни, которое существовало в дни его молодости. То есть решать задачу продолжения и непрерывности исторического сознания человека, чтобы вытащить искусство снова на публицистический путь борьбы, для того чтобы искусство продолжало быть выражением человеческих желаний, любви, душевности. Чтобы люди продолжали стремиться к тому, к чему им достойно стремиться, и что было создано в течение веков европейской христианской истории.

Корр. Я помню, как в 1983 году, когда в издательстве «Советский писатель» вышел сборник «Воздушные пути», мое внимание привлекла такая же мысль из «Охранной грамоты»: «...развращенные пустотою шаблонов, мы именно неслыханную содержательность, являющуюся к нам после долгой отвычки, принимаем за претензии формы». Но, как известно, обвинение Пастернака в формализме давно уже стало общим местом.

Е. П. Вы знаете, если говорить о критике, как она относилась к Пастернаку и что говорила, то с двадцатых годов, накануне роспуска РАППа, когда Селивановский и Авербах думали наконец разделаться с Пастернаком, его всегда обвиняли в том, что он не замечает действительность. Вот тогда-то в обиход была пущена его строчка «Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?..» — как доказательство оторванности от действительности и нежелания переделываться и перестраиваться, — как его вину. При этом всегда говорили о его мастерстве. Это полное искажение того, о чем думал Пастернак, и что он делал. Он стремился в своей лирике передать читателю душевное тепло, видение мира, свежесть жизни для того, чтобы не просто обрадовать читателя, а чтобы ввести его в круг вещей максимально далеких от самоуничтожения и уничтожения других, от озлобленности, от того, что привело Маяковского к самоубийству. Да и помощь Пастернака близким ему людям, сочувствие им вытекали из того, как он писал. Понимаете, это тесно связанные вещи. Их можно определить, как лирическое участие в жизни человечества, которое потеряло способность воспринимать художественную правду в силу исторической трагедии, в силу лишений. Лишений не только материальных — отсутствия свободы и самостоятель-



Жена поэта и сын Евгений. 1925 г.

ности, минимум которых необходим человеку, чтобы он стал что-нибудь понимать в жизни.

Корр. Можно ли сказать в связи с этим, что у Пастернака была не биография, а житие, то есть полная гармония между его творчеством и его поступками?

Е. П. Вы ставите вопрос неверно. Гармония бывает разная. Но если говорить о житиях святых, как понимал это Серафим Саровский, что, по его словам, все дается тем, как человек себя ставит, его решительностью идти на все, идти во след Христу до конца, то есть героизм святости, — то он Пастернаку не был свойствен. Он был ему свойствен не как самоусовершенствование, а как путь художника. Пастернак писал об этом в черновиках к роману «Доктор Живаго», ставил совершенство вещи, вышедшей из несовершенных смертных рук и дающих ее творцу бессмертие, выше бесплодного самоусовершенствования человека. Путь Пастернака, конечно же, сознательный. Пастернак не душил своего творчества, он заботился о свободе его дыханья больше, чем о собственной свободе, готовый идти на любой риск, включая и смертельный, в те годы, когда неизвестно, что его спасло. Спасла его случайность, потому что, как вы знаете, следователь, который занимался реабилитацией Мейерхольда, был уверен в том, что Пастернак, который проходил по тому же делу, уже давно на том свете. Так что существование Пастернака всегда было некоторой сказкой. Именно эта сказочность его биографии ставит ее, но еще не поставила, в ряд биографий русских художников, которые вели жизнь, полную самопожертвования, трагизма. Это всегда была самоотверженная жизнь, чем-то равная жизни русских святых. Тут нет большой разницы. Просто одно связано с религией в ее каноническом понимании, а другое — с христианством в его более свободном толковании.

Корр. После публикации «Доктора Живаго» все настойчивей раздаются голоса о христианской сущности творчества Пастернака. Что бы вы могли сказать на эту тему?

Е. П. Пастернак был верующим человеком, причем для него основы христианства заключались в том, что после Христа началась новая история — история человеческой личности. Но должен сказать, что то, что сейчас называют русским религиозно-философским возрождением начала XX века, для меня (и, по-моему, для Бориса Пастернака) характеризуется огромным стремлением людей к самостоятельности. Среди причин, породивших нашу революцию, главная нравственная причина — это стремление, во-первых, к защите человеческого достоинства от социального зла и несправедливости, а, во-вторых, к самостоятельности, к проявлению своей личности. Последнее было для Пастернака главной характеристикой христианства как такового. Когда в «Докторе Живаго» героиня попадает в церковь, где читаются заповеди блаженства из «Нагорной проповеди», то в них она ощущает веяние христианской свободы, которое было свойственно христианству в целом. Поэт любил православное богослужение, его красоту. Это роднит Пастернака с Достоевским. Он, например, считал, что нравственная проповедь Толстого недостаточна, а нужна еще красота, которую Достоевский чувствовал в русской культуре, восприятие справедливости как жертвы, которую Достоевский тоже считал необходимой для своих героев. Вот эта полнота художественного понимания христианства, полнота, которая была задана впервые любимым учеником Христа Иоанном Богословом в его «Откровении», и была для Пастернака в христианстве главной. Он считал, что нравственная проповедь, трактатное изложение любой идеологии может привести, вообще говоря, к обратному, что из хороших догматических истин можно в результате — применением насильственных средств реализации этих прекрасных целей — их самих свести к полной противоположности. Тогда как картина в искусстве, притча евангельская, искажению не подвергнется. Удивительно, что в стихах к роману, в «Гефсиманском саде» концовка говорит о том, что величие притч достойно самопожертвования Бога. И тогда эта притча, то есть его история, ведет к тому, что к нему «на суд, как баржи каравана, столетья поплывут из темноты». Именно так надо понимать истину — в самом простом смысле. Скажем, притчи о лепте бедной вдовы, о потерянной драхме, о заблудившейся овце написаны так, что каждый вспоминает свой опыт, каждый вспоминает себя и понимает, как ему надо поступить, вот в этом — величие художников. И в этом отношении художественное изображение истории великими историками прошлого века гораздо больше говорит людям, чем нынешние наукообразие, которого никто не воспринимает.

Корр. Сейчас наблюдается повышенное внимание к русскому философскому наследию, публикуются работы отечественных мыслителей, бывшие раньше под запретом. С кем из них был знаком Борис Леонидович? Кто из них оказал на него особое влияние?

Е. П. Он был знаком со многими. Например, с Федором Степуном, на философский семинар которого при «Мусагете» он ходил. Он достаточно близко знал Андрея Белого и причислял себя к его ученикам. Он, конечно, был знаком с Бердяевым, Элисом, со всеми философами «круга» символизма и хорошо знал философию своего юношеского кумира Скрябина. Но это не означает, что он всему усвоенному стремился подражать. Самостоятельность мысли — это то, что Пастернак вынес из своих профессиональных занятий философией. Известно, что он окончил в 1913 году Московский университет со степенью кандидата философских наук, то есть с дипломом первой степени. И один семестр учился вообще в Европе, честно отчитываясь перед Когеном, который был вершиной западноевропейской философии, в полном ее понимании, чего, кстати, не числилось за большинством русских самодеятельных философов. Пастернак считал философию символистов поверхностной, он считал, что они — дилетанты, так же как Ницше он считал полным дилетантом, — есть на этот счет его статья в немецком журнале «Magnum», и недавно вышла она в русском моем переводе в журнале «Век XX и мир». Поэтому Пастернак предпочел путь художника пути рассуждений на узком псевдопрофессиональном языке, на котором тогда говорили.

Корр. Евгений Борисович, извините, почему «поэтому»?

Е. П. Люди очень глубоко и серьезно учатся науке иногда с тем, чтобы потом всю глубину перенести в другое поле. Наиболее характерно, когда люди приходят к религии. Многие священники предпочитали практическое служение Богу всему тому, что они прошли в духовных академиях и на философских факультетах. Примеров тому множество. Пастернак считал, что в силу многих обстоятельств для него важен другой путь, важна правильная философия в искусстве. Она и оказалась основой всего его художественного творчества. Самостоятельность Пастернака, начиная от его юношеского периода и до последнего трагического периода, связанного с «Доктором Живаго», — это отражение того, чему он учился и что он получил. Я бы сказал, что всякая наука нужна человеку для того, чтобы встать крепко на ноги и пойти своим путем. Вот это Пастернак выполнил.

Корр. В массовом сознании Пастернак прежде всего поэт. Известно много критических выступлений, в которых он не воспринимается как прозаик, хотя и существует его собственное признание о том, что он всю жизнь шел к большой прозе. Так кто же он на самом деле, по вашему мнению?

Е. П. Писавший в юности яркие, очень глубокие стихи, лирик Пастернак в начале мировой войны встретился с историческими реалиями, мимо которых лирик пройти в такое время не может. Если бы, скажем, он был в девятнадцатом веке, и ему не пришлось бы участвовать в крушении мира, в начавшемся историческом «страшном суде» и в обстановке длящейся войны прожить остальную свою жизнь, тогда он бы к себе относился иначе. Но человек не волен менять те условия, в которые он поставлен. Он должен к ним относиться как к чему-то, что дано ему свыше, и делать все, что он может в этих условиях. Вот так рассуждал Пастернак, который считал себя главным образом прозаиком.

Исторические темы не составляют предмет лирического стихотворения, они составляют предмет большой лирической прозы. Это было известно и раньше: от элементов прозаических в трагедиях Шекспира до толстовской «Войны и мира», которая в сущности — лирическое изложение великих исторических событий. «Война и мир» значит для русского читателя гораздо больше, чем любые исследования этого периода, потому что там заложена художественная правда оценки явления: поставить человечество на борьбу с бесчеловечьем, что и есть задача лирики, что и есть задача искусства. Публицистика и полемический подход для Пастернака невозможны: он всегда был уверен, что это мелкая тема, что настоящие задачи решаются не так. Они решаются утверждением, а не спором, они решаются абсолютом, а не относительностью. И вот это достижение — только образное — плотно сбитой художественной реальностью приводит к тому, что человек, прочтя и поняв, станет неспособным к действиям, которые противоречат его человеческой природе.

Корр. Действительно, при всех достоинствах поэтического слова, стихи — всегда недоговоренность, недосказанность. Прозе же, не стесненной версификационными канонами и догмами, в большей степени, чем поэзии, свойственна наимаксимальнейшая высказанность и доступность.

Е. П. Да, это наимаксимальнейшая высказанность, но... Тут надо вот что понять: это — максимальная высказанность в периоде историческом, который сам по себе бесчеловечен. В этом отношении стихи Юрия Живаго — противовес описанию бесчеловечия истории и судьбы личности, которая тем не менее не теряет себя, а гибнет в этот период; это противопоставление делом, которое эта личность может сделать. Поэтому лирическое стихотворение может быть больше, если оно дает человеку то в жизни, чего он лишен. Понимаете: стихам Пастернака свойственно возникать в нашей памяти в моменты, когда без них вам уже и жизнь не жизнь. Иначе говоря, стихотворение — свидетельство более локальное, но в то же время и более значительное, чем проза. В этом смысле стихотворения Юрия Живаго надо смотреть в контексте прозы, надо видеть, что человек, который дошел до гибели, тем не менее способен писать стихи, которые для самого Пастернака — вершина его творчества, потому что он в этом находит свою свободу и находит свое бессмертие. Практический показ возможности человеческого бессмертия есть стихотворения Юрия Живаго, стихотворения Пастернака. Не рассуждения об этом, а практический показ. И поэтому всякие критики, говорившие о романе, — самые придирчивые, — отдавали должное стихотворениям и критиковали прозу. Они критиковали прозу потому, что они в ней не нуждались (у них своего хватало); она написана для тех, кому она нужна. А стихи Пастернака для максимально богатого человека тем не менее несут в себе что-то высокое, нужное, которое возникает перед ним в сложнейшие моменты жизни. Это и есть загадка искусства, это и есть его тайна.

Корр. Когда вы говорили о критиках, я вспомнил, что, например, и булгаковского «Мастера и Маргариту» Симонов воспринимал именно как роман о Пилате, но не в целом. Кстати, а каковы были отношения Пастернака с современными ему прозаиками?

Е. П. Пастернак хорошо относился к людям, в Булгакова он, по-моему, просто любил. Я не знаю литературного отношения Пастернака к Булгакову, но есть рассказ, который записан Еленой Сергеевной, о двух свиданиях Пастернака с Булгаковым. Первое, когда они были вместе на дне рождения Тренева, который жил в том же доме, что и Булгаков, и куда Булгаковых привел Вересаев. Там, хотя Булгаковы сидели тихо и на них мало кто обращал внимания, Пастернак неожиданно сказал тост в честь Булгакова, который звучал примерно так: «Всякий праздник — это праздник, но он становится особенно праздничным, когда за праздничным столом присутствует человек, который сам по себе явление, и тогда всем максимально радостно и значительно!»

Хозяйка дома решила переадресовать тост, как она сказала, «великому хирургу Бурденко», но Пастернак сказал: «Да, Бурденко, конечно, тоже явление, но явление законное, а Михаил Афанасьевич — явление противозаконное и в этом его ещё большая притягательность». Второе их свидание состоялось, когда Булгаков уже не вставал с постели. Когда пришел Пастернак, Елена Сергеевна с радостью оставила их наедине, и о чем они говорили, она не знала. И когда Пастернак ушел, то лицо Михаила Афанасьевича было так радостно, что она даже и не расспрашивала его. Вот все, что я знаю об отношениях Пастернака и Булгакова.

А, например, с Андреем Платоновым Пастернак виделся у Пильняка, когда Платонов только что написал «Котлован», Пастернак там читал «Охранную грамоту». Он Платонова очень высоко ставил, любил. Дело в том, что на Тверском бульваре, где жил Андрей Платонович, жили мы с мамой. А Пастернак там прожил всего несколько месяцев, когда этот дом писательский был только что оборудован, Пастернак получал в нем маленькую двухкомнатную квартирку, которую потом он обменял с нами на старые комнаты на Волхонке. Поэтому он часто приходил к нам в гости. Каждый раз, когда у него оставалось какое-то время, он обязательно заходил к Платонову. Андрей Платонович жил очень замкнуто, мрачновато, и, видимо, Пастернак хотел чем-то его жизнь украсить. Но важно еще вот что: дело в том, что в романе «Доктор Живаго», в эпилоге, в этом страшном рассказе бельевщицы Тани, есть элементы прозы Платонова. Если внимательно приглядеться, то «проза ужаса», которая характерна для Платонова, применена Пастернаком там, где ничем другим воспользоваться было невозможно. Таково отражение платоновской жизни в искусстве, отражение платоновского восприятия мира в прозе Пастернака.

Корр. Какое, на Ваш взгляд, место в русской литературе принадлежит Пастернаку?

Е. П. В моем понимании духовная традиция есть веками ведущийся разговор, в котором каждый следующий должен сказать новое слово. Так думал и этого добивался Борис Пастернак. Отечественная оценка его значения, мне кажется, еще впереди. Широкая любовь и известность, которую получило его слово, несмотря на все препятствия, достаточно говорит о том, какое место ему принадлежит по праву.

В. САХАРОВ

УРОКИ ДВУХ ЮБИЛЕЕВ

Столетние юбилеи Анны Андреевны Ахматовой и Михаила Афанасьевича Булгакова разделяют всего два года. Сейчас в литературе настало время бурных радостных сближений, весьма щедрого и не всегда оправданного использования союза «и», и потому, наверное, ленинградский литературовед А. И. Павловский уверенно пишет в журнале «Русская литература», что у Ахматовой и Булгакова «так много родственного». Да, поэтесса и прозаик были знакомы — кстати, разрешая некоторые недоумения А. Павловского и ссылаясь на разыскания ленинградского же публикатора А. Бурмистрова и на воспоминания писателя В. Ардова, хочу напомнить, что знакомство это произошло летом 1933 года в Ленинграде в доме художника Николая Радлова.

Конечно же, Булгаков, внимательно читавший и даже цитировавший в статье о Юрии Слезкине петербургский журнал «Аполлон» и интересовавшийся Михаилом Кузминым, знал поэзию Анны Ахматовой и раньше, еще до революции, когда слава поэтессы только начиналась и когда легендарный, умело стилизованный облик ее создавался с помощью Блока, Кузмина, Гумилева, критиков, художников и восторженных поклонников и особенно поклонниц ее музы. Их знакомство, взаимное внимание и уважение, понятный интерес к творчеству друг друга, помощь в трудных жизненных ситуациях достаточно хорошо известны, хотя и здесь, наверно, можно открыть новое в архивах.

И все же долгие и достаточно сложные взаимоотношения Булгакова и Ахматовой трудно понять и объяснить с точки зрения жизнерадостной теории «единого потока», на основании которой автора «Театрального романа» уже решительно соединяли с Пастернаком, Мандельштамом, Пильняком, Андреем Белым и даже Маяковским, сознательно игнорируя при этом недвусмысленно отрицательные отзывы о них Булгакова. Ибо тогда, в 20-30-е годы, как и сегодня, существовала не одна, но несколько замкнутых литератур, ожесточенно защищавших свою культурную автономию и обращавшихся к своему читателю.

Булгаков понимал это лучше позднейших историков литературы и раздраженно произнес в разговоре с женой Радлова очень важную фразу: «На чем мы можем объединиться с (А. Н.) Толстым?» Столь же знаменательна фраза Ахматовой в разговоре с рассерженным Мандельштамом: «Нет, Булгаков сам изгой». Слово «изгой» по признанию самой поэтессы было применено неудачно, но дело тут в другом. Представительница одной литературы объясняет своему собрату, что его сосед по писательскому кооперативному дому — тоже изгой, но совсем другого рода и по иной причине. Недаром и сам Мандельштам видел в Булгакове представителя «московской», то есть какой-то другой, в чем-то враждебной литературы.

Взаимоотношения Булгакова и Ахматовой в первую очередь определяются тем, что они все время хотят найти ту основу, на которой могли бы объединиться два столь непохожих, принадлежащих к разным культурным мирам и эпохам художника и человека. Милых банальных фраз типа «Но вы же оба умные интеллигентные люди» им было явно не достаточно... К тому же вокруг бушевала тяжелая и беспощадная историческая стихия, требовавшая постоянной осмотрительности.

Литературовед А. В. Чичерин, слушавший в 1925 году авторское чтение повести «Собачье сердце», отметил, что Булгаков выглядел удивительно обыкновенным в сравнении с Белым или Пастернаком. Действительно, автор «Собачьего сердца» не терпел патетики, позы и фраз. Писательницу Ларису Рейснер он не любил, ибо считал ее насквозь театральной, а к Мандельштаму относился следующим образом: «Несколько выспренная, многозначительная манера, с которой читал стихи поэт, не пришлась по вкусу Булгакову. Он всегда посмеивался над такой манерой — слушал сконфуженный».

В характере и творчестве Ахматовой была черта, о которой мемуарист Всеволод Петров сказал: «Царственному величию Анны Андреевны недоставало простоты — может быть, только в этом ей изменяло чувство формы. При огромном уме Ахматовой это казалось странным».

Таким отсутствием простоты страдает, на мой взгляд, известное стихотворение Ахматовой, посвященное памяти Булгакова, несколько высокопарное и не совпадающее с живой, ироничной и чуждой всякого аскетизма и позерства личностью писателя. Такие «завышенные» слова, как «ты так сурово жил», «великолепное пре зренье», «скорбная и высокая жизнь», словно не об этом веселом жизнелюбе сказаны. Впрочем, это, повторяю, мое личное читательское впечатление.

Во всяком случае, сама Ахматова явно испытывала в общении с Булгаковым немалые затруднения, и прежде всего это касалось ее поэзии. Мемуарист В. Ардов вспоминал: «Булгаков не скрывал того, что равнодушен к стихам, и Анна Андреевна, знавшая об этом, никогда не читала своих стихов при нем». Здесь мемуариста поправляет дневниковая запись Елены Сергеевны Булгаковой от 4 июня 1937 года, где говорится о чтении Ахматовой 384 лирических своих стихотворений. Но тем не менее затруднения были.

Чрезвычайно интересно отношение Ахматовой к главной книге Булгакова — роману «Мастер и Маргарита». Уже в октябре 1933 года она слушала у Булгаковых отрывки из романа в авторском чтении. Елена Сергеевна записала тогда: «Ахматова весь вечер молчала». Ведь обычно Ахматова говорила с Булгаковым о Пастернаке, Мандельштаме, о своей книге и несчастьях, то есть о своей литературе. И вдруг она поняла, что иная, новая литература не только возможна, она уже есть и ничуть не уступает литературе прежних лет. Поэтесса сразу познакомилась с одной из главных книг этой литературы. На нее обрушились непривычные образы романа, вырастающего из новой жизни и глубоко и остроумно проникающего в глубины этой жизни и порожденных ею характеров. И лишь после смерти Булгакова, в ташкентской эвакуации она перечитала полученную от вдовы писателя рукопись «Мастера и Маргариты», нарушила величественное молчание и сказала актрисе Раневской: «Фаина, ведь это гениально, он гений!»

Разумеется, Булгаков написал свой роман не для того, чтобы доказать свою гениальность. Он хотел сохранить для нас в этой книге выстраданную и понятую им просветляющую правду, которая только выигрывала от помогавшего ей выявиться гениального мастерства. Конечно, Ахматова, прочитав роман «Мастер и Маргарита», не изменила своих мыслей, поэзии и стиля жизни, и это доказывает именно стихотворение 1940 года памяти Булгакова, где рядом с выдержанным в высоком трагическом стиле портретом писателя привычно обрисовывается собственный образ величественной плакальщицы об ушедшей эпохе и умерших замечательных людях. Но она задумалась серьезно и надолго.

Этой книгой и всей своей удивительной жизнью Булгаков доказал Ахматовой, и не только ей, что в самые трагические минуты истории настоящий писатель творит подлинную литературу, которая может быть не только скорбной и философской, обращенной в прошлое, но и веселой, сатирической, с надеждой вглядывающейся в настоящее и будущее. К тому же мы забываем, что автор «Мастера и Маргариты» был и талантливым поэтом, сказавшим в либретто оперы «Минин и Пожарский» (1936—1938) удивительные слова: «Мне цепи не дают писать, но мыслить не мешают».

Ахматова, говоря с Булгаковым, узнала человека, который, по ее собственным словам, и в самые трудные дни был полон сил, светлых замыслов и воли. Воля здесь ключевое слово — воля к жизни, воля к творчеству, чуждая аскетизму и безнадежности. И это общение с Булгаковым, как и встреча с раскритиковавшей «Поэму без героя» Мариной Цветаевой, помогла Анне Ахматовой иначе взглянуть на себя и свою поэзию и приобщиться к иным ценностям. Стихотворение памяти писателя и отзвуки его романа «Мастер и Маргарита» в «Поэме без героя» это подтверждают.

«МОСКОВСКИЙ ВЕСТНИК»
«СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
«МОСКВА»

1991 • 1991

1991 • 1991

«МОСКВА»

до конца 1990-го и в 1991 году будут опубликованы:

романы и повести: **Вл. Солоухина** «АХИНЕЯ», **В. Распутина** «БЛИЖНИЙ СВЕТ ИЗДАЛЕКА», **В. Максимова** «КАРАНТИН», **Н. Плотникова** «КУРБСКИЙ», **Вад. Сафонова** «ВАТЕРЛОО», **Г. Русских** «КЛЕЙМА», **Ю. Куранова** «ТЕПЛО РОДНОГО ОЧАГА» (книга вторая), главы из новой книги **Ф. Углова** «ЛАМЕХУЗЫ», **И. Шмелева** «СТАРЫЙ ВАЛААМ», а также **В. Белова, С. Залыгина, В. Лихоносова**;

рассказы: **Ю. Леонова, Б. Шишаева, Е. Обуховой, В. Богатырева**;

статьи: **В. Ильина, И. Ильина, А. Карташова, Питирима Сорокина**, из «ЗАПИСОК» **Н. Махно**;

романы: **Г. Гессе** «СИДДХАРТА», **Оноре де Бальзака** «СЕРАФИТА», а также **Г. Фонтане, К. Гамсуна, С. Моэма** (впервые на русском языке);

беседы **К. Чапека** с **Масариком**, рассказы **Э. Т. А. Гофмана, А. Камю, Г. Бёлля**, воспоминания о **Э. Хемингуэе**;

фрагменты из 13-томной «ИСТОРИИ РУССКОЙ ЦЕРКВИ» митрополита **Макария**, труд архиепископа **Луки (Войно-Ясенецкого)** «ДУХ, ДУША, ТЕЛО»;

продолжение книги **М. Пыляева** «СТАРАЯ МОСКВА»;

статьи из литературного и философского наследия русских мыслителей: старцев Оптиной пустыни; **А. Хомякова, И. Киреевского, Ф. Тютчева** (политические статьи), **А. Фета** (неизвестные письма), **К. Леонтьева** (о национальном вопросе), **В. Розанова** (статьи), **П. Флоренского** (об о. Алексее Мочеве), **Л. Карсавина, о. Иоанна Кронштадтского, о. Анатолия Жураковского**;

из философской мысли Запада: статьи **Платона**, святой **Терезы, С. Кьеркегора, А. Шопенгауэра, К. Ясперса**;

стихи и поэмы: **Р. Бородулина, Р. Гамзатова, Ю. Кузнецова, Н. Рачкова, А. Решетова, Л. Сафронова**, национальных молодых поэтов России и ранее не публиковавшихся авторов Русского Зарубежья, а также из литературного наследия отечественных поэтов: **Даниила Андреева, В. Нарбута, П. Васильева** и др.

«МОСКОВСКИЙ ВЕСТНИК»

в 1991 году будут опубликованы:

роман **Владимира Максимова** «ПРОЩАНИЕ ИЗ НИОТКУДА», роман **Еремея Парнова** «ЗАГОВОР ПРОТИВ МАРШАЛОВ», роман-эссе **Вячеслава Резникова** «ВЕЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ПУШКИНА»;

новые произведения **Л. Бородина, А. Ткаченко, Р. Киреева, А. Проханова, П. Паламарчука, Ю. Доброскокина, Вас. Казанцева, О. Кочеткова, Н. Старшинова, К. Кедрова**;

статьи **С. Семеновой, М. Антонова, В. Кардина** и других;

городские частушки, анекдоты, материалы из истории московской культуры, материалы о состоянии Москвы как города, о ночной жизни Москвы.

«СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

до конца 1990-го и в 1991 году будут опубликованы:

романы: **Сергея Магомета** «КОМ», **Владимира Личутина** «РАСКОЛ», **Юрия Мамлеева** «ВЕЧНЫЙ ДОМ», **Николая Шипилова** «ВЕСЫ»;

повести и рассказы: **Георгия Баженова, Владимира Гусева, Руслана Киреева, Игоря Козлова, Марины Кретовой, Михаила Петрова, Николая Попова, Ивана Оганова, Георгия Семенова, Дмитрия Стахова, Валентина Сидорова, Юрия Тешкина, Михаила Попова**;

стихотворения: **Миланы Алдаровой, Михаила Гаврюшина, Татьяны Глушковой, Николая Котенко, Бориса Рябухина, Игоря Тюленева,**

«МОСКВА»
«СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
«МОСКОВСКИЙ ВЕСТНИК»

«НАШ СОВРЕМЕННИК»
«СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Ивана Шепеты, Горгия Чхеидзе, Сергея Мнацаканяна;

статьи: **Николая Бердяева, Владимира Короленко, Дмитрия Святополк-Мирского;**

в разделе «Литературное наследие: **Иван Бунин** «ИЗ ВЕЛИКОГО ДУРМАНА», **Марк Алданов** «УБИЙСТВО ТРОЦКОГО», **Николай Рерих** «ВЕЧНОЕ», **Борис Зайцев** «АТЛАНТИДА», **Николай Гумилев** «О ПЕРЕВОДАХ», **Алексей Ремизов** «ЭЛЕКТРОН», **Галина Бениславская** «ВОСПОМИНАНИЯ О ЕСЕНИНЕ»;

в разделе «Век нынешний и век минувший»: **Фаддей Булгарин** «ИВАН ВЫЖИГИН»;

в разделе «Публицистика»: **Феликс Чуев** «БЕСЕДЫ С МОЛОТОВЫМ», **Владимир Карпец** «МОНАРХИСТЫ СЕГОДНЯ», **Виктор Курьеров** «О СОЦИАЛИЗМЕ, ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И СВОБОДЕ», ГЕНЕРАЛ РОДИОНОВ В ТБИЛИСИ; «Россия на кресте» — таково название новой рубрики, под которой журнал будет публиковать ранее не известные большинству наших читателей документальные материалы. Среди авторов — высокопоставленный чиновник Министерства иностранных дел России **В. Б. Лопухин** — свидетель Октябрьской революции в Петрограде; колчаковский генерал **М. К. Дитерихс**, принимавший участие в расследовании екатеринбургского убийства царской семьи. Здесь же исповедь 26-летней женщины, любившей **А. В. Колчака**, размышления известного религиозного мыслителя **Георгия Федотова**, написанные им в эмиграции, перепечатка книги **С. П. Мельгунова** — «Красный террор в России 1918—1923».

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

в 1991 году предполагает опубликовать следующие произведения:

Николай Вирта. «ЧЕРНАЯ НОЧЬ». Книга вторая. Роман-хроника о возникновении и гибели гитлеровского рейха. Первая книга опубликована в №№ 6, 7 «МГ» за 1990 г.

Владимир Чивилихин. Воспоминания писателя о времени, о людях, с которыми свела его судьба на литературном и жизненном пути.

Дмитрий Мищенко. «ЛИХОЛЕТЬЕ ОЙКУМЕНЫ». Исторический роман о борьбе славян в конце VI века за независимость против могущественной Византии и о вторжении в славянские земли обров (перевод с украинского).

Олесь Бровко, Юрий Тараскин. «ОДИННАДЦАТЬ» — остросюжетная повесть о борьбе чекистов в период Великой Отечественной войны с фашистскими бандоформированиями ОУН, УПА на только что освобожденной территории Ровенщины.

Ариольдо Таулер Лопес. «ЧАСОВЫЕ РАССВЕТА» — политический детектив о попытке ЦРУ провести операцию по уничтожению лидеров кубинской революции.

Лев Филимонов. «ДОРОГА НА ЭВЕРЕСТ» — документальная повесть о совместной китайско-советской экспедиции по разведке путей покорения высочайшей вершины мира и о жизни на Тибете на переломном моменте его истории.

Ванцетти Чукреев. «ДЕНЬ И ЧАС». Роман-хроника. В романе на строго документальной основе анализируется период в жизни Советского государства 1940—1941 гг. вплоть до 22 июня, показаны реальные усилия Сталина и руководства страны по подготовке к отражению фашистского нашествия.

«НАШ СОВРЕМЕННИК»

В 1991 году журнал открывает новую рубрику, в которой история России будет выражена в портретах царей и патриархов, святых и героев, подвижников и самозванцев, мыслителей и художников. О святом князе Владимире, митрополите Иларионе, Александре Невском, Дмитрии Донском, Сергии Радонежском, Андрее Рублеве, Иване III и Иване Грозном, Ермаке, святителе Макарии, Лжедмитрии, о Минине и Пожарском, о государях династии Романовых, патриархе Тихоне, Столыпине, Колчаке, Деникине, Ленине, Троцком, Сталине и многих-многих других героях и антигероях давнего и близкого прошлого нашей Родины расскажут выдающиеся историки и священнослужители, писатели и публицисты.
В 1991 году будет опубликована «БИБЛИЯ» для подростков.

1991 • 1991
1991 • 1991

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
«МОСКОВСКИЙ ВЕСТНИК»
«НАШ СОВРЕМЕННИК»

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
А. И. СОЛЖЕНИЦЫНУ

Не прошло и года, как снято цензурное табу на имя и произведения выдающегося писателя современности Александра Исаевича Солженицына. Но с тех пор вместо былых идеологических запретов вступили в действие новые — авторские. Как известно, А. И. Солженицын запретил публикацию своей публицистики в СССР до той поры, пока не выйдут все его основные художественные произведения. В результате оказалось, что художественные произведения все еще выходят, а самые горячие споры наших дней, на которые читатели могли бы найти ответы именно в публицистике А. И. Солженицына, оказались вне его гражданских и политических идей. А пустот, как известно, не бывает: и то место, которое должна была в годы перестройки занять в общественном сознании публицистика А. И. Солженицына, заняли его антиподы. Заняли как раз те, кого Владимир Максимов очень точно назвал «литературными мародерами» и с кем сам А. И. Солженицын начал свой принципиальный спор еще в «Наших плюралистах» и в «Колеблемом треножнике». Правда, некоторые органы печати попытались было нарушить этот авторский запрет, но получили достаточно четкий ответ. «Много лет оторванный от своего читателя, я ясно выразил, что хочу прийти к нему сначала своими книгами, а не публицистикой прежних десятилетий. Издатели, сохранившие понятие чести, не могут переступать через авторское право», — эти строки из письма А. И. Солженицына привел в своем интервью С. П. Залыгин («ЛГ», 1990, № 17). И действительно, никто не имеет права нарушать авторскую волю. В этом А. И. Солженицын абсолютно прав. Тем не менее, сам его «обет публицистического молчания» — это тоже свершившийся факт литературной и общественной жизни современности, с которым нельзя не считаться, но который можно и не принимать. Так во всяком случае поступил главный редактор «независимого русского журнала», выходящего в Мюнхене, «Вече» (1990, № 37), широко известный в эмигрантских кругах публицист О. А. Красовский, обратившийся к А. И. Солженицыну с открытым письмом, в котором, на наш взгляд, поставил вопросы, выходящие за пределы авторского прав и авторской воли. Надеемся, что со временем мы сможем познакомить читателей с ответом А. И. Солженицына на это открытое письмо. С ответом, который ждут от него многие соотечественники не только за рубежом, но и в самой России.

Глубокоуважаемый, дорогой Александр Исаевич!

Одной из причин, побудивших меня взяться за перо, является возникшее в последнее время тревожное чувство, что с некоторых пор живете Вы в условиях, лишающих Вас возможности поддерживать письменную связь со мною. На Ваше последнее письмо я ответил 25 марта 1989 года, то есть ровно год назад. На мой ответ Вы не реагировали. Дважды после этого я писал Вам, и оба мои письма остались неотвеченными. Такого на протяжении почти десятилетней переписки с вами, даже в периоды, когда Вы на меня крепко гневались, не случалось. Вам должно быть понятным мое недоумение, ибо когда-то Вы заверили меня, что на письма мои намереваетесь отвечать «без задержки»; а через пару лет после этого, когда все же случилась задержка, писали: «Когда от меня нет писем — не предполагайте ничего другого, кроме моей занятости». Ныне я вынужден предполагать, что отсутствие писем от Вас объясняется не только Вашей занятостью...

Не скрываю, — не столько отсутствие надежды получить ответ на письмо, отправленное Вам почтой, сколько убежденность, что тема задуманного письма имеет не только личное, но и общественное значение, побуждает меня встать на путь открытого общения с Вами. Суть же дела в следующем:

Благодаря широкому и глубинному проникновению «Вече» на родину (когда-то Вы писали мне: «Главное: как журнал пойдет на родину? Если двинется — так цены не будет...»), у меня установились и укрепляются активные двусторонние связи с соотечественниками, которые, знакомя меня со своими мыслями, порой ставят вопросы, требующие ответов. Подобные вопросы задают мне и русские люди, живущие в зарубежье, часто и иностранцы, считающие, что как редактор русского печатного органа я в состоянии ответить на них.

Один из очень часто задаваемых вопросов можно сформулировать так: почему всеми нами глубоко уважаемый Александр Исаевич Солженицын наложил на себя обет публицистического молчания, длящийся уже несколько лет?

Вопрос этот имеет принципиальное значение, и ответа на него ни у меня, ни у кого другого, кроме Вас самих, нет. Поэтому строятся догадки, возникают домыслы, вплоть до предположений, что Вы подпали под влияние каких-то неведомых сил, заинтересованных в Вашем отказе от самой действенной формы общения с родным народом, для выражения болей и чаяний которого Вы находили когда-то заветные слова, проникавшие в каждую грешную и праведную душу. И это понятно. Ведь недоумение по поводу Вашего молчания связано с тем, что каждый мало-мальски логично и здраво мыслящий человек прекрасно знает, что Ваш путь к славе, к глубочайшему почитанию большинством русского народа, к признанию Вас на Западе уникальным духовным (а вместе с тем — общественным, политическим) явлением современности изначально прокладывался не столько Вашей писательской деятельностью, как Вашим авторством блестящих, гениальных публицистических работ. Вы сами, в свое время, целеустремленно выбрали именно этот путь.

К моменту Вашей высылки из СССР, как писатель Вы были известны широким российским кругам в основном по произведениям, опубликованным в стране; по тем четырем небольшим художественным творениям, вход в «советскую литературу» которым открыл «Новый мир». Пусть это были прекрасные художественные произведения, но тем не менее многократно громче была в народе Ваша слава как автора публицистических работ, интервью, писем, обращений, протестов, не нашедших места в советской печати, но опубликованных в самиздате, размножаемых на Западе и оттуда засылаемых в страну в миллионах экземпляров, беспрерывно повторяемых всеми западными радиоголосами.

Разница между тем и другим была весьма ощутимой. Художественная проза знакомила читателей с новым, замечательным, смелым, пренебрегшим методом соцреализма, писателем, заставляла задумываться над недавним прошлым страны и народа, вскрывала порочную суть системы. Публицистика же — будоражила общественное мнение, воодушевляла русских патриотов, наполняла их сердца надеждой, заставляла подниматься с колен и расправлять плечи... У всех на устах было Ваше имя. Чувством глубочайшей признательности к Вам наполнялись души миллионов Ваших соотечественников, не столько за блес-

тящее описание одного дня жизни советского каторжника и рассказ о прекрасной русской женщине Матрене, как в благодарность за то, что в Вашей публицистике Вы решительно, бескомпромиссно, мужественно выступили в защиту угнетенного, оскорбленного, ограбленного материально и духовно народа. Этим дышали Ваши публицистические работы, в них Вы не только касались оздоровляющей рукой всех болевых точек нации, но с прирожденной Вам гениальностью нащупывали и раскрывали возможности морального, духовного возрождения народа, призвав каждого русского человека к раскаянию и самоограничению, к покаянию, к жизни не по лжи!

В этом качестве Вы продолжали блестяще проявлять себя, вопреки напряженнейшему труду на литературном поприще, в первое десятилетие Вашего пребывания на Западе. Без малого 1000 страниц публицистики, представленной в двух томах Вашего собрания сочинений, изданного парижской ИМКА-ПРЕСС (в них еще не вошли Ваши публицистические выступления после 1981 года) — говорят сами за себя.

И вдруг, внезапно, Вы смолкли!?

В Вашем письме от 31.1.89 г. Вы писали мне: «...последнее, что я говорил на общественные темы — в Лондоне в 1983, с тех пор — ничего, и намерен пока дальше так: большинство сказанного все равно прошло зря». Я счел нужным возразить Вам, однако, судя по Вашему последнему дошедшему до меня письму, мое возражение Вы оставили без внимания.

В Ваших словах — горечь разочарования кажущейся Вам безрезультатностью Ваших усилий. Это настроение просвечивалось уже и в Ваших статьях, написанных в 1980 году. В статье «Коммунизм у всех на глазах — и не понят» Вы бросили упрек правящим кругам Америки за их пренебрежение Вашими предупреждениями. А статью «Иметь мужество видеть» Вы горько закончили: «Уже становится ясным, что ни одна моя статья, ни десять моих статей, ни десятеро таких, как я, не посильны перенести Западу наш кровавый выстраданный опыт».

За этой горечью, пожалуй, одна из причин Вашего ухода в молчание... Но, дорогой Александр Исаевич, в основе ее — неизбежный конфликт, запрограммированный Вашей духовной высотой и низменностью бездуховности Запада. И тут речь может быть лишь о том, что была допущена обоюдосторонняя ошибка: в Вашей первоначальной оценке Запада и в оценке Западом Вас. Но разве это повод для изменения Вашего отношения к России, для разрыва связей с народом, принадлежность к которому Вы неизменно утверждали всей Вашей жизнью и деятельностью?

Общеизвестно, что в последние годы Вы особенно настаиваете на том, чтобы в Вас видели только писателя, относились к Вам только как к творцу художественных произведений, судили по ним, и только по ним, и о Ваших достоинствах как продолжателя традиций русской классической литературы, и о Ваших общественно-политических взглядах, и о Вашей позиции на полях жестоких идеологических сражений современности. Но и эта возможная причина Вашего отказа от публицистики, на мой взгляд, недостаточно веская, ибо я глубоко уверен, что при всем к Вам уважении, большинство русских патриотов согласиться с Вашим утверждением, что Вы лишь писатель, один из многих талантливых и хороших, не могут, больше того — не имеют права. Вы вросли в их сознание как выразитель их надежд, как совесть русского народа, как учитель и духовный вождь именно потому (независимо от того, хотите ли Вы этого сегодня или нет!), что предстали перед Россией как великий гражданин своего отечества, и лишь затем — как писатель. Вы — сугубо русское общественное явление! Поэтому существует крепчайшая взаимосвязь между Россией, ее народом и Вами — гражданином! А это означает, что к Вашим советам, пожеланиям, рекомендациям и призывам очень многие русские люди внимательно прислушивались, следовали им, выполняли их, ощущая их прямую причастность к российским национальным интересам и нуждам.

Убедительнейшее же свидетельство того, что к ним действительно прислушивались, им следовали и выполняли их, перед нашими глазами. Ведь целый ряд прямых и побочных явлений, сопутствующих пятилетнему процессу «перестройки» непосредственно связаны со становлением и укреплением национального самосознания русского народа, в возрождении которого именно Ваша публицистическая активность в 60—70-е годы сыграла огромнейшую роль.

Допускаю, конечно, наличие других причин, побудивших Вас отказаться от публицистических выступлений, хотя не рискую догадываться об их характере. Как бы там ни было, исхожу из того, что они не весомее тех двух, предполагаемых выше. Уверен, что независимо от причин, принимая обет публицистического молчания, Вы, с присущим Вам чувством ответственности, тщательно взвесили все доводы «за» и «против», и Ваше решение имеет солидное обоснование. Однако семь лет назад у Вас не могло быть довода, который, на мой взгляд, может и должен побудить Вас пересмотреть давнишнее, возможно, по тому времени очень правильное, решение и отказаться от него. Заканчивая мое открытое письмо, позволю себе прибегнуть к этому доводу.

Сейчас ситуация в России несравнима с той, какая была несколько лет назад. Россия — на развилке исторического пути. В одну сторону — к неминуемой мучительной гибели; в другую — к спасению! Тысячи голосов зовут, толкают, принуждают на ту или иную стезю. Но среди этих громких и порой обманных голосов нет того, который в состоянии убедить и покорить большинство очевидностью своей истинности, могущего произнести единственно верные, нужные, спасительные **СЛОВА.** *И* **СЛОВА** *эти в состоянии сказать только Вы, дорогой Александр Исаевич! Так скажите же их, зажгите маяк перед нашими глазами!*

Допускаю, что Вы оставите без внимания это мое письмо. Что ж, тогда придется в глубокой скорби смириться с мыслью, что у русского народа, у России нет больше того Александра Солженицына, который ей нужен в нынешний «раскаленный» час.

Прошу Вашего прощения за возможную неточность моих формулировок, за слабость и легковесность моих рассуждений и за причиненное беспокойство.

Как всегда Ваш,

О. КРАСОВСКИЙ

25 МАРТА 1990 Г.

«Вече», Мюнхен, 1990, № 37.

ИСПОВЕДЬ

Дневники.
Письма.
Воспоминания.



БОРИС ШЕРГИН

ЖИЗНЬ ЖИВАЯ

Один из мудрецов века сего (Д. Бедный) изрек однажды, что все талантливые люди — поэты, художники, музыканты, непременно имеют большой вкус к плотскому любострастию. Сей опыт дебелой плоти противоположен иному опыту. Опыт иного сознания и самопознания, опыт иного ведения, предлагает: оставим плоти сладострастие, возрастим души дарования. Чтобы расцвели творческие (единые на потребу!) силы, надо, как одежду грязную, как раз чувственность-ту и сбросить. Пусть человек отдаст долг плоти, сладострастию в молодые свои годы, пусть отдаст долг матерн Природе. Этот хмель пройти должен, разум должен очиститься. До сорока годов пущай хмель-от одолевает, после сорока протрезвится. Очисть ум-от, мысль-ту от хмельных грез. А то и тело уж старое, слабое будет, а привыкшая к молодым сластям мысль и воображенье все еще позорно будут нудить к жалкому разврату немощное тело. Не позорь возраста. Пусть молодость там, в «долине роз», в чашечках своих цветков копошится. Пусть молодость и воображает, что вокруг пола все в мире вращается. Им дальше... и видеть не должно. А уж зрелому-то разуму иные горизонты открываются. Что у юного красота, то у старого срамота.

Трудно бывает человеку перейти малость и низменность телесных похотей, понять, осознать и вовремя им их место указать. Поэзия, музыка, живопись, скульптура как раз внушают, что в плотском сладострастии главная сущность бытия. Отсюда неудовлетворенность, разочарованность, мрачность, пессимизм пожилых людей.

Бывало, как важно держал себя старик, как значительно было его лицо. Недаром вечная книга заповедует: «Перед лицем седого восстани и почти лице старче». Старость стала презренной, уж если не в силах ты молодым казаться, дак тебя и на свалку.

Но эта торжествующая дикость и примитивизм не стоят внимания...

Итак, иным венком, чем юность, должна венчать себя зрелость человеческая. Очистивший сердце от мути сладострастия, и через это стяжавший себе и ума светлость, с улыбкой глядит на утехи молодости. Просветленный ум знает, что все это надобно — и красование юности, и утехи брачные, знает это разум и благословляет, но соглядает и простирается к тайнам и глубинам иным.

Из оконца виден день, блещущий облаками. Вчера дождили они, сегодня гонит их резвый ветер, что стаю птиц. Ребятишки играют на солнышке. А я... будто и не мой день-от, не моя весна... Око мыслеиное сырым телом обремененное, что из каземата и на праздник глядит. Не моеде...

Все эти годы страшные, весь груз непосильный житья-бытья доблестно влачил иа себе брателко мой. А в эту 4-ю зиму припадать стал духом, и здоровьишка негде уже взять... Обтрепались, обносились. Война кончилась, будет ли какая ослаба. Газетешку-ту нюхают, да трут, да копают: выжать-то надёжу какую поскорее тщатся.

Я так уж себя и считаю юродом, бездельником: не у чегоде живу, ветры ловлю, за тенью бегаю. Сверстиикн-те — председатель, при академии, с орденом, дачу и машину имеет; мимо проедет, грязью оконце мое обдаст, не увижу я ни облачка, ни соседнего забора... Что же, неужели в самом деле смолоду-то надо было не лазури небесные соглядать, а что собаке ищейке носом в землю практически обеспечивающие дорожки вынюхивать?.. Бежать по следу такого хозяина, у которого кока с соком запасена... Конечно, у... (неразб.) верный нюх, знают, где жареным пахнет. Давно у тех окон сидят, хвостом виляют. И много их. Теплая компания. Овсянку с мясом им дают. Сахару на нос положат, скажут: «Пиль!» Они фокусы умеют показывать... Нам так не уметь.

Ложью век пройдешь, да назад не воротишься. Умирать все будем. Тошно будет при смертном-то часе. Для чегоде жил? Исполнил ли то, что тебе задано было в жизни? О чем сердце смолоду горело, к чему живая душа твоя рвалась, то куда ты дел? Вот что при конце-то жизни совесть спросит.

Продолжение. Начало в №№ 3, 5/1990 г.

Это, конечно, к Леоновым не относится. Их сознанье совестью сроду не было обременено...

Весна идет, на сердце все прискорбно, неустройно житьишко-то. На мели сижу. Никто с мели не сдернет. Нужда бра́тко держит, не вывернешься. Горе-злосчастие — свет из очей теряется, долу меня гнет. Извне веселье — весна идет, а внутри меня нету радости. Знаю, что она должна быть во мне. Сердце мое ларец и положена была в него радость, да ключ теперь теряю часто, не знаю, куда засуну, память худая.

Голодуха, скудость во всем, лохмотья всех наокруг одолели. На сытых и одетых глядят жадно, завистливо. И всеобщий, всеодержимый, единственный у всех идеал и смысл существования: урвать и мне свое от жизни. 10% сыты, пьяны и нос в табаке. 50% воруют напропалую. 40% из кожи лезут, колотятся-бьются, не хотят подыхать. В деревне идеал: огородишко... еще козу купить... Мечта и тема разговоров: пара башмаков, хоть одна на всю семью. Событие: получить брюки, рубахи, платьишко бумажные... Жить надо, как вор на ярмарке вертеться. Под лежач камень вода не подойдет. На дом к тебе никто зв твоим товаром не придет. Не расхожий у тебя товар-от. На любителя...

...Человек века сего удачливый ли, неудачливый ли, спокою не ищет. Ежели он много нахватал, дак знает, что и зависти самой лютой в окружающих породил и все окружающие в ложке воды его такого ловкаго, утопить рады. И с опаской, с опаской он хватает. Ему и ночь не спится. Посмотри-ка на счастливчика сего света, как у него — чуть что — глазки-то забегают опасливо. Во время чумы-то пировать, ох, многодельно и заботливо!..

А что мне около мертвых псов стоять, вонь пропащую слушать да про падаль сказывать!? Знатно, что в нужнике окроме дерьма нет ничего...

Сегодня валаамским преподобным Сергию и Герману праздник. Как бы золотую ризу накладывает на житейский праздник, память святая. Особенно любо мне, когда с Севера родимого, от светлых озер и дремучих лесов в заповеданные дни года идет и светит, будни наши озаряя и согревая, преподобный оный и блаженный свет... Сергий и Герман Валаамские, основавшие обитель Преображения на озере Нево, в первые века христианства русского, благодатно жили и в века последующие. Каким огнем сиял свет иночества на Валааме, доказывает век XIX...

Нонешние времена из правил вышли. Еще Златоустый сказал, что можно спастись и в городах...

Теперь «дом отдыха», «дача»... А бывало, чем красно было летом в моем родном городе... Город стоял на водах — порт, близ моря. Мало кто ездил «на дачу», но семья хоть раз в лето собиралась «на богомолье» — к Соловецким, к Антонию Сийскому, к Ивану и Логгину Яреньским, к Вассиану и Ионе Пертоминским... Особенная жизнь, особенная природа, особенный быт, не наши интересы и разговоры, не наш уклад, жизнь, не боящаяся смерти, и смерть, как праздник. Жили в монастырях люди умершие для радостей мира, но как тускнели и умалялись радости мира перед святым иноческим житьем. На Соловках у многих из наших горожан были родственники монахи... и уже как бы в чине ангела почитали мы, например, материна двоюродного брата монаха Иустиниана. Омытыми, новыми возвращались мы из обители. И привезенные из обители образки, картинки, ложки, посуда, книги, просфоры, — так это потом любо было...

Кто-нибудь подмигнет мне и скажет: «Знаем мы монахов — «абие-бабие», «игумен вокруг гумен» и т. д. И я отвечу: «Всякой находит, что ищет, всякой видел в монастыре то, что он способен был видеть, что ему было дано видеть. Всяк видел то, что хотел. И жемчужну кучу разрывая, ухитрялись «навозное» зерно иные любители находить.»

Липы мои, что через дорогу, за оконцем, поредели; ветер гонит желтый лист. Точно и не было густолиственной купы. Неба стало много видать, чему я рад. Вчера к сумеркам брел Ивановским, Подкопаевским переулочками. Подойду да постою. Гляжу, не нагляжусь: старая стена уступами вниз, одинокий купол и высоко, высоко в тихом небе реденькия облачка. Тихость коснется души и ума. И так властна эта тихость неба. Больше она толчков и пинков, властнее шипа, свиста и машинного лаянья...

Говорят, война кончилась... Нет, мир сей, век сей, житуха наша — война нескончаема. О мире сем древле сказано: «Человек человеку волк». Воюют люди друг на друга люто и неустанно. Схватились в своей «борьбе за жизнь» и разве мертвые отвалятся один от другого. Каждому надо урвать свое. Одни бьются и колотятся для того, чтоб ухватить корку хлеба для ребенка, или покрыть хоть тряпицей какой трясущегося зимою брата, воюют, плача и проклиная, чтоб ухватить ломоть да снести его в тюрьму, больницу сыну, мужу, отцу... А эти вот сражаются остервенело, чтоб удесятерить запасы вин, хрусталя, пополнить коллекции всяких редкостей и драгоценностей... Полезнее вспомнить: «если обличая кого придешь в раздражение, то свою только страсть утолишь...»

Трудновато человеку поднять себя за волосы. Трудно исполнить: «Отойдем да поглядим, хорошо ли мы сидим». Надо исполнить! «Да отвержется человек себя». Из самого себя надо выскочить. Надо за дурной сон вменить себе все, что в мире сем видишь; надо заставить себя проснуться, очнуться...

Дни сухие, солнечные. Свежий ветерок. Вечером так желто-призрачно. Вечерняя заря глядит мне во все оконце. Деревья напротив скоро последний лист уронят, а мне любо от этой прозрачности. Того для и люблю я деревья весной до пышного листа, до «соловьев» (с Фетом мои вкусы не сойдутся) и осенью н в самый листопад. А «пышное природы увяданье», вообще всякая «пышность», и даже летняя, — «с этого меня не станет». Какая картина прославленного мастера заменит мне мое оконце. Из старинной, не менявшейся со времен Павла I, рамы глядится ко мне в низенький покойчик то зима, то лето. Как я люблю, когда белая скатерть застелет перекресток, на который глядит наш дом! А весной — что зеркала протянутся лужицы талого снега. Вот сейчас по бледно-зеленой гаснущей заре взялись розовые облака: завтра будет ветрено.

...Часто употребляют фразу: «Доброе старое время». Но и в «доброе старое время» во всех ли людях светился свет?.. Обращая мысленный взор в прошлое, а я, например, люблю глядеть в девятнадцатый век, ибо там все мои корни и все заветное мое, я люблю соглядать там «жизнь живую», то, что не умрет, люблю знакомиться, и знать, и жить с людьми, кои были современниками дедов моих...

К такому «прошлому», вечно живому, я люблю приникать, думая о своей родине.

...Один добрый человек, умный, ученый, образцовый семьянин, два сына у него было — надежда и утешенье родительское, этот человек в беседе говорил: «Монашеское умиление и просветленность... хм.... что же в этом, какой смысл?.. Человек живет для детей. Смысл жизни и счастье человека в детях. У меня растут дети — вот мое умиленье и просветленность, моя радость. Семья, дети — вот стержень и мудрость жизни. Я гляжу на моих сыновей и я — царь! Я Бог! В детях моих основа моего жизненного тонуса, моего творчества...»

Это было пять лет назад. Оба его сына убиты на войне. Недавно я встретил этого ученого. Его и жену. Она в свои 50 лет кажется девяностолетней старухой. Он прям, продолжает говорить о своей науке, но временем забывается, молчит, уставясь в одну точку. Идет по улице — лицо каменное. Инженеры-сослуживцы с уважением говорят: «Какой стоицизм, но какая пустота в глазах. Он стал мертвый...»

Скажут: «Что уж ты все древних-те людей хвалишь, чем они такие отменитые?» Да! Древность и, скажем, средневековье, — это была юность, молодость человеческой душевно-сердечной, умномыслительной восприимчивости и впечатлительности. Древний человек несравненно был богат чувствами, воображением, памятью. Ныне од-

ряхлел мудрец. Мало радуют ныне «специалиста» его знания. Будто кляча с возом...

До осязательности живо, как бы наяву предстает мысленному взору то, чем сладостно жил в годы отрочества там, на Севере, на родине милой. Места по Лае-реке временем вспоминаются каким-то садом божиим. Река Лая, таинственная в тихости сияющих летних ночей. Протяжные крики ночных птиц, всплески рыб... Тишина иочи, сияние неба, подобные зеркалам озера в белых мхах, плачевные флейты гагар... Или днем: лесная тропинка, бор-корабельщина, меж колонн, благоухающих смолою паче фимиама, цепь озер, отражающих иестерпимое сияние неба. Некошеные пожни-луга, цветы, каких московские и не видали. На лугах, на полянах малинник: ягод некому брать, а я боялся змей, пока не скосят траву...
Круглое тундряное озеро (чарус) с плачущими гагарами лежит в версте от Лайскаго дока, где мы жили. Мимо озера к деревне Рикасиха идут и едут берегом Белаго моря (Летним) в посад Нёноксу. Четырнадцати годов я живал в Нёноксе. Посад отгорожен от моря дюнами: с колоколен видать воздымающуюся над горизонтом высокопротяженную стену черно-синих вод. А шум и как бы некий свист моря слышен в домах днем и ночью, при ветре и без ветра.
Вкруг Нёиоксы ячменные поля, пожни-луга с синими цветами, холмы, покрытые белыми оленьими мхами, и всюду-всюду так нарядно, как бы в садах, рядами и кругами богонасажденный черемушник, рябинник, малинник, смородиниик. Из ягодника вылетит нарядная тетера и сядет поблизости. Зайцев тех летом не трогал никто. Уж ягод и брать некуда: корзина полна морошки, туес полон малины, а все идешь: места открываются одно другого таинственнее по красоте. Круглая сухая поляна белому моху синие крупные цветы — колокольчики, незабудки и великолепный папоротник в пояс человеку. Поляну окружает стена розовой ольхи и рябины. Пройдешь эту стену (под ногами несметно черники), и уж в глазах золотится полоска жита (ячмень), в жите поет птица «симаиуха». И тут же непременно речка в белых песках, непременно журчит по камешкам. Речка прячется в папоротнике, в ягоднике или, отражая высокое жемчужное небо, изогнется меж сребро-мшистых холмов «высокой тундры». Сколько звезд на небе, столько в архангельском крае озер. И речки наши серебряные текут меж озер и через озера. И с этих озер, куда бы ты ни зашел с ранней весны (с постов великих) до поздней осени, крики птицы водяной слышатся днем и ночью. Слаще мне скрипки и свирели эти ночные крики птиц, музыка родины милой... Лебеди, когда летят, трубят как в серебряные трубы. А гагары плачут: куа-уа! куа-уа! куа-уа!
Далеко от посада не уходил, все в глазах держал высокие шатры древних нёнокосских церквей. Иногда в тишине белой ночи поплывут звуки зауиывного колокола: кто-нибудь в лесах, во мхах заблудится из ягодников. На колокол выйдет.
«И страна моя Белая Индия преисполнена тайн и чудес», — поет о Севере поэт Клюев. Удивительное, странное и сладостное состояние овладевало мною иногда, среди этой природы, в этой несказанной тишине. И любил я ходить один, а не с ребятами-сверстниками. Какая-то сказка виделась воочию. В те годы, сначала на Лае-реке, потом в Нёноксе, выходя из возраста детства, впервые вглядывался я в окружающий меня мир Божий. И самыми сильными, самыми разительными были непосредственно впечатления северной природы.
Нёнокса было место удивительное, там еще царствовал XVII век, в зодчестве, в женских нарядах, в быту. Художник, любитель старины, эстет зашелся бы от восторга. Красота старины северной пленила меня навсегда годов с шестнадцати (Николо-Карельский монастырь). Но красоты природы могущественно, таинственно и сладко начали пленять мою душу с девяти годов.
В р. Лаю впадает лесная речка Шоля. Отец брал меня, малого, туда иа охоту. Мы вставали на заре, я трепетал от счастья: Шоля, покрытая белыми кувшинками, стада чирков — мелких уточек, все это было для меня путешествие в сказку. Всюду воды, всюду на веслах или с парусом. Воды северных рек прозрачны. О, как я любил соглядать подводные эти страны. Помываемые глубокими течениями леса водорослей, похожия на косы русалок... Серебряные рыбы меж зеленых кос, раковины. О, как любо было, купаясь, нырнуть в яхонтовый этот мир да оглядеться там иа мгновеиие.
Воды всегда шепчутся с берегом, а в карбасе с парусом встречь волнам — то-то у вод разговору с карбасом остроносым. И в Городе у пристаней бывало, где миого деревянных судов, суда поскрипывают, вода поплескивает: то-то молчаливая беседушка.
И ни зверя, ни птицу не стрелял, я смала в белые ночи рыбку любил сидеть удить. Ладно, ежели на уху свежей достану, а я за этим не гонился. Озеро или Лая-река в июльскую ночь как зеркало. Всплески рыб, крики птиц, тихое сияние неба, сияние вод... Сидишь на плотике и боишься комара сгоиить, чтоб ие упустить какой ноты чудной симфоиии северной ночи...

Гребу утре в важнецкое учреждение, а «начальники», на прием к которым гребу, без шапок летят на улицу, в машину садят ММ. А этот ММ в молодости в дружбе мне клялся, гостил у меия. А теперь навряд узнает. Надысь, впрочем, два пальца подал: «Ну что, старик?..» Пришел домой, разгоревался я на иужду свою неизбывную. Плакать мне над собою али смеяться?!

Человек уносит с собой на тот свет только духовную свою сущность, только моральную свою пену, только нравственную свою стоимость.
Все страшнее и страшнее становится жизнь рода человеческого. Уже ие знают, знать не хотят, что добро и что зло, что смрад и что благоухание, что свет и что тьма. Правда, любовь, красота, честь, милость, прощеиье, мир Христов, радость, вера, — все потоптано, забыто. Счета нет истинным негодяям, преступникам, мерзавцам. Но несть числа и «ни добрым, ни злым». Они сознательно зла не делают, да и добра от них никому нет. Человек века сего нередко от младости до старости гоияется за личными страстями, увлекается науками-искусствами. Около такого человека компания подобных ему. И все ловят жалкие, мишурные блестки скоротлимых ценностей, «мышиное золото» века сего. «Ученый», «писатель», «художник», «артист», иной какой «деятель» празднуют юбилей за юбилеем: 50 лет деятельности, 80 лет со дня рождения. Всерьез-невсерьез шумиха, суетня человеческая около всех этих «делов», а вопросы «правды вечной», а вопросы «смысла жизни», добра и красоты, завет «взыщите Бога», — где все это?

Дни короткие, по-нашему, по-северному зима уж... Снег иападает да стает. Вчера лужи, сегодия выморозило: сухо без снегу. Туск небесный быстро смеркнется, а все где увижу меж домы деревья особливо старыя, ветвистыя и — не могу досыта наглядеться, усладиться рисунком сучьев и ветвей, так чудно вырисованных на туске небесном. Кабы мне прежние глаза, только бы я и рисовал, только бы и отводил бархатистую черноту ствола, пальцем бы вывел могучий изгиб... Потом сучья, и это ненаглядное, нарядное, плетеиие веточек. Сумерки спускаются быстро и нежныя кисти веточек, как шелковыя нити на атласе, соединяются с небом. Чувствую неслучайность древесных изгибов и извитий. Дерево слушается солнца, ветров, дождей, соображается с широтою усадьбы...

Конец месяца (сегодня 27-е), дак на мели сидим. Братишко ломает голову, я покорно тих: делайте со мной что хотите...
Все применяю к себе горестные слова нашей деревенской хозяйки: «Что уж, какая у меня душа красивая, а лицо как куричья жопа». Мое бы дело какую ни есть работу хватать, где палец протянут, там за всю руку хвататься, а я с прохладцей. А люди — отскочи на пядень, они отскочат на сажень. Не знаю я, что у людей на душе, на сердце: бегут ли с кошелками, толпчутся ли на трамвайных остановках или у булочных, продавая паек... Диапазон моих знакомств узок, но нет-нет да и получу

приглашение на «вернисаж», на «творческий вечер», «выставку». Среди «голи и моли», которой надо же где-то забыться от очередей, от холода, от нужды, от грязи домашней разглагольствует полдесятка «взысканных».
В пятом часу уж темнеет. Брел бульваром. Высь небесная еще прозрачна, хотя и облачна, а за домами низкое небо дымно-свинцовое...
В Николин день звенел морозец; вчера и сегодня сыро, лужи стоят. Брателко неделю хворал, я не у него, около себя разорялся, пропадал. Тут поманило заработком, выколотил я малую толику, планы планова: вот-де заживем!.. Но и опять захирело. «В людях много милости (много??), а вдвое лихости».
Опять то же: «Садка день не зовут на почестен пир, другой не зовут на почестен пир...» Ну, ин ладно, ты, Садко, ежели не о деньгах, дак возьмись опять за свой промысел: о Боге возвеселись!
Давно я оттерт от «пирога-то». Удачливее меня много лизоблюдов. Видно, они зазевались: «Позвали Садка на пир» (У черного крыльца постоял!). А я и о парадной прихожей возмечтал...

...В родном городе, в музее, было множество изучительных моделей старинных церквей, домов... Была нарядная утварь в виде зверей, птиц. И я, еще подростком, наглядевшись, налюбовавшись, точно пьяный, охмелевший от виденных красот народного искусства, у себя дома резал, рисовал, раскрашивал, стараясь воспроизвести виденное в музее. Сказка, волшебство творчества заражает, вдохновляет, подвизает художника к творчеству.
Тихий зимний день, белый дворик, серо-фаянсовое небо, бесшумно кружащиеся белые пчелы; время точно остановилось... Творческое счастье охватывает тебя. Вот она, сказка о заколдованном Городе... Святые вечера, святые дни. Далече будни. Ныне время наряду и час красоте... Как бы матери голос слышу, поющий северную старину-былину:

Королевичи из Кракова
сели на добрых комоней...

А пушистые хлопья кружатся над Городом и неслышно ложатся в снег.
Да, святые вечера над родимым Городом: гавань в снегах, корабли, спящие в белой тишине... Над деревянным городом, над старинными бревенчатыми хоромами, над башнями «Каменного города» так же вот без конца кружатся белые мухи. И падают, и падают. И уже все покрыто белой, чистой праздничной скатертью. Святые вечера. «Во святых-то вечерах виноградчики стучат...» «Виноградие» — северная коляда. Сколько сказок сказывалось, сколько былин пелось в старых северных домах о Святках. Об Рождестве сказка стояла на дворе: хрустально-синие, прозрачно-стеклянные полдни с деревьями в жемчужном кружеве инея. И ночи в звездах, в северных сияниях... А по уютным многокомнатным домам тепло, «как сам Бог живет»... Тут-то бабки и дедки сыплют внукам старинное словесное золото... И в первый день Рождества мужчины-мореходы ходили по домам с серебряными трубами, славили Христа... Бородатые почтенные мужи. А для «святочных вечеров» женщины вынимали из сундуков и парчу и жемчуга нарядов XVII века, фижмы и робы Елисаветинских мод и фасонов.
Но что вспоминать детство?! Сказка нигде не загорожена. Вот она прилетела с Севера сюда и заворожила...

(1946)

Есть совсем «простые сердца»; потребностей, кроме как попить, поесть да поспать, нет никаких. Эти «простые сердца» даже кино не интересуются: ведь там ничего не дают. Есть, опять сорт голов пустых, но которым требуется чем ни то заполнять эту врожденную пустоту. Поверхностная щекотка нервов в местах общественного пользования вроде всезаполняющего кино их удовлетворяет. Публика поцивилизованнее, интеллигенты, — этим нужен театр, лекция о научной сенсации и т. п. Эта интеллигенция всерьез, но без разбору, интересуется литературой, поэзией. Какой бы хлам не выбросил рынок, эта «культурная публика» живет этими «новинками». У всех у них пустыя сердца, пустыя умы. Но они чем-то непременно должны заполняться, заполняться извне, — книжонкой, газетой, киношкой, папироской... Иначе — невыносимая, нестерпимая пустота, скука, тоска...
Есть люди тонкой психической организации, они любят музыку. Они знатоки и ценители ее... Но где-нибудь в лесу, в хижине они не могут долго пробыть. Нужны внешние возбудители.
А между тем у человека должно быть сокровище внутри себя, должна быть внутренняя сила, собственное богатство. Человек должен светить из себя.
В человеке, в самом себе должна рождаться естественно, могуче и светло музыка. И когда ты, человече, остаешься один, ты можешь услаждаться скрипками и арфами, своими мыслями и чувствами. Великая внутренняя содержательность, внутреннее солнце, звездное небо, дивная музыка внутри себя заставляла инока бежать в пустыню, в лесную дебрь, на необитаемый остров. И все вокруг для такого отшельника было царственно радостным, все было для него насыщено содержанием, благодаря богатству внутреннему. Творческая содержательность внутри себя может быть свойственна, скажем, и талантливому поэту, и ученому века сего и мира сего, но творческий порыв современного поэта не выше «потолка» доступнаго аэроплану, а «глубина» исследований современного ученого зачастую инфернальна.
Я упомянул пустынников. Но и везде молитва, дар молитвы есть дивное проявление внутренней содержательности. В нашем доме, здесь, жила порвавшая с семьей из-за «старой веры» поморянка Соломонида Ивановна. Она любила быть одна в своем сыром темном чулане под лестницей... Молилась по уставам, по правилам, с лестовкой. Молилась по праздникам одна, ночи напролет. Как светло ее лицо, какие радостные струились слезы: «Весь ты, спасе мой, радость! Нет тебя, Господи, краше!..»
Это не значит, что ежели внутри тебя поет птица райская, ты непременно должен особиться. Ты, скажем, арфа, а он скрипка, а у третьего виолончель, а тот вон труба сладкогласная: ежели бы вы сошлись, не составится ли чудный симфонический оркестр?! Таковы бывали обители.

(1949)

Творчески одаренный человек создает около себя и распространяет атмосферу увлекательную и живительную для других. «Подобное влечется к подобному» (Платон). У какого дела работает мысль человека, там и творчество. Всякая творческая деятельность человека рождает около себя жизнь. Особенно это относится к области искусства. Искусство тогда живет сильно, когда оно вовлекается в строительство жизни. Та или другая эпоха, строительствуя, имела свои идеалы. На Руси в XV веке стержнем «большого» искусства была церковность. Центром внимания «большого» искусства была только религиозная тематика. Со второй половины XVII века волны общей жизни уширили многостройную реку русских художеств... И церковное искусство как-то разрумянилось, раскудрявилось, подало руку бытовому народному искусству. Если портретист начала XVII века, пишучи царя Михаила, всячески тщился уподобить живое лицо иконописному лику, то в конце века наоборот: «белостью и румяностью», доведенными до лубочности, старались добиться «живства». Старообрядцы только себя считают охранителями древней иконописи, забывая, каким яростным гонителем новшеств в живописи был как раз их антагонист Никон.

Продолжение следует.

ИСТОРИЯ

Очерки.
Мемуары.
Документы.



Рубрику ведут
Андрей Кочетов
и Алексей Тимофеев.

Летопись в рассказах
лидеров, участников
и очевидцев
революционных
дней

Продолжение
Начало в № 11/1989
№№ 2-4, 7/1990

В выпуск рубрики этого номера включен фрагмент из воспоминаний Гаральда Карловича Графа (1885—?), в феврале 1917 года — капитана 2 ранга, командира эскадренного миноносца «Новик» Балтийского флота. Г. К. Граф — выходец из среды обрусевших немцев, участник цусимского сражения и морских баталий первой мировой войны, кавалер всех русских боевых орденов с мечами, а также высоко ценимого знака — серебряной медали за спасение людей во время известного землетрясения в Сицилии и Калабрии 1908 г. Изданные в эмиграции воспоминания «На «Новике». Балтийский флот в войну и революцию» (Мюнхен, 1922) еще недавно были доступны лишь посетителям спецхрана. Это и понятно, ведь отраженные в воспоминаниях убежденного монархиста события «великой и бескровной» Февральской революции слишком отличны от лишенных конкретных фактов и цифр описаний и выводов в советской исторической литературе. Лилась кровь, гибли без суда люди, по сути начинался тот самый массовый террор, впоследствии ударивший и по его явным и закулисным вдохновителям. О роли специальной агентуры в событиях на Балтфлоте, базировавшемся в непосредственной близости от цитадели революции — Петрограда, говорит и то, что события на других флотах в те дни не имели такого трагического размаха. Отголоски этого террора можно найти, скажем, в романе В. Пикуля «Моонзунд», но, увы, не в академическом издании, например, историка С. Хесина «Моряки в борьбе за Советскую власть» (М., «Наука», 1977), где бесстрастно сообщается: «В первых числах марта начались революционные выступления в главной базе Балтийского флота — Гельсингфорсе. Первыми выступили команды крупных кораблей, где были сосредоточены основные силы большевиков флота. На мачтах были подняты красные флаги, матросы вооружились и захватили в свои руки корабли, разоружив офицеров». Говорится лишь о гибели адмирала Непенина. А ведь автор, так же как и другие авторы подобных «исторических исследований», не мог не знать мемуарной литературы Русского Зарубежья. Тем более, что события, описываемые Г. К. Графом, подтверждаются в свидетельствах других участников трагедии — И. Ренгартена («Февральская революция в Балтийском флоте» — «Красный Архив», 1922), Я. Цывинского («Пятьдесят лет в Императорском флоте» — Рига, 1929). О том же написано в недавно опубликованных журналом «Морской сборник» записках Г. Четверухина.

Таким образом, лишь сейчас мы имеем возможность объективно взглянуть на каждое отдельно взятое событие революции, уже невзирая на то, кто нам о нем повествует, даже если это, как Г. К. Граф — в эмиграции — начальник управления по делам Главы Российского Императорского Дома. Следы контр-адмирала пока теряются в конце 30-х годов в Германии...

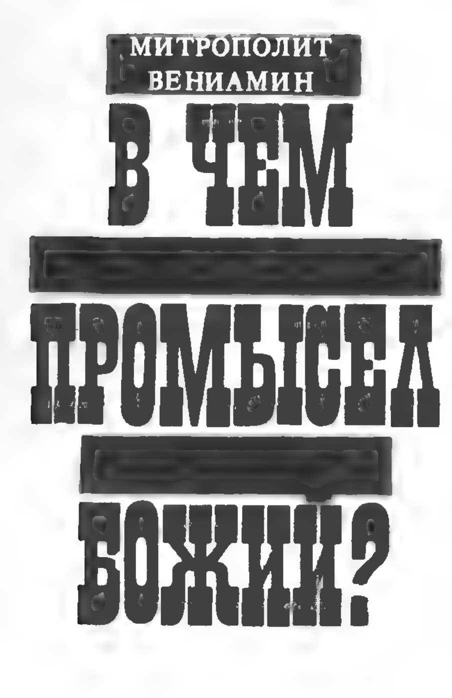
Предлагаемый вниманию читателя «Слова» фрагмент предоставлен в распоряжение редакции писателем Н. А. Черкашиным, известным своими книгами и статьями о прошлом и настоящем отечественного флота. Полный текст воспоминаний Г. К. Графа увидит свет в Воениздате в следующем году.

Безусловную ценность для того, кто испытывает потребность осмыслить уроки прошлого и, осознавая необходимость преобразований, избежать скоропалительных увлечений очередными сверхрадикальными лозунгами, представляют и написанные в 1943 году воспоминания «На рубеже двух эпох» митрополита Вениамина (Иван Афанасьевич Федченков, 1880—1961), выходца из крестьянской семьи, выпускника Тамбовской семинарии и Санкт-Петербургской Духовной Академии, в дальнейшем — преподавателя в ряде учебных заведений, члена Поместного Собора Православной Российской Церкви, члена Украинского Церковного Собора, епископа армии и флота Врангеля, эмигранта с ноября 1920 г. В 1933 г. он становится архиепископом, а в 1939 г. митрополитом в США. В 1941—1945 гг. митрополит Вениамин ведет активную патриотическую деятельность, проводит сбор средств для Красной армии. После войны он становится советским гражданином и возвращается на родину, управляет епархиями в Риге, Саратове, Ростове-на-Дону. С 1958 г. — в Псково-Печерском монастыре. Автор многих богословских трудов.

Рукопись митрополита Вениамина подготовлена к печати сотрудником ГБЛ А. К. Светозарским и планируется к выпуску в издательстве «Современник» в 1991 г. Публикуется с благословения наместника Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря архимандрита Павла.

В отличие от мучительных раздумий о тех днях видного священнослужителя, непоколебимой уверенностью дышат статьи 1917 года одного из лидеров партии большевиков И. В. Сталина, в марте приехавшего в Петроград из туруханской ссылки. Эти статьи составили 3-й том начатого в начале 50-х годов собрания сочинений, прервавшегося на 13-м томе. Статьи И. В. Сталина 1917 года в большинстве своем были опубликованы в книге «На путях к Октябрю», которая вышла в 1925 г. в двух изданиях. В небольшой, но крайне энергичной и решительной работе «Окружили мя тельцы мнози тучны» (в выборе заголовка, несомненно, сказалось обучение будущего политического деятеля в духовном учебном заведении) — немало угроз, как известно, не оставшихся голословными, и пренебрежение интеллигентскими «неврастениками», не готовыми идти до конца и пожинать плоды столь темпераментно вызываемой ими бури...

В следующем выпуске рубрики «От Февраля до Октября» воспоминания генерала П. Н. Краснова и Б. В. Савинкова.





Люди ошибочно привыкли считать, что в царских домах живет счастье. Думаю: едва ли не самая тяжелая жизнь в чертогах! Особенно в предреволюционное время, когда дворцам отовсюду грозили беды, покушения, взрывы, бунты, вражда, ненависть. Нет, «тяжела шапка Мономаха». И как легко понять, что этим людям в такую трудную годину хотелось иметь в ком-нибудь опору, помощь, утешение. Мы, духовные — причин немало, и не в одних нас были они — не сумели дать этого требуемого утешения: не горели мы. А кто и горел, как о. Иоанн Кронштадтский, то не был в фаворе: потому что давно, уже второе столетие, с Петра Великого, духовенство там вообще было не в почете. Церковь вообще была сдвинута тем государем с ее места учительницы и утешительницы. Государство совсем не при большевиках стало безрелигиозным внутренне, а с того же Петра, секуляризация, отделение их, и юридическое, и тут еще более психологически жизненное, произошло более двухсот лет тому назад. И хотя цари не были безбожниками, а иные были даже и весьма религиозными, связь с духовенством у них была надорвана. Например, нельзя было представить себе, чтобы царь или царица запросто, с любовью и сердечным почтением могли пригласить даже СПБ Митрополита к себе в гости, для задушевной беседы или даже и для государственного совета. Никому и в голову не могло прийти такое дружественное отношение! А как бы были рады духовные. Или уж нас и в самом деле не стоило звать туда, как бесплодных?.. Нет, думаю, тут сказался двухвековой отрыв государственной власти от Церкви. Встречи были лишь официальные: на коронациях, на царских молебнах (и то не сами цари на них бывали в соборах), на погребении усопших, на святочных и пасхальных поздравлениях. Вот и все почти. Даже в прямых церковно-государственных делах Церковь не могла сноситься с царем-правителем непосредственно, а было поставлено средостение — в виде «ока государева», светского министра царева, обер-прокурора Синода.

«Господство» государства над Церковью в психологии царских и высших кругов действительно было, к общему горю. А царь Павел даже провозгласил себя «главою Церкви». Конечно, никто и никогда из верующих, начиная с митрополитов и кончая простым селяком, не только не признавал на деле, но даже и в уме не верил этому «главенству», как веруют, например, католики в своего папу. А мы в селах даже никогда не слыхали об этой дикой вещи: если же бы и услышали, то нам она показалась бы нелепой и пустой: мирянин, без рясы, хоть бы и сам царь, да какой же он «глава» в Христовой Церкви?! Смешно!.. Пришла революция, ушли цари, а Церковь живет по-прежнему, — к недоумению обвинителей-католиков.

Но в высших кругах действительно была утеряна связь с духовенством; там крепко жила идея, что государство выше всего, а в частности — и Церкви. А за придворными кругами шли аристократические по подражанию и ради выгод.

Вместо же влияния духовенства в придворную сферу проникало увлечение какими-нибудь светскими авантюристами, «спиритами», или имел силу обер-прокурор. А душа все же искала религиозной пищи и утешения. Приходилось читать, что до Распутина был при дворе какой-то проходимец француз «Филипп» (или «Филипе», — все равно).

...Так начиналась «бескровная» революция... Сначала по улице шли мимо архиерейского дома еще редкие солдаты, рабочие и женщины. Потом толпа все сгущалась. Наконец, видим, идет губернатор в черной форменной шинели с красными отворотами и подкладкой. Высокий, плотный, прямой; уже с проседью в во-

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

19—1 — пятница. Стопкновение между Севастопольским Сов. Раб. Деп. и А. В. Копчаком. Прошение адм. А. В. Колчака об отставке. Поспе переговоров Керенского с Копчаком, поспедний остапся командующим фпотом. — Постановление Бюро И. К. С. Р. и С. Д. об отозвании представитепей Совета со съезда офицерских депутатов, ввиду антидемократического характера съезда. — Резопюция съезда офицеров армии и фпота об энергичном продопжеиии войны во имя «свободного выхода России в Средиземное море», о недопустимости «вмешательства войсковых комитетов в опервтивные, строевые и учебне дела, а безоответственных пиц и organизаций в квкие бы то ни было депа и об обеспечении начапьникам впвсти».

22—4 — понедепьник. Отстввка верховного глввнокомандующего ген. Апексеева. Назначение на его место ген. Брусипова.

23—5 — вторник. Поездкв в Кронштадт министров И. Г. Церетепи и М. И. Скобепева. — Сов. Раб. Деп. постановип: потребовать от кронштвдтцев «немедпенного и беспрекосповного исполнения всех предписаний Временного Правитепьства». Против этой резопюции голосовали большевики.

29—11 — понедепьник. Призыв председатепя Донского войскового кругв Богаевского к борьбе с анархией в России.

30—12 — вторник. Решение комиссии по созыву Учредитепьного Собрания гопосами всех против бопьшевиков предоствить избирательное право в У. С. чпенам домв Ромвновых.

31—13 — среда. Резолюция Ц. К. Р. С.-Д. Р. П.(б-ов) по поводу кот Англии и Франции от 11 и 13 мвя, в которой говорится о иеобходимости Совету Р. и С. Д. взять впасть в свои руки в цепях скорейшего окончвния империвлистической войны, отменить все распоряжения, направпенные против интернационалистических элементов в армии, принять самые решительные революционные меры для обуздвния капитвпистов, взять их предприятия под действитепьный рвбочий контропь, ввести трудовую повинность и т. д.

1—14 — четверг. Всеукраинский Крестьянский Съезд высказался за необходимость выработки Попожения об автономии Украйны и федеративно-демократического устройства России и немедленной украинизации земельных и городских самоуправпений.

3—16 — суббота. Открытие Всероссийского Съезда Советов Раб. и Солдат. Депутатов. Заявпение большевиков и интернационалистов на съезде по вопросу о наступлении. — Нота Временного Правитепьства союзникам с приглвшением создавать конференцию пред-

лосах в небольшой бороде. Впереди него было еще свободное пространство, но сзади и с боков была многотысячная сплошная масса взбунтовавшегося народа. Он шел точно жертва, не смотря ни на кого. А на него, — как сейчас помню, — заглядывали с боков солдаты и рабочие с недобрыми взглядами... Комитет находился в Городской Думе, квартала за два-три от собора и дворца.

Я предложил духовнику подняться на второй этаж, где жила часть соборного духовенства: старый, умный, образованный кафедральный протоиерей о. Соколов и другие. Что может статься и с духовенством теперь? Лучше уж встретить смерть всем вместе... И мы были свидетелями дальнейших событий. Толпа, вероятно, требовала от комитета убийства губернатора, но он не соглашался и предложил посадить его под арест на «гауптвахту». Это одноэтажное небольшое помещение было между собором и дворцом. Рядом с ней стояла и традиционная часовая будка, расписанная черными полосами. Толпа повела губернатора по той же улице обратно. Но кольцо ее уже зловеще замкнулось вокруг него. Сверху мы молча смотрели на все это. Толпа повернула направо за угол реального училища к гауптвахте. Губернатор скрылся из нашего наблюдения. Рассказывали, что масса не позволяла его арестовать, а требовала убить тут же. Напрасны были уговоры. Вышел на угол, — это уже на нашем поле зрения, — Червен-Водали, влез на какой-то столбик и начал говорить речь, очевидно против насилия. Но один солдат прикладом ружья разбил ему в кровь лицо, и того повели в комитет. На его место встал полковник Полковников, уже революционно избранный начальник, и тоже говорил. Но прикладом ружья и он был сбит на землю.

А мы, духовные?.. Я думал: вот теперь пойти и тоже сказать — не убивайте! Может быть, бесполезно? А может быть и нет? Но если мне пришлось бы получить приклад, все же я исполнил бы свой нравственный долг... Увы, ни я, ни кто другой не сделали этого... И с той поры я всегда чувствовал, что мы, духовенство, оказались не на высоте своей... Несущественно было, к какой политической группировке относился человек. Спаситель похвалил и самарянина, милосердно перевязавшего израненного разбойниками иудея, врага по вере... Думаю: в этот момент мы, представители благостного Евангелия, экзамена не выдержали, ни старый протоиерей, ни молодые монахи... И потому должны были потом отстрадывать.

Толпа требовала смерти. Губернатор, говорили, спросил:

— Я что сделал вам дурного?

— А что ты нам сделал хорошего? — передразнила его женщина.

Рассказывали еще и о некоторых жестокостях над ним, но, кажется, это неверно. И тут «кто-то», будто бы желая даже прекратить эти мучения, выстрелил из револьвера губернатору в голову. Однако толпа, — как всегда бывает в революции, — не удовлетворилась этим... Кровь — заразная вещь. Его труп извлекли на главную улицу, около памятника прежде убитому губернатору Слепцову. Это мы опять видели. Шинель сняли с него и бросили на круглую верхушку небольшого деревца около дороги, красной подкладкой вверх... А б. губернатора толпа стала топтать ногами... Мы смотрели сверху и опять молчали... Наконец, — это было уже верно к полудню и позже, все опустело. Лишь на середине улицы лежало растерзанное тело. Никто не смел подойти к нему. Оставив соборный дом, я прошел мимо него в свою семинарию, удрученный всем виденным... Не пойди я на раннюю службу и исповедь, — ничего бы того не видел. В чем тут Промысел Божий?..

Как я сказал, после Февральской революции я уехал в Москву. На вокзале нет извозчика. Пошел до Кремля пешком. Иду между соборами: пусто, безлюдно. Лишь встречается случайная монашенка и, лукаво-насмешливо смотря на меня в клобуке, язвительно спрашивает:

— Что?! Присягнули, товарищ, правительству-то новому?

Я ничего не ответил. А нужно сказать, я действительно никому после революции не присягал: как-то прошло мимо.

Среди знакомых я посетил Л. А. Тихомирова. Он был хмур. Между прочим, я спрашивал его:

— Как вы думаете, долго ли продержится эта бескровная революция? Некоторые (один, например, б. министр К., говорил: ну, две недели) думают, скоро все придет в порядок!

— Еще никогда в мире не было ни одной бескровной революции. А о двух неделях... Хм? — он саркастически улыбнулся, — дай Бог, если бы через десять лет кончилась она!..

С удалением царя и у меня получилось такое впечатление, будто бы из-под ног моих вынули пол и мне не на что больше опереться. Еще я ясно узрел, что дальше грозят ужасные последствия. И, наконец, я почувствовал, что теперь поражение нашей Армии неизбежно. И не стоит даже напрасно молиться о победе... Да и о ком, о чем молиться, если уже нет царя?.. Теперь все погибло...

А в Москве я услышал иной голос народа. Еще в пути из Твери, в вагоне второго класса, я ночью слышу, как надо мною на полке для вещей ворочается солдат с фронта, зевает и, по-видимому, рот крестя, шепчет:

— О-о! Господи, помилуй!

Проходя мимо храма Христа Спасителя, я увидел толпу народа. Статуя Александра III была уже разбита на части, которые валялись тут же. Впереди толпы — стол с председателем. Митинг. Я, в клобуке, вмешался в толпу солдат и рабочего люда. Слушаю. Взбирается какой-то студент в прекрасной шинели темно-зеленого сукна. Темой его речи была мысль, что революция совершилась, но ее нужно углублять и углублять. А опасностей много. Одной из них является возвращение с фронта солдат по домам. А там семьи, жены — и пропадет революция.

Слушаю я и думаю: не знаешь ты народа, если так говоришь. Да ведь это и неверно и обидно русскому мужику, чтобы он подчинялся своей бабе. Думаю: провалился оратор. И в самом деле в ответ на его речь раздалось два-три хлопка... Огорчились мужики...

Поднимается какой-то крестьянин без шапки. На голове копна темных волос, борода — лопата. Начинает раскланиваться на три стороны. Ему кричат: «Довольно, говори!»

— Нет, ты таперича погоди! — и снова кланяется.

— Ну, в чем дело?

Он медленно, с трудом ворочая слова, как камни, начинает говорить:

— Кто я такой?

— Да почем тебя знать!? Говори!

— Нет, а кто я такой?! — У людей теряется терпение.

— Ну, кто?! — говори, кто?

— Я второй кучер у купцов... (фамилию я позабыл).

— Ну, так что? Что ты кучер? К чему ведешь?

— Так как же? Гляди-ка-сь: вот я кучер, а таперича говорю! Вот оно что значит — свобода-то!

Народ понял и одобрил этого «оратора», впервые дерзнувшего заговорить, дружными хлопками.

А мне припоминается случай из истории французской революции 1789 года. В дом какой-то графини пришел знакомый маляр оклеивать комнату. Между делом завел разговор:

— А что, графиня, пожалуй, теперь из моего сынишки Пьера может и генерал выйти?

Графиня помолчала, а потом, со смешком рассказала знакомой подруге о такой наивности маляра.

— Напрасно ты смеешься, — ответила та. — Вот из-за того, что из Пьера может выйти генерал, они доведут революцию до конца!

К концу речи кучера я спрашиваю соседа:

— А мне можно сказать?

— Отчего же нет? Теперь всем можно. Спросись у председателя.

Я подошел и получил разрешение. Взбираюсь на стул, в рясе, в клобуке, и начинаю приблизительно так:

— Углублять-то теперь уж будете несомненно. За это не приходится опасаться. Только вот и Бога не забывайте: без Бога ни до порога!

И так далее. Вспомнил и солдата ночного, крестившего рот с молитвой, и прошлую историю земли русской, и народный дух православный... Вижу, внимательно слушают.

А когда я кончил, мне раздались оглушительные аплодисменты и возгласы:

— Правильно, отец!.. Верно, товарищ.

Я ушел с митинга довольный: не погибнет вера в народе! Он революцию хочет делать, но и от веры не желает отрекаться... И стало мне легче.

Вспоминается мне еще два, по-видимому смешных, но на самом деле загадочных случая. Над обоими я тогда задумался, и сейчас они стоят передо мною неразгаданными.

Один из них касался вопроса о социализме и собственности, а другой — о сочетании революции и религии.

Сначала расскажу о втором случае: он был раньше.

Когда я проезжал Харьков и задержался там, то был очевидцем следующей сцены. На центральной городской площади, где помещались и кафедральный собор, и против него «присутственные места», а справа — университет, собралась огромная толпа народа, которая стояла к собору задом, а к губернскому правлению лицом и смотрела вверх на крышу этого здания. Я обратился туда же. Вижу, что по железной крыше карабкается солдат в шинели. Куда он?..

Потом взбирается осторожно на самую вершину трехугольного карниза, лицом к собору. Смотрю: у него в руках дубина. Под карнизом же был вылеплен огромный двуглавый орел с коронами и четырехсаженными распростертыми крыльями. Это — символ собственно России, смотрящей на два континента — Европу и Азию, где ее владения. Но обычно его считали символом царя и его самодержавной власти. Разумеется, революционному сердцу данного горячего момента было непереносно видеть «остатки царизма». И решено их было уничтожить, насколько возможно. Кто же будет препятствовать?.. Теперь — свобода и угар. Но дело было опасное: вояке легко было слететь с трехэтажного здания и разбиться насмерть. Однако, дело серьезное, государственное, революция: есть за что рисковать и жизнью...

Приловчившись, солдатик встает во весь рост и на виду у всего честного народа, не спеша, снимает военную фуражку, истово кладет на себя три креста, покрывает голову, берет обеими руками дубину и двумя-тремя ловкими ударами сбивает и корону и головы орла. Внизу же над входными дверьми был плоский стеклянный навес: куски разбитого гипса упали на него и со звоном вдребезги разбили стекло... Были ли аплодисменты и ура, не помню... Как не быть?! Солдат с торжеством исполненной большой задачи сполз в слуховое окно крыши и дальше.

А я смотрел и думал: что же за загадка этот русский украинский человек? И царя свергает, и Богу молится... Не по-старому это... А у него как-то мирится. Видно, он революцию инстинктивно считает тоже хорошим и нужным делом... Или и здесь было лишь угарное озорство революционного момента, или простая традиция, что ответить, и казалось мне, как и в Москве на митинге у храма Христа Спасителя, русский народ как-то объединит и то, и другое... Отчаиваться нам, верующим, еще не нужно за него.

При этом же размышлении вспоминаются мне подобные же слова главы Церкви, митрополита Сергия, сказанные им много лет спустя американским корреспондентам, задавшим ему вопрос о пропаганде безбожия и атеизме народа:

— Мы еще не теряем надежды на возвращение нашего народа к отеческой вере.

И я, пиша эти записи, все еще жду, что будет с теми многими миллионами, которые за эти двадцать пять лет растеряли или разбили веру отцов? И как это будет? Воля Божия... Не я же управляю миром!

А другой разговор был в вагоне, после Харькова.

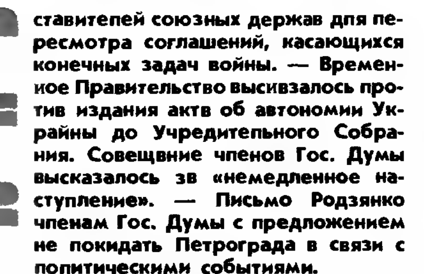
В поезде были украинцы. Народ они — «себе на уме»! Не сразу поймешь, что думают эти «хохлюки». Молчаливая публика... Посасывают себе трубочки с тютюном, и все думают, думают... Около одной группы вертится юный солдат, хорошо одетый... Как помню, великоросс по языку. Едет с фронта или на фронт куда-то «по делам». Оказывается, военный фельдшер, стало быть, вроде уж как ученый. И вот он на моих глазах горячо и долго разъясняет дядькам-украинцам: что такое социализм. Как теперь все будет замечательно! Работать придется совсем мало, а всего будет вдоволь. А главное все и всем — даром: денег никаких не платить, да и вообще деньги и не нужны будут при социализме...

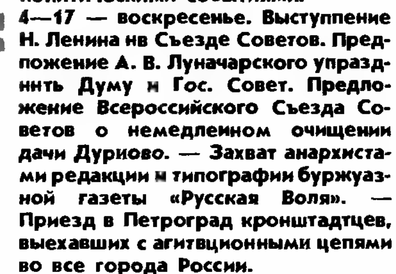
Слушают мужики и не спорят... Только что вот как-то загадочно молчат, будто бы глупые. Но оратор, довольный собой и своим умом, не замечает этого... И неожиданно один из слушателей, выколачивая пепел из трубки своей, сказал медленно (он говорил по-украински, конечно), смотря вниз на трубку:

— Да, оно... конечно, без денег-то лучше... Зачем тогда деньги?.. Вот разве маленько на табачишко?!

В самом ли деле он думал, что уж табака, как вещи несерьезной и не необходимой, серьезное начальство давать не будет? Или он этой шутливой иронией выразил свое сомнение, что при социализме будет все даровое? Не знаю. Только, по-видимому, этот украинец хотел сказать, что даже при коммунизме должна остаться какая-то сторона жизни, пусть и второстепенная, на индивидуальную свободу. А где граница этого? В табачишке ли только?

Не поверили лишь они одному, что мало придется работать. Это вековечному труженику и непонятно, и даже неприятно...





ХРОНИКА СОБЫТИЙ И Ю Н Ь

ставителей союзных держав для пересмотра соглашений, касающихся конечных задач войны. — Временное Правительство высказалось против издания акта об автономии Украйны до Учредительного Собрания. Совещание членов Гос. Думы высказалось за «немедленное наступление». — Письмо Родзянко членам Гос. Думы с предложением не покидать Петрограда в связи с политическими событиями.

4—17 — воскресенье. Выступление Н. Ленина на Съезде Советов. Предложение А. В. Луначарского упразднить Думу и Гос. Совет. Предложение Всероссийского Съезда Советов о немедленном очищении дачи Дурново. — Захват анархистами редакции и типографии буржуазной газеты «Русская Воля». — Приезд в Петроград кронштадтцев, выехавших с агитационными целями во все города России.

6—19 — вторник. Речь Каменева на Всероссийском Съезде Советов об отношении к Временному Правительству. — Арест офицеров в Севастополе. Делегатское собрание судовых команд постановило отстранить от должностей адмирала Колчака и начальника штаба Н. Смирнова и обезоружить всех офицеров. Телеграфное требование Временного Правительства о немедленном подчинении Черноморского флота законной власти. Вызов Колчака и Смирнова в Петроград.

8—21 — четверг. На Съезде Советов большинством 543 против 126 при 52 воздержавшихся принята резолюция меньшевиков об отношении к Врем. Правительству.

11—24 — воскресенье. Заседание И. К. П. С. Р. и С. Д., Президиума Всер. Съезда Сов. и Бюро фракций, участвующих на Съезде Советов, по вопросу о демонстрации 10 июня. Доклад Ф. Дана, ответ Л. Каменева, речь И. Церетели, признающего демонстрацию 10 июня «заговором для низвержения Правительства и захвата власти большевиками». Уход большевиков в знак протеста. — Украинский Войсковой съезд принял изданный Центральной Радой «Универсальный акт об устроении Украйны».

13—26 — вторник. Постановление Вр. Пр. об отмене военно-полевых судов. — Призыв суворинской «Маленькой Газеты» к свержению Временного Правительства и замене князя Львова адмиралом Колчаком. — Постановление собрания представителей судовых команд 21 военного корабля в Гельсингфорсе против отправки русских войск во Францию.

14—27 — средв. Постановление Временного Правительства сроком созыва Учредит. Собрания назначить 30 сентября, а выборы 17 сентября. — Обращение П. К. Р. С.-Д. Р. П. (б-ов) к революционным солдатам и рабочим по поводу организующейся контрреволюции с при-



Гельсингфорсский рейд спит под покровом тяжелого льда. Сверху глядит ясное звездное небо. Блестит снег. На белом фоне неясно вырисовываются темные контуры линейные кораблей и крейсеров. Тут сосредоточены главные силы, главный оплот России на Балтийском море. Мористее других кораблей выделяется бригада дредноутов, здесь же виднеются «Андрей Первозванный», «Император Павел I», «Слава», «Громобой», «Россия», «Диана». Спокойные дымки, поднимающиеся лентой к нему, говорят о том, что на них кипит неугомонная жизнь. Кругом — тихо. Ничто не указывает, что близится трагедия...

Вдруг, как будто по какому-то сигналу, здесь и там, на всех кораблях замелькали ровные, безжизненные огни — красных клотиковых фонарей. Проектируясь на темноту ночи, они производили жуткое впечатление и вызывали предчувствие чего-то недоброго.

Это были буревестники революции, злодеяний и позора.

Сухой треск беспорядочных винтовочных выстрелов, прорвавшийся сквозь тишину ночи, служил разъяснением самовольных красных огней. Начинался бунт, полилась кровь офицеров...

Более остро, чем где-либо, он прошел на 2-ой Бригаде Линейных кораблей.

Вот что происходило на «Андрее Первозванном», по рассказу его командира, капитана I-го ранга Г. О. Гадд. Вместе со своими офицерами он пережил эту ночь при самых ужасных обстоятельствах.

«I марта утром корабль посетил Командующий флотом адмирал Непенин и объявил перед фронтом команды об отречении Государя Императора и переходе власти в руки Временного правительства. Через два дня был получен Акт Государя Императора и объявлен команде.

Все эти известия она приняла спокойно.

3-го марта вернулся из Петрограда начальник нашей бригады, контр-адмирал А. К. Небольсин и в тот же вечер решил пойти на «Кречет», в Штаб флота.

Около 8 часов вечера этого дня, когда меня позвал к себе Адмирал, вдруг пришел старший офицер и доложил, что в команде заметно сильное волнение. Я сейчас же приказал играть сбор, а сам поспешил сообщить о происшедшем Адмиралу, но тот на это ответил: «Справляйтесь сами, а я пойду в Штаб», и ушел.

Тогда я направился к командным помещениям. По дороге мне кто-то сказал, что убит вахтенный начальник, а далее сообщили, что убит Адмирал. Потом я встретил нескольких кондукторов, бежавших мне навстречу и кричавших, что «команда разобрала винтовки и стреляет».

Видя, что времени терять нельзя, я вбежал в кают-компанию и приказал офицерам взять револьверы и держаться всем вместе, около меня.

Действительно, скоро началась стрельба и я с офицерами, уже под выстрелами, прошел в кормовое помещение. По дороге я снял часового от денежного сундука, чтобы его не могли случайно убить, а одному из офицеров приказал по телефону передать о происходящем в Штаб флота.

Команда, увидя, что офицеры вооружены револьверами, не решалась наступать по коридорам и начала стрелять через иллюминаторы в верхней палубе, что было удобно, так как наши помещения были освещены.

Тогда с одним из офицеров я бросился в каюту Адмирала, чтобы выключить лампочки. Но в тот же момент, через палубный иллюминатор, была открыта сильная стрельба. Пули так и свистали над нашими головами, и сыпался целый град осколков. Почти сейчас же нам пришлось выскочить обратно, и мы успели потушить только часть огней.

Тем временем, офицеры разделились на две группы и каждая охраняла свой выход в коридор, решившись если не отбиться, то во всяком случае, дорого продать свою жизнь.

Пули пронизывали тонкие железные переборки, каждый момент угрожая попасть в кого-нибудь из нас. Вместе с их жужжанием и звоном падающих осколков стекол, мы слышали дикие крики, ругань и угрозы толпы убийц.

Помещение, которое мы заняли, соединяло два коридора, ведущих к адмиральскому салону, и само не имело палубных иллюминаторов. Но зато оно имело выходной трап на верхнюю палубу, люк которого на зимнее время был обнесен тонкой деревянной надстройкой. Пули, легко проникая через ее стенки, достигали нас, так что скоро был тяжело ранен в грудь и живот мичман Т. Т. Воробьев и убит один из вестовых.

Через несколько времени, так как осада все продолжалась, я предложил офицерам выйти наверх к команде и попробовать ее образумить.

Мы пошли... Я шел впереди. Едва только я успел ступить на палубу, как несколько пуль сразу же просвистело над моей головой, и я убедился, что пока выходить нельзя и придется продолжать выдерживать осаду внизу.

Уже три четверти часа продолжалась эта отвратительная стрельба по офицерам, как вдруг мы услышали крик у люка: «Мичмана Р. наверх». Этот мичман всегда был любимцем команды, и потому я посоветовал ему выйти наверх, так как очевидно ему никакой опасности не угрожало, а наоборот, его хотели спасти. Вместе с тем он мог помочь и нам, уговаривая команду успокоиться.

Но стрельба и после этого продолжалась все время, и не видя ее конца, я опять решил выйти к команде, но на этот раз один.

Поднявшись по трапу и открыв дверь деревянной надстройки, я увидел против себя одного из молодых матросов корабля с винтовкой, направленной на меня, а шагах в двадцати стояла толпа человек в сто и угрюмо молчала. Небольшие группы бегали с винтовками по палубе, стреляли и что-то кричали. Кругом было почти темно, так что лиц нельзя было разобрать.

Я быстро направился к толпе, от которой отделилось двое матросов. Идя мне навстречу, они кричали: «Идите скорее к нам, командир».

Вбежав в толпу, я вскочил на возвышение и, пользуясь общим замешательством, обратился к ней с речью: «Матросы, я ваш командир, всегда желал вам добра и теперь пришел, чтобы помочь разобраться в том, что творится, и оберечь вас от неверных шагов. Я перед вами один, и вам ничего не стоит меня убить, но выслушайте меня и скажите: — чего вы хотите, почему напали на своих офицеров? Что они вам сделали дурного?

Вдруг я заметил, что рядом со мной оказался какой-то рабочий, очевидно агитатор, который перебил меня и стал кричать: «Кровопийцы, вы нашу кровь пили, мы вам покажем...» Чтобы не дать повлиять его выкрикам на толпу, я в ответ крикнул, — пусть он объяснит, кто и чью кровь пил. Тогда вдруг из толпы раздался голос: «Нам рыбу давали к обеду», а другой добавил: «Нас к вам не допускали офицеры».

Я сейчас же ответил: «Неправда, я ежемесячно опрашивал претензии, всегда говорил, что каждый, кто хочет говорить лично со мной, может заявить об этом, и ему будет назначено время. Правду я говорю или нет?»

И я облегченно вздохнул, когда в

ответ на это послышались голоса: «Правда, правда, они врут, против вас мы ничего не имеем».

В этот самый момент раздались душу раздирающие крики, и я увидел, как на палубу были вытащены два кондуктора с окровавленными головами — их тут же расстреляли, а потом убийцы подошли к толпе и начали кричать: «Чего вы его слушаете, бросайте за борт, нечего там жалеть...» С кормы же раздались крики: «Офицеры убили часового у сундука».

Воспользовавшись этой явной ложью, я громко сказал: «Ложь, не верьте им, я сам его снял, оберегая от их же пуль».

Тем временем толпа, окружавшая меня, быстро возрастала, и я видел, что на мою сторону переходит большая часть команды, и потому уж более уверенно продолжал говорить, доказывая, что во время войны всякие беспорядки и бунты для России губительны и крайне выгодны неприятелю, что последний на них очень рассчитывает и т. д.

Вдруг к нашей толпе стали подходить несколько каких-то матросов, крича: «Разойдись, мы его возьмем на штыки». Толпа кругом меня как-то замерла, я же судорожно схватился за рукоятку револьвера. Видя все ближе подходящих убийц, я думал: мой револьвер имеет всего девять пуль, восемь выпущу в этих мерзавцев, а девятой покончу с собой.

Но в этот момент произошло то, чего я никак не мог ожидать. От толпы, окружавшей меня, отделилось человек пятьдесят и пошли навстречу убийцам: «Не дадим нашего командира в обиду». Тогда и остальная толпа тоже стала кричать и требовать, чтобы меня не тронули. Убийцы отступили...

Избежав таким образом смерти, я, совершенно усталый и охрипший, снова обратился к команде, прося спасти и других офицеров. Однако мой голос уже отказывался повиноваться, и я невольно должен был замолчать. Этим, конечно, могли бы воспользоваться находившиеся поблизости агитаторы и опять начать возбуждать против меня толпу. Чтобы выйти из этого опасного положения, стоявший рядом со мной мичман Б., которого команда вызвала наверх, так же как и мичмана Р., громко крикнул: «А, ну-ка, на «ура» нашего командира», и меня подхватили и начали качать.

Это была победа, и я был окончательно спасен. Но остальные офицеры продолжали быть в большой опасности, и слыша продолжающуюся по ним стрельбу, я решил опять заговорить о них.

Так как дело происходило на открытом воздухе, а я был без пальто, то, наконец, совсем продрог. Это заметили окружающие матросы, и один из них предложил мне свою шинель. Но я отклонил предложение, и тогда было решено перейти в ближайший каземат. Там я снова обратился к команде, требуя спасти офицеров. Я предложил ей дать мне слово, что ничья рука больше не подымется на них; я же приду к ним и попрошу отдать револьверы, после чего они будут арестованы в адмиральском салоне, и их будет охранять караул.

Мне на это ответили «нет». «Вы будете убиты, не дойдя до них».

Тогда мне пришла мысль вызвать офицеров к себе в каземат. И хотя это было сопряжено с риском, но, оставаясь по-прежнему в корме, они все неизбежно были бы перестреляны.

Команда на это предложение согласилась, но с условием, что по телефону будет говорить матрос, а не я. Мне, конечно, только оставалось выразить свое согласие, но чтобы офицеры, не зная, жив ли я, не подумали, что их хотят заманить в ловушку, стоя у телефона, я стал громко диктовать то, что следует передавать. Таким образом, мой голос был слышен офицерам, и они поняли, что этот вызов действительно исходит от меня.

Позже выяснилось, что когда шайка убийц увидела, что большинство команды на моей стороне, она срочно собрала импровизированный суд, который без долгих рассуждений приговорил всех офицеров, кроме меня и двух мичманов, к расстрелу. Этим они, очевидно, хотели в глазах остальной команды оформить убийства и в дальнейшем гарантировать себя от возможных репрессий.

Во время переговоров по телефону с офицерами в каземат вошел матрос с «Павла I» и наглым тоном спросил, — что, покончили с офицерами, всех перебили? Медлить нельзя. Но ему ответили очень грубо,— мы сами знаем, что нам делать, — и негодяй, со сконфуженной рожей быстро исчез из каземата.

Скоро всем офицерам благополучно удалось пробраться ко мне в каземат, и по их бледным лицам можно было прочесть, сколько ужасных моментов им пришлось пережить за этот короткий промежуток времени.

Сюда же был приведен тяжело раненный мичман Т. Т. Воробьев. Его посадили на стул, и он на все обращенные к нему вопросы только бессмысленно смеялся. Несчастный мальчик за эти два часа совершенно потерял рассудок. Я попросил младшего врача отвести его в лазарет. Двое матросов вызвались довести и, взяв его под руки, вместе с доктором *ушли*. Как оказалось после, они по дороге убили его на глазах у этого врача.

Еще раз потребовав от команды обещания, что никто не тронет безоружных офицеров, я и все остальные отдали свои револьверы. После этого мы все прошли в адмиральское помещение, у которого был поставлен часовой с инструкцией от команды: «Никого, кроме командира, не выпускать».

Хорошо еще, что пока команда была трезва и с ней можно было разго-

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

зывом быть готовыми к активному выступлению против нее. Никакие разрозненные выступления отдельных частей солдат и рабочих без призыва П. К., Ц. К. Р. С.-Д. Р. П. (б-ов) и его Военн. Орган. признаются недопустимыми.

16—29 — пятница. Приказ Керенского по армии и флоту о наступлении. Обращение Временного Правительства к украинскому народу с призывом объединиться и не вносить разногласия в общее управление страной. — Постановление общеказачьего съезда предложить Временному Правительству свою помощь в борьбе с анархией, считая необходимым применение вооруженной силы.

17—30 — суббота. Всероссийский Съезд Советов по докладу министра Церетели постановил послать в Финляндию особую делегацию для переговоров с с.-д. фракцией сейма по вопросу о займе. — Фракция с.-д. большевиков внесла на съезде резолюцию, в которой настаивает на принципиальном признании права Финляндии на независимость и на немедленном проведении в жизнь тех предварительных мер, которые вытекают из этого права (созыв и роспуск сейма исключительно самим сеймом, назначение самим народом членов финского правительства и т. д.).

18—1 — воскресенье. Наступление русской армии. — Телеграмма военного министра А. Ф. Керенского Временному Правит. о «великом торжестве русской революции — переходе армии в наступление», с предложением присвоить полкам, начавшим наступление, наименование «полков 18-го июня». — Мирная политическая демонстрация у могил жертв революции на Марсовом поле, прошедшая под большевистскими лозунгами. — Освобождение анархистами заключенных в Петроградской тюрьме.

22—5 — четверг. Постановление Вр. Правит. о временном устройстве административного управления и местного самоуправления в Лифляндской и Курляндской губерн. и о введении в действие аналогичного постановления Вр. Пр. от 30 марта 1917 г. относительно Эстляндской губернии. — Утверждение Съездом Советов Центрального Исполнительного Комитета в составе 164 меньшевиков, 99 эсеров, 35 большевиков, 8 объединенцев, 3 эн-эсов и 1 еврейской С. Р. П.

25—8 — воскресенье. Наступление русской армии в Галиции. Победа армии ген. Корнилова. Прорыв неприятельского фронта. — Начало выборов в Московскую городскую думу; в выборах принимали участие 646.551 избирателей; к.-д. получили 34 места, н.-с. — 3 места, эсеры — 116 мест, соц. блок, меньш., Бунд, — 24 места, с.-д. (б-ки) 23 места. — Ц. К. кадетской партии признал недопустимым участие ка-

варивать. Но я очень боялся, что ее научат разгромить погреб с вином, а тогда нас ничто уже не спасло бы. Поэтому я убедил команду поставить часовых у винных погребов.

Время шло, но на корабле все еще не было спокойно и банда убийц продолжала свое дело. Мы слышали выстрелы и предсмертные крики новых жертв. Это продолжалась охота на кондукторов и унтер-офицеров, которые попрятались по кораблю. Ужасно было то, что я решительно ничего не мог предпринять в их защиту.

Нас больше уже не трогали, и я сидел или у себя в каюте, из которой была видна дверь в коридор, или был у офицеров. Вдруг я услышал шум в коридоре и увидел нескольких человек команды, бегущих ко мне. Я пошел им навстречу и спросил, что надо. Они страшно испуганными голосами ответили, что на нас идет батальон из крепости: «Помогите, мы не знаем, что делать». Я приказал ни одного постороннего человека не пускать на корабль. Мне ответили «так точно», и стали униженно просить командовать ими. Тогда я вышел наверх, приказал сбросить сходню, и команда встала у заряженных 120 мм орудий и пулеметов.

Мы прожектором осветили толпу, идущую по льду мимо корабля, но, очевидно, она преследовала какую-то другую цель, потому что прошла, не обратив никакого внимания на нас и скрылась по направлению города. Как позже выяснилось, она шла убивать всех встречных офицеров и даже вытаскивала их из квартир.

После того, как команда, столь храбрая на убийство горсточки беззащитных людей и струсившая при первом же признаке опасности настолько, что у тех, кого только что хотела убить, готова была просить самым униженным образом о помощи, успокоилась, я опять спустился к себе в каюту.

Находясь на верхней палубе, я видел, что на всех кораблях флота горели зловещие красные огни, а на соседнем «Павле I» то и дело вспыхивали ружейные выстрелы.

Весь остаток ночи я и офицеры не спали и все ждали, что опять что-нибудь произойдет, так как продолжали не доверять команде. Но, наконец, около 6 часов утра начало светать и сразу стало легче на душе, да и выстрелы на корабле окончательно затихли и все как-будто успокоилось. Тогда я пошел к себе в каюту, думая немного отдохнуть. Осмотревшись в ней, я увидел, что все стены, письменный стол и кровать изрешечены пулями, а пол усеян осколками разбитых стекол иллюминаторов и кусочками дерева.

Печальный вид каюты командира линейного корабля во время войны и после боя, но не с противником, а со своей же командой!..

Все вечера до поздней ночи мы с офицерами просиживали в кают-компании. Они не хотели расходиться по своим каютам, будучи уверены, что в этом случае в ту же ночь они по одиночке будут перебиты.

Как результат пережитого было то, что два офицера совершенно потеряли рассудок и их пришлось отправить в госпиталь. Среди кондукторов трое сошло с ума. Из них одного вынули из петли, когда он уже висел на ремне в своей каюте. Другой же, одевшись в парадную форму, вышел из каюты и стал кричать, что он сейчас пойдет к командиру и расскажет, кто кого убивал. Это очень не понравилось убийцам, и они тут же его расстреляли.

В последующие дни в команде все продолжалась агитация против меня. Указывалось на случай с Родичевым, как на то, что я обманул команду. Потом был пущен слух, что офицеры, желая отомстить команде, решили взорвать корабль и всех матросов утопить. Все это действовало на нее, и хотя до открытого мятежа не доходило, но все время чувствовалось приподнятое настроение и приходилось быть иачеку. То и дело приходилось разъяснять всякие глупейшие недоразумения, успокаивать и убеждать относиться более критически ко всему происходящему. Пока это удавалось, но не было никакой гарантии, что вдруг опять не возникнут эксцессы.

В скором времени на место убитого начальника бригады был назначен я. Таким образом, мне пришлось возиться уже с тремя кораблями, на которых царил полный развал, недаром наша бригада после переворота была прозвана «каторжной».

Через несколько времени опять стало заметно сильное брожение среди команд и пришлось опасаться повторения мартовских событий. Причиной этому послужила усиленная агитация за снятие с офицеров и кондукторов погон, а с унтер-офицеров нашивок, как ярких отличий «старого режима».

Когда Командующему Флотом было донесено об этом, он объявил, что немедленно снесется с правительством по вопросу об изменении формы всего личного состава флота. При этом форма будет без погон.

Однажды, когда я приехал на корабль, меня встретили унтер-офицеры без нашивок и старший офицер доложил, что команда волнуется и требует, чтобы офицеры и кондукторы немедленно сняли погоны.

Я сейчас же вызвал к себе судовые комитеты со всех кораблей бригады и объяснил им, в каком положении находится дело об изменении формы, что необходимо подождать некоторое время, пока она будет выработана, и ею обзаведутся офицеры. Комитеты со мной согласились и обещали успокоить команды.

Во время этих переговоров мне дважды докладывали, что поведение команды на «Андрее» становится все более и более угрожающим. Когда после окончания совещания я вышел в коридор, то увидел взволнованного старшего офицера и нескольких других, которые смотрели вопросительно на меня, как бы ожидая моего выступления в их защиту.

Тогда я решил положить конец агитации и оградить офицеров от новой опасности. Выйдя на палубу, я громко приказал поднять сигнал: «Ввиду предстоящего изменения формы, предлагаю офицерам и кондукторам бригады снять погоны, а унтер-офицерам нашивки».

Когда же все корабли ответили на сигнал, я снял и свои погоны. За мной наблюдали. Но, кажется, ни один мускул не дрогнул на моем лице, хотя меня и душили слезы...

Но этого с меня было совершенно достаточно. Очевидно, что такого рода издевательствам не предвиделось конца. Поэтому я решил при первом удобном случае уйти с бригады и вообще покинуть службу на флоте, так как становилось ясным, что больше рассчитывать не на что и что он, с каждым днем, все ближе и ближе — к полному разложению»...

...На миноносце «Уссуриец» был убит его командир, капитан 2-го ранга М. М. Поливанов и механик, старший лейтенант А. Н. Плешков.

Командир «Гайдамака», услышав выстрелы, послал туда своего мичмана Биттенбиндера узнать, что случилось. Но только что мичман вошел на палубу, как в него, почти в упор, было пущено несколько пуль из нагана. Три из них попали ему в живот. Он сейчас же упал, но у него все же еще хватило сил проползти от сходни до носа «Уссурийца». Оттуда его взяла команда соседнего «Всадника» и перенесла на его миноносец.

Промучившись несколько часов, он умер. На похороны его пошла вся команда «Гайдамака», которая его страшно жалела. Но вместе с тем, матросы считали, что он — неизбежная жертва революции, и этим оправдывали его убийство командой «Уссурийца».

На второй или третий день после переворота были убиты командир Свеаборгского Порта, генерал-лейтенант В. Н. Протопопов и молодой корабельный инженер Л. Г. Кириллов. Первый был очень гуманный человек и его все любили, а второй только что начал свою службу и даже не успел себя ничем проявить. Таким образом, нельзя и предположить, чтобы причиной убийства могло послужить их отношение к подчиненным. Тем более, что они были убиты из-за угла какими-то неизвестными лицами, которые безнаказанно скрылись.

Но далеко не везде убийцам удавалось их гнусное дело. Когда, например, подойдя к дредноутам, они потребовали выдачи офицеров, им в ответ были вызваны караулы. Это заставило их разбежаться.

С крейсера «Россия» этим же мерзавцам для того, чтобы разойтись,

было дано только несколько минут, иначе угрожали открыть огонь.

Так прошел переворот на Флоте, на берегу же убийства офицеров происходили в обстановке еще более ужасной. Их убивали при встрече на улице, или врываясь в их квартиры и места службы, бесчеловечно издеваясь над ними в последние минуты. Но и этим не довольствовалась толпа зверей-убийц: она уродовала и трупы и не подпускала к ним несчастных близких, свидетелей этих ужасов.

Передают, что труп одного из офицеров эти изверги поставили стоя в угол покойницкой и, с кривляниями подскакивая к нему, говорили: «Ишь-ты, стоит!.. Ну, постой, постой... и мы пред тобой когда-то стояли навытяжку!»...

Даже похоронить мучеников нельзя было так, как они того заслуживали своей кончиной: боялись издевательств во время погребения, и ни революционные организации, ни революционный командующий флотом не брались оградить от этого. Они были тайком ночью отвезены на кладбище и наскоро зарыты. Первое время над их могилами нельзя было сделать и надписей на крестах, так как по кладбищам бродили какие-то мерзавцы, которые делали на крестах различные гнусные надписи.

Последующие дни прошли спокойно, и убийства офицеров в Гельсингфорсе почти прекратились, а если и были, то только отдельные случаи. Но что сделано — того не вернешь, и «бескровный» переворот в Гельсингфорсе стоил жизни тридцати восьми только морским офицерам, не считая сухопутных. Большинство из них погибло от руки таинственных убийц в формах матросов и солдат, но были павшие и от рук своей собственной команды...

Разбираясь в этих убийствах, в связи с существовавшими взаимоотношениями на флоте между офицерами и командами, нельзя не придти к убеждению, что то, что произошло, было не случайным явлением, а кем-то организованным, преднамеренным убийством. Но с какой целью?

Мы тогда терялись в догадках, стараясь найти причину убийства наших несчастных офицеров. Некоторые приписывали это германским агентам с целью расстроить боеспособность флота, другие — какой-то таинственной организации, тем более, что в городе появился список офицеров, намеченных к убийству, причем в него были помещены все командиры, старшие офицеры и старшие специалисты. Если бы убийства действительно были бы по нему выполнены, то флот оказался бы совершенно без руководителей. Но так или иначе, для всех было ясно, что все эти эксцессы были вызваны искусственно, под влиянием агитации, совершены просто подосланными убийцами, а не были вспышкой негодования за отношение начальства к подчиненным.

Только значительно позже, совершенно случайно, один из видных большевистских деятелей, присяжный поверенный, еврей Шпицберг, в разговоре с несколькими морскими офицерами пролил свет на эту драму.

Он совершенно откровенно заявил, что убийства были организованы большевиками во имя революции. Они принуждены были прибегнуть к этому, так как не оправдались их расчеты на то, что из-за тяжелых условий жизни, режима и поведения офицеров, переворот автоматически вызовет резню офицеров. Шпицберг говорил: «Прошло два, три дня с начала переворота, а Балтийский флот, умно руководимый своим Командующим адмиралом Непениным, продолжал быть спокойным. Тогда пришлось для углубления революции, пока не поздно, отделить матросов от офицеров и вырыть между ними непроходимую пропасть ненависти и недоверия. Для этого-то и был убит адмирал Непенин и другие офицеры. Образовывалась пропасть, не было больше умного руководителя, офицеры уже смотрели на матросов, как на убийц, а матросы боялись мести офицеров в случае реакции»...

Шпицберг прав. Мы не забудем этих дней, этих убийств. Но ответственность за них мы возложим не на одураченных матросов, а на устроителей и вождей революции.

Эти убийства были ужасны, но еще ужаснее то, что они никем не были осуждены. Разве общество особенно требовало их расследования, разве оно их резко порицало?.. Впрочем, о чем же и толковать, раз сам военно-морской министр нового правительства Гучков санкционировал награждение Георгиевским Крестом унтер-офицера запасного батальона Волынского полка Кирпичникова за то, что тот убил своего батальонного командира...

В свое время господа Керенские, Гучковы, Львовы, Милюковы и т. д. объявили амнистию всем таким убийцам и этим не только покрыли убийства во имя революции, но и узаконили их после переворота. Этим они взяли на себя кровь, пролитую наемными убийцами, которые были посланы «вырыть пропасть», этим они заслужили вечное проклятье и от близких этих жертв и от всей России!..

●

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

детов в особой комиссии, посылаемой Вр. Прав. в Киев для переговоров с Украинской Радой. Многолюдная манифестация украинцев в Петрограде с лозунгами: «Слава Центральной Раде», «Нехай живе автономна федеративна Украина» и т. п. Представители украинских организаций вручили товарищу председателя С. Р. и С. Д. А. Р. Гоцу постановление, в котором были выражены требования об объявлении украинского военного комитета как государственного учреждения и о выделении в Петроградском военном округе украинцев в отдельной части.

26—9 — понедельник. Воззвание министра труда М. И. Скобелева к рабочим России, в котором он объявляет об открытии действий главного экономического комитета и указывает на недопустимость захвата фабрик и заводов рабочими, насилия над служащими и директорами, вмешательства в техническое управление предприятиями.

27—10 — вторник. Врем. Ком. Гос. Думы постановил обратиться к Временному Правительству с указанием на необходимость решительными мерами прекратить нарастающую сельскохозяйственную разруху, выражающуюся в том, что «крестьяне в ложном убеждении своих прав на частновладельческие и казенные земли, внушенном преступными элементами, предъявляют непомерные требования об увеличении арендных и посевных площадей, сопровождаемые зачастую самовольными захватами, запрещают рубку и вывоз леса, останавливают деятельность сельскохозяйственных заводов, снимают рабочих и т. д.».

28—11 — среда. Финляндский сейм во втором чтении принял законопроект о верховных правах Сейма. В новом законе совершенно не упоминается о суверенных правах России.

Печатается с сокращениями по книге В. Максакова и Н. Нелидова «Хроника революции», выпуск 1, 1917 год. Госиздат, М.-Пг., 1923.

И. В. СТАЛИН

"ОКРУЖИЛИ МЯ ТЕЛЬЦЫ МНОЗИ ТУЧНЫ"



Большевики дали клич — быть готовым! Вызван он обострением положения и мобилизацией сил контрреволюции, которая хочет напасть на революцию, которая пытается обезглавить революцию, сдав столицу Вильгельму, которая намерена обескровить столицу, выводя из нее революционную армию.

Но революционный клич, данный нашей партией, понят не всеми одинаково.

Рабочие поняли его «по-своему» и стали вооружаться. Они, рабочие, много прозорливее очень многих «умных» и «просвещенных» интеллигентов.

Солдаты от рабочих не отстали. Вчера еще на собрании полковых и ротных Комитетов столичного гарнизона громадным большинством постановили они грудью отстаивать революцию и ее вождя, Петроградский Совет, по первому зову которого обязуются они стать под ружье.

Так обстоит дело с рабочими и солдатами.

Не то с другими слоями.

Буржуазия знает, где раки зимуют. Она взяла да «без лишних слов» выставила пушки у Зимнего дворца, ибо у нее есть свои «прапорщики» и «юнкера», которых, надеемся, история не забудет.

Агенты буржуазии из «Дня» и «Воли Народа» открыли против нашей партии поход, «смешивая» большевиков с черными, усиленно допрашивая их о «сроке восстания».

Их подголоски, денщики Керенского, Бинасики и Даны, разразились воззванием, подписанным «ЦИК», призывая не выступать, допрашивая, подобно «Дню» и «Воле Народа», о «сроке восстания», приглашая рабочих и солдат пасть ниц перед Кишкиным и Коноваловым.

А перепуганным неврастеникам из «Новой Жизни» невмоготу стало, ибо они «не могут больше молчать» и умоляют нас сказать наконец: когда же выступят большевики.

Словом, если не считать рабочих и солдат, то поистине: «окружили мя тельцы мнози тучны», клевеща и донося, угрожая и умоляя, вопрошая и допрашивая.

Наш ответ.

О буржуазии и ее «аппарате»: с ними у нас разговор будет особый.

Об агентах и наймитах буржуазии: мы их посылаем в контрразведке, — там они могут «осведомиться», в свою очередь «осведомляя», кого следует, о «дне» и «часе» «выступления», маршрут которого составлен уже провокаторами из «Дня».

О Бинасиках, Данах и прочих денщиках Керенского из Центрального исполнительного комитета: «героям», ставшим на сторону правительства Кишкина — Керенского против рабочих, солдат и крестьян, — мы отчета не даем. Но мы постараемся, чтобы они, эти герои штрейкбрехерства, ответили перед съездом Советов, который вчера еще пытались они сорвать, но который сегодня вынуждены они созвать, отступая перед напором Советов.

Что касается неврастеников из «Новой Жизни», то мы плохо разбираемся, чего, собственно, хотят они от нас.

Если они хотят узнать о «дне» восстания для того, чтобы заранее мобилизовать силы перепуганных интеллигентов, для своевременного... бегства, скажем, в Финляндию, — то мы можем их только... похвалить, ибо мы «вообще» за мобилизацию сил.

Если они спрашивают о «дне» восстания для того, чтобы успокоить свои «стальные» нервы, то уверяем их, что если бы даже был назначен «день» восстания и если бы большевики сообщили им об этом «на ухо», то от этого ни на гран не стало бы «легче» нашим неврастеникам: пошли бы новые «вопросы», истерика и пр.

Если же они хотят просто произвести демонстрацию против нас, желая отмежеваться от нашей партии, то мы их можем опять же только похвалить: ибо, во-первых, этот разумный шаг, несомненно, будет зачтен им кем следует после возможных «осложнений» и «неудач»; во-вторых, он внесет ясность в сознание рабочих и солдат, которые поймут, наконец, что «Новая Жизнь» второй раз (июльские дни!) дезертирует из рядов революции в черную рать Бурцевых — Сувориных. Ну, а всякому известно, что мы вообще за ясность.

Но, может быть, они не могут «молчать» потому, что теперь вообще все загоготали в отечественном болоте интеллигентской растерянности? Не этим ли объясняется «нельзя молчать» Горького? Невероятно, но факт. Они сидели и молчали, когда помещики и их прислужники доводили крестьян до отчаяния и голодных «бунтов». Они сидели и молчали, когда капиталисты и их прихвостни готовили рабочим всероссийский локаут и безработицу. Они умели молчать, когда контрреволюция пыталась сдать столицу и вывести оттуда армию. Но эти люди, оказывается, «не могут молчать», когда авангард революции, Петроградский Совет, стал на защиту обманутых рабочих и крестьян! И первое слово, что сказали они, — слово упрека не по адресу контрреволюции, — нет, а по адресу той самой революции, о которой они с увлечением говорят за чашкой чая, но от которой они бегут, как от чумы, в самые ответственные минуты! Разве это не «странно»?

Русская революция ниспровергла немало авторитетов. Ее мощь выражается, между прочим, в том, что она не склонялась перед «громкими именами», брала их на службу, либо отбрасывала их в небытие, если они не хотели учиться у нее. Их, этих «громких имен», отвергнутых революцией, — целая вереница. Плеханов, Кропоткин, Брешковская, Засулич и вообще все те старые революционеры, которые тем только и замечательны, что они старые. Мы боимся, что лавры этих «столпов» не дают спать Горькому. Мы боимся, что Горького «смертельно» потянуло к ним, в архив.

Что же, вольному воля... Революция не умеет ни жалеть, ни хоронить своих мертвецов...

РЕДКИЕ КНИГИ ОБ ЭТИХ ДНЯХ:

Ахун М. И., Петров В. А. БОЛЬШЕВИКИ И АРМИЯ В 1905—1917 ГГ. Л., 1929.

Ангарский Н. МОСКОВСКИЙ СОВЕТ В ДВУХ РЕВОЛЮЦИЯХ. М.-Л., 1928

Клейнборт Л. М. ПЕРВЫЙ СОВЕТ РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ. Пг., 1917

Любовиков М. 1917—1920. ХРОНИКА РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЙ В ГОРЬКОВСКОМ КРАЕ. Горький, 1932.

РЕВОЛЮЦИЯ НА УКРАИНЕ ПО МЕМУАРАМ БЕЛЫХ. Сост. С. А. Алексеев. М.-Л., 1930.

Епископ Нестор Камчатский. РАССТРЕЛ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ 27 ОКТЯБРЯ — 3 НОЯБРЯ 1917 Г. М., 1917.

ИСКУССТВО

Графика. Живопись. Скульптура.

СЕРГЕЙ ХАРЛАМОВ

ТЕРЯЯ ФОРМУ, ГИБНЕТ КРАСОТА

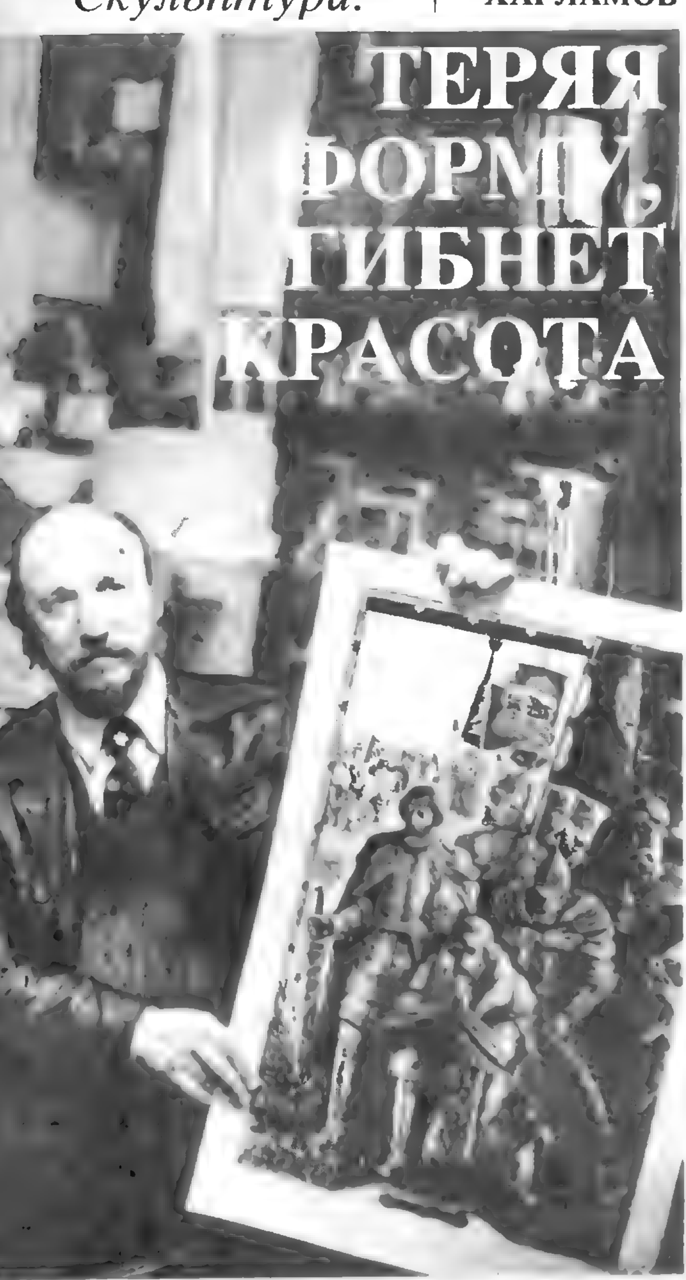


Фото АЛЕКСАНДРА КУЛЕШОВА

У русских после обеда положено было спать. Григорий Отрепьев, Лжедмитрий I, не спал, как было положено у православных, через это и определили, что он католик. «Ты потерпи, помучайся, но посмотри, спит он после обеда или не спит», — так очевидно напутствовали тех, кто должен был доглядеть, спит он после обеда или нет.

* * * *

Они казнили государя, и кровь из его раны хлынула по всей России.

* * * *

Как-то зашла речь с Леоновым об известном перебросе вод с севера на юг, что там не все благополучно, как кажется. Похоже, что «перебросчики» доведут свою работу до конца, несмотря на героические усилия против этого писателей, ученых, общественных деятелей. Говорилось, что время наше безблагодатное и не все ладно в этом мире. Леонид Максимович, внимательно посмотрев на меня, вдруг сказал слова, поразившие меня: «Душу, душу надо устраивать, а там и все остальное устроится».

Странно было слышать эти слова от писателя, создавшего образ борца за родную природу Вихрова и его антипода, представителя лженауки, «духовного отца перебросчиков» — Грациапского. Но потом я понял, что в этих словах писателя выразилась вся вековечная народная мудрость, имеющая свою, корневую, глубинную систему, питающую всю русскую литературу и культуру, где основными духовными ценностями, мерилами законов бытия были и являются совесть, сострадание, смирение как антипод «гордыне», правда, а в основе всего любовь как высшее понимание красоты и гармонии мира.

****

Когда Л. М. Леонов работал над «Русским лесом», то решил события развернуть в блокадном Ленинграде. Но потом отказался от этой идеи, потому, что война и блокада — это уже страшно, да еще события по роману. Это было бы уж слишком. Но материал все-таки успел собрать. В осажденном городе доходило порой до того, что ели людей и продавали пирожки с человечиной, а один тренер, здоровый малый, съел ребенка и тот стал ему сниться. Приходит ночью тихо, садится к нему на колени и сидит. Так продолжалось долгое время. Его откачивали, делали уколы, чтобы вывести из состояния жути. Все было бесполезно. Прошли годы и ребенок стал приходить к нему с бородой.

****

Сталин сказал однажды: «Я есть образ и подобие партии». Сказано точно, и каждый, кто был до него и после, каждый посвоему тоже был «образ и подобие партии» — только разные ее грани.

****

Абстрактное искусство несет в себе мировоззрение, исключающее образ как идею. Оно без-образно в подлинном смысле.

****

В. Солоухин в «Венке сонетов» пишет: «Теряя форму, гибнет красота». Действительно красота, являясь частью Божественной гармонии, есть идея, содержание, выраженное в определенной, соответствующей ей форме, и когда разрушается идея, внешне это выражается разрушением формы, и наоборот.

****

Ум и сердце всегда должны быть готовы к восприятию красоты.

Последнее слово науки — это первое слово Библии.

(Из поучений о. Валериана)

****

На площади висит огромный лозунг: «Да здравствует героический рабочий класс», но... почему только он?

****

Растение, вырванное из земли, скоро побледнеет и завянет. С народом не так ли?

****

В «старой слободе» под Касимовым я и мой товарищ поднимались в гору, к церкви Ильи Пророка.

Внезапно один старинный предмет, похожий на отполированный камень, привлек мое внимание. Приглядевшись, я понял, что это не камень, как мне показалось вначале, а человеческий череп, и тут же мне бросилось в глаза обилие костей, разбросанных по дороге, недавно проложенной по древнему кладбищу, вместо того, чтобы обогнуть его.

Получалось, что люди ходили буквально по костям захороненных людей, может быть их предков, зная при этом, что ходят по костям и попирают священные останки.

«Ужасный век — ужасные сердца».

****

Большевики под руководством «интернационала» прекрасно справились с возложенной на них задачей, разрушили Россию и теперь, выполнив предназначенную им роль, должны сойти со сцены, с политической арены. «Мавр сделал свое дело, мавр должен удалиться».

****

У П. Флоренского есть слова, на первый взгляд непонятные. Сатана — обезьяний бог. Стало быть получается, что те, кто при-

нял теорию Ч. Дарвина о происхождении человека и согласился, что произошел от обезьяны, то тем самым отказался, понятно почему, признавать в себе «образ и подобие Божие», а значит стремление к совершенству, к высшему идеалу добра, святости, красоты. Трудно без светлой небесной мечты достигнуть совершенства, гармонии и счастья в мире. Становится понятным, наконец, кто является покровителем тех, которые ведут свою родословную от обезьяны.

****

Под Покровом, на возвышенном отовсюду видном месте, стоит церковь села Иваново. Разорена, как и тысячи других церквей России. Внутри святого храма пыль, мусор, части разрушенного иконостаса, обрывки газет, битое стекло — мерзость запустения. На стенах многочисленные, оставленные аборигенами надписи такого рода:

«Маша+Миша — Свердловск»

«Игорь К, Витя Г»

«Уходя гасите свет»

«Любовь с первого взгляда — большая экономия времени»

«Людок распахнула душу, а там сквозняк»

«Люди, я хочу домой в 40 лет октября» и другие.

При выходе из храма бросилась в глаза еще одна, писанная вязью, надпись: «...И прогоню, и покараю вас мечом огненным, враги и ненавистники бо мои суть...»

****

В букинистическом магазине на Арбате огромного роста детина, продавец с черными вьющимися волосами, кричал на интеллигентного вида старушку с виновато опущенной головой. Кричал на нее громко, для всех, чтобы все слышали. Оказывается, она показала принесенные на комиссию книги одному из тех проиырливых молодцов, которые постоянно крутятся у подобного рода заведений (куда милиция только смотрит). Было что-то неприличное в этой сцене, и выпученные глаза верзилы, и этот крик, и седая, невинная голова женщины, готовая сгореть от стыда от всего этого. Вдруг раздался голос из очереди к кассе: Не так защищают честь прилавка... мистер ИКС». Ответная реакция продавца была потрясающей. Он мгновенно набросился на молодого человека, произнесшего эти слова, что тот, дескать, тоже показывал кому-то книги. «А что же вы думаете, и книги в ваш магазин в штанах должен проносить, что ли», — резонно ответил тот.

****

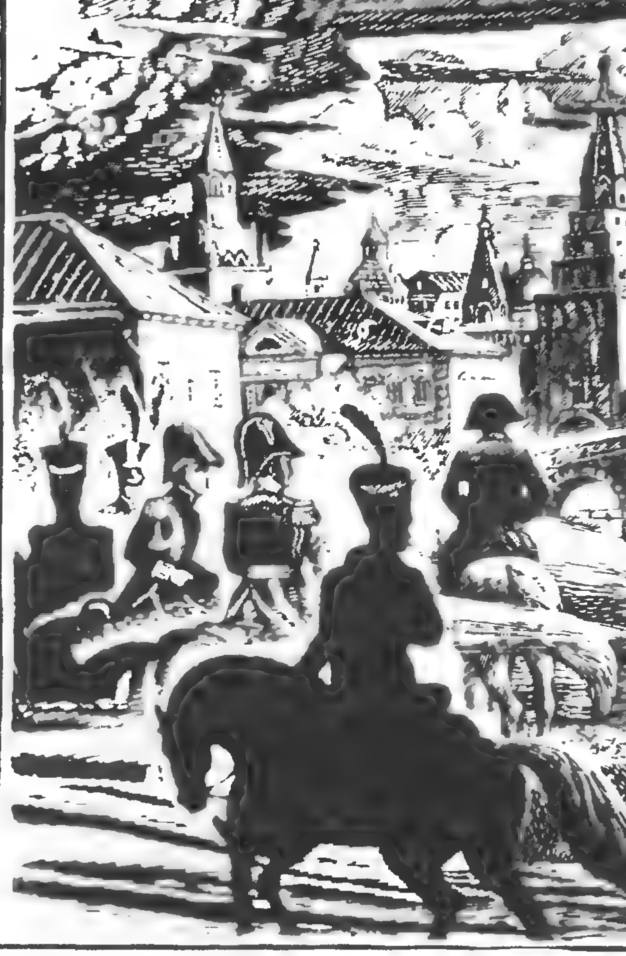
Историю искусства у нас в Строгановке преподавал Соболев Николай Николаевич, профессор, крупнейший знаток древнерусского искусства, спасший во время «культурного геноцида» от разрушения Триумфальную арку, которую теперь почему-то поставили на Кутузовском проспекте — в честь Наполеона, что ли. Ассистентом у него был Митрофан Митрофанович, фамилию забыл. Шел зачетный экзамен. Перед Николаем Николаевичем сидела Владлена Алтаева, сибирячка с очень своеобразным, красивым лицом, полубурятка, полуукраинка. «Как зовут-то тебя, милая», — вопрошает Николай Николаевич. «Владлена». Брови Николая Николаевича медленно пошли вверх, он удивленно повернулся к своему бывшему ординарцу, а теперь ассистенту. «Что же это за имя такое, Митрофан Митрофанович. Я в святцах такого не встречал. Владлена?» Тот, выдув из бурых дебрей насквозь прокуренной бороды мундштук с вечно дымящейся сигаретой и, подняв вверх дрожащий указательный палец, как бы удвоенный мундштуком, сказал: «Да как же, Николай Николаевич, что же вы не знаете — Владимир Л-е-е-нин».

****

Престольным праздником в селе Кременьи под Каширой было Рождество Богородицы. К празднику съезжались гости, вечером разъезжались. Как сейчас помню теплый сентябрьский вечер. Через Оку на ту сторону переправляются лодки. Люди, сидящие в них, поют. Поют и «Рябинушку» и «Златые горы», и «На муромской дороге». Незабываемая, удивительная картина. Я как бы прозрел. Меня охватила непонятная, почти детская радость оттого, что поют они на родном мне русском языке, я понимаю этот язык, эти слова, они мои и этих людей, моих земляков, он роднит меня с ними, благодаря этому языку мы единое целое, мы Народ. Это было подлинное счастье, это было открытием, это было чудо.

****

Во время коллективизации крестьяне села Красный угол отказались вступать в колхоз, более того, захватили агитаторов и решили их повесить. Тогда регулярная часть красных окружила село, на городок, возвышенность рядом с селом, выкатили пушки для обстрела и готовы были открыть огонь. Крестьяне тоже вооружились чем могли: вилами, косами и пр. орудиями труда. Священником в церкви Рождества был о. Сергий, которого все уважали и любили за его спокойный и добрый характер, достойный служитель Господу. Так вот о. Сергий не благословил крестьян сопротивляться красным, дабы избежать кровопролития. Когда же военная часть вошла в село, то солдаты стучали почти в каждое окно и кричали парализованным от страха жителям: «Готовь гроб».



Вступление Наполеона в Москву. Ксилография.

****

В шестидесятом году церковь в Красном селе закрыли. о. Сергия давно уже не было на этом свете, и решили сделать из нее склад. Засыпали пшеницей. И вот однажды остался один местный крестьянин, Дмитрием его звали, и стал сгребать зерно.

Вдруг из алтаря вышел покойный о. Сергий, подошел к нему и спокойно так сказал: «Метешь Митрий, ну мети, мети». И тихо удалился в алтарь...

Наполеон пришел в ярость при виде Москвы, при виде неподвластной ему стихии.

...«Царям стихии неподвластны», — мудро изрек Александр I при виде ужасов наводнения.

****

Анастасия Цветаева, сестра известной поэтессы, заметила как-то по поводу улыбки Джоконды — «Кротость змеиная».

****

Когда в кругу знакомых и друзей спрашиваешь: «Хорошо ли вам знакома песня «Широка страна моя родная», песня-символ, воплощение эпохи строительства социализма, воспевающей счастье и радость советского человека, которую, помню, даже пел Поль Робсон?» — И когда слышишь утвердительный ответ, задаешь следующий вопрос: «Какими словами оканчивается строка «наши нивы взглядом не»?..» — ...и все не задумываясь говорят — «не окинешь». Ответ именно такой и ждешь, а когда говоришь, что не «не окинешь», а «не обшаришь», никто не верит. А ведь в известной песне именно так и есть — «наши нивы глазом не обшаришь». Мне думалось до этой песни, что шарят только по карманам, а оказалось, можно шарить и по нивам.

****

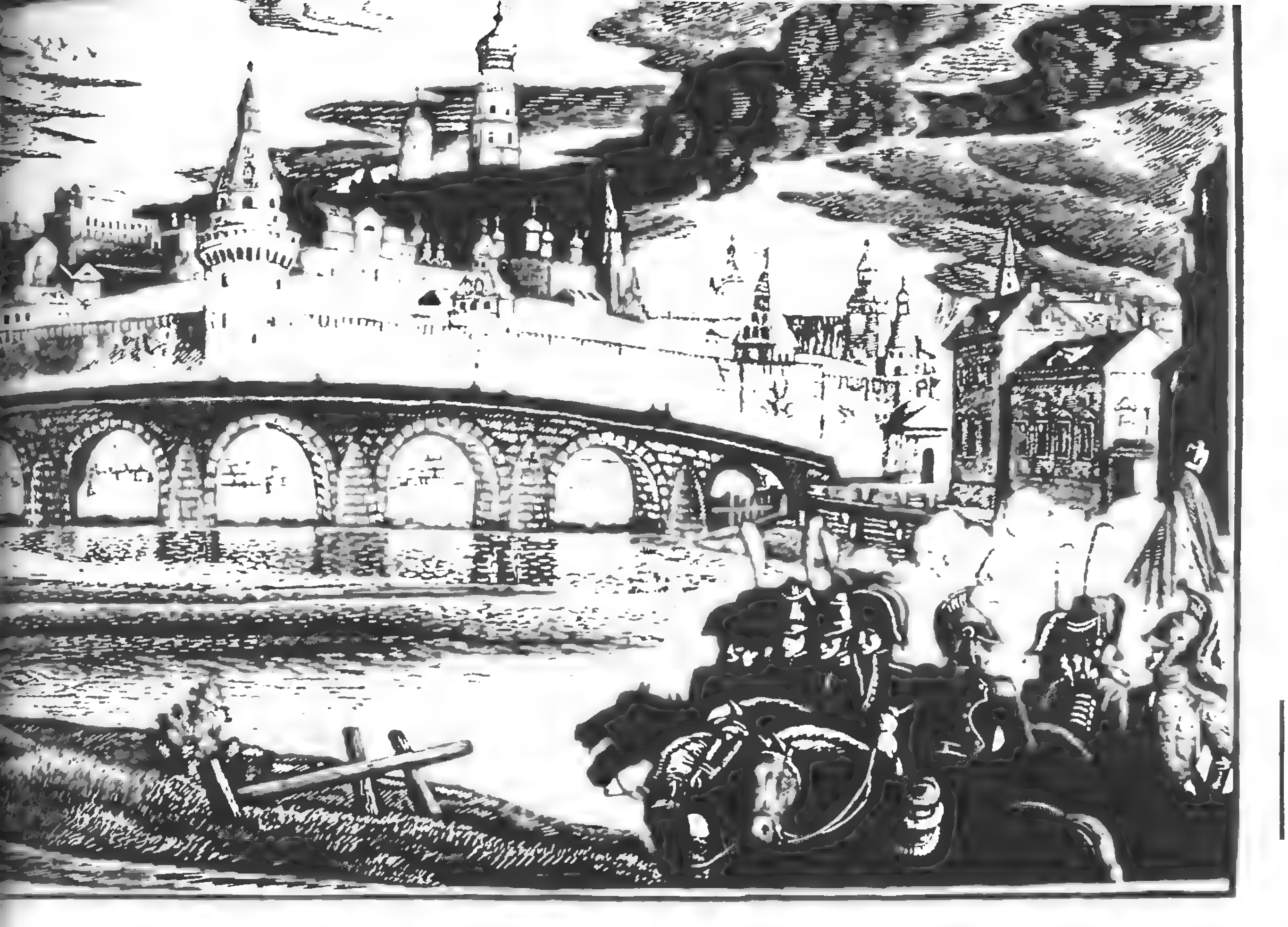
Мне кажется, что все мы, по-своему, блудные сыны в этом мире, в нашем образовании, в творческом развитии, в мировоззрении, наконец.

Для меня знакомство и изучение классиков мировой литературы таких, как Данте и Сервантес, Шекспир и Свифт, Андерсен и Рильке и других позволили еще более внимательно, по-новому прочитать Пушкина и Достоевского, Гоголя и Лескова.

****

В сберкассе у метро «Павелецкая-кольцевая» долгое время висел плакат со словами — «План — основа жизни».

Каждый раз я думал, так-то оно так, но в основе самого плана фантазия и цифра, абстракция в общем-то.



Читаю в газете, что «сельское хозяйство одна из главнейших областей экономики»... Опять о том же, ведь в основе-то экономики та же цифра, но обладающая мощной силой, определяющая жизнь живого дела сельского хозяйства. Да, цифра сейчас стала богом. Она определяет все. Нашу экономику, нашу политику, наше мировоззрение наконец. И что самое смешное, даже звание быть или не быть, допустим... академиком. Возрастной ценз до 75 лет.

Гомер или Тициан по возрасту не смогли бы быть у нас академиками.

****

Сосед мой, Павел Сергеевич, человек с тяжелой, но такой типичной для нашего народа судьбой, из раскулаченных, часто вспоминал случай, когда они, еще до раскулачивания, жили в Троицких озерках под Коломной.

Когда крестьян стали загонять в колхозы, а надо сказать, всякий раз, когда шла речь о колхозах, я ни разу не слышал, чтобы он говорил, допустим, «создавали колхозы», или «организовывали», но именно «загоняли», как скотину в хлев или на бойню, что ли.

Так вот, однажды, приехал чекист-агитатор, он положил перед собой на стол маузер, чтобы все видели, а сам встал на стул и стал выступать. А в зале смех, и ему кричат: «Агитатор, ширинку-то забыл застегнуть».

****

...И этот день настал. Собрали крестьяне свой последний урожай на полях, поделили поровну меж собой и разъехались, кто куда. Так прекратила свое существование деревня Лошаки Покровского уезда Владимирской губернии.

1930 г. Период коллективизации.

****

Недалеко от комбината художественных работ — рынок. Решил сходить туда. Навстречу мне идут два живописца. Один из них известный мастер натюрморта.

Спросили, куда путь держу. «На рынок». «А-а, рынок это всегда хорошо», — с удовольствием сказал тот, кто пишет натюрморты.

****

Л. М. Леонов так однажды определил мою роль, как художника книги. «Ситуация такова. Я покупаю полушубок, ты же должен только отогнуть уголок полы и показать мне мех, каков он, какого качества, какого цвета, и только».

****

Шли с женой по Арбату ночью. Его дневная жизнь закончилась. Еще кое-где художники дорисовывали портреты своих моделей.

Повсюду под ногами валялись пустые бутылки, бумажные стаканчики, фольга из-под мороженого и прочий мусор.

Отдельно стояли группки раскрепощенной молодежи, не скрывающие своих чувств от прохожих, громко смеясь, матерясь, сплевывая под ноги, витрины в окнах с полупорнографическими, или как теперь говорят эротическими, сюжетами, приоткрытые двери заведений с подвыпившими завсегдатаями.

Все это являло картину, мало радующую глаз. Жена заметила неожиданно: «Какая пошлость все это», — и, подумав, добавила: «Как тараканы повылазили из щелей и вынесли наружу все, что должно быть там, в щелях, всю грязь и пошлость».

****

Путь художника в искусстве — это путь от земли к небу. Художник В. Перов прекрасно показал это всем своим творчеством. Вспомним первые работы художника «Сельский крестный ход на пасхе», «Проповедь в селе», «Чаепитие в Мытищах», где художник буквально глумится над нашим духовенством, а одна из последних его работ «Христос в Гефсиманском саду». Не кается ли художник в этой работе за грехи прежних своих работ?

****

«Шаги Иисуса на Земле важнее шагов космонавтов по Луне». — Эти слова принадлежат американскому космонавту Джону Рубену, посетившему Луну.

****

В бывшем Симоновом монастыре построено чудовищное здание дома культуры, занявшее почти всю площадь монастыря и кладбища, где покоятся останки дорогих нашему сердцу светлых имен. «Комбинат по переработке человеческих душ».

****

Русскому человеку по существу своему никогда не было свойственно чувство национализма как крайности (о чем сейчас очень *много говорят и пишут*), а как раз наоборот, т. к. *мерность* и красота — вот основные категории, определяющие внутреннее и внешнее устроение жизни, а путь к нему указан через мир и тишину.

****

Будучи в Полтаве, мы шли по одной из ее прекрасных зеленых улиц. Перед нами, вдали на горе, во всем своем великолепии реял Крестовоздвиженский монастырь. Навстречу же нам шла девушка, невиданной, но очень характерной красоты. И мой товарищ, выросший в этих местах, знаток и поклонник Нарежного и Гоголя, видя мой восторг, вдруг сказал торжественно, ни к кому не обращаясь — «Красота рождает красоту».

****

Грех преступления, совершенного однажды на земле, может приобрести, если не последует раскаяния, вселенский, космический характер. Это прекрасно показал Гоголь в своей повести «Страшная месть».

****

Молодой, едва достигший 20 лет Лермонтов в своем «Маскараде» ставит извечный вопрос нравственного порядка, праведен ли суд человеческий, может ли гордый человек быть судией другого человека. Нет, говорит поэт, сводя Арбенина с ума. Праведен лишь высший судия с его вестником на земле — со-вестью. Совесть, как считалось, глас Божий в душе человека.

Сейчас довольно часто стали поговаривать и писать о т. н. «русском авангарде». И вот хотелось бы понять, разобраться, может ли тот авангард, о котором говорят, называться и быть русским. Дело в том, что в принципе русского авангарда быть не может. Ведь мировоззрение, питающее так называемый «русский авангард», — а это художники Лентулов, Штеренберг, Фальк, Татлин, — в корне исключает понятие «русской культуры», которая своими корнями уходит в народное, традиционное православное, а точнее христианское мировоззрение. А оно и отрицается авангардом. Потому не только не может называться русским, но по сути своей, (в понятие «русский» духовного порядка) оно означает не только принадлежность к этой земле, к этому народу, что тоже не мало, но понятие высшего духовного порядка. Именно это отрицает т. н. авангард, и он не может называться русским, т. к. по направлению, по сути своей, является прежде всего антирусским.

****

В свое время великий Пушкин сказал, что целью искусства является идеал, а не нравоучение.

Лучше не скажешь. Действительно, без высшего идеала и святой мечты нет искусства.

Оно должно служить вечному и прекрасному. А т. к. существуют два порядка бытия — мир духовный и мир природный, материальный, то и задачей художника является попытка увидеть в природе не только ее видимую часть, но и увидеть красоту и понять ее как часть Божественной гармонии. Запечатлеть отблеск небесного огня. Нестор Кукольник писал: «Свет небесный для ума, неразгаданная тьма». Так вот: увидеть отблеск горнего мира на земле, в обычном, допустим, пейзаже, уловить эхо, дошедшее до нас свысока, понять и увидеть в окружающем нас мире духовный смысл происходящего. Это все — задачи подлинного искусства.

****

Несколько слов об реконструкции Москвы.

Как известно, к разработке плана реконструкции Москвы приступили в тридцатых годах. По этому плану совершенно уничтожалась структура древнего города, сердца России, его идея, образ. Тогда же были уничтожены шедевры духовной архитектуры города, более 400 церквей и храмов. Это было тогда, в 30-х годах. Уничтожение же культурной среды города произошло позже, в семидесятых годах, когда непонятно почему вернулись к плану реконструкции города Москвы, начатому, как теперь говорят, в период сталинских репрессий, прерванный войной, он начал вторую свою жизнь, как ни странно, в период застоя, который продолжает этот план выполнять и по сей день.

Периоды разные, суть одна, уничтожен прекрасный древний город, приводивший в восхищение всех, кто хоть раз побывал в нем. Теперь Москва исключена ЮНЕСКО из списка городов-памятников мира.

****

Герой романа «Вор» Митька Векшин, исполнявший обязанности комиссара дивизии красной армии, за убитого в бою любимого коня отрубает руку пленному белому офицеру, поручику, заставив его перед этим отдать ему честь.

Как и всякое великое произведение, роман «Вор» — многоплановое. Вслед за первым видимым планом — содержание романа, выступает следующий пласт духовно-нравственного порядка. Дело в том, что честь являет собой внешнее выражение совести, гласа божьего на земле, т. е. честь имеет прямую связь с совестью, святостью и наконец с природой, которую честь офицерская оберегает.

И когда отсекается рука «отдавшая честь», то отсекается не просто рука, а целое мировоззрение, выраженное этим жестом, отсекалась эпоха, вся предшествующая культура с ее великими представителями, отсекались морально-этические и духовно-нравственные ценности, являющиеся стержневыми в образе жизни народа, в его укладе. Отсекался целый мир, выраженный этим жестом. Совершив этот страшный, кощунственный, глобальный по своему значению поступок, вполне правда, в духе того времени, вспомним расправу Подтелкова с пленными офицерами-казаками в «Тихом Доне», он, герой романа, преступил ту черту, за которой все дозволено, за пределами которой торжествовали иные силы, духи зла, с ложью, жестокосердечием, немилосердием, лицемерием, вседозволенностью и гордыней, наконец, — одним из главных грехов православия.

****

Жизнь художника — непрерывные раздумья, терзания, неудовлетворенность своими работами, а если он успокоился, считая, что создал произведения, — то на нем можно ставить крест.



Война 1812 г. Отступление французов. Ксилография.

ХАРЛАМОВ Сергей Михайлович родился в январе 1942 года в селе Кременье под Каширой. Заслуженный художник РСФСР. Член Союза художников СССР с 1970 года. Харламовым оформлены книги «Путешествия Гулливера», «Колокольчик мой» А. К. Толстого, «Зеленый шум» и «Я встаю в предрассветный час» М. М. Пришвина, «Русские народные баллады» (составитель Дм. Балашов), «Венок сонетов» В. Солоухина, «Вор» и «Ранняя проза» Л. М. Леонова, «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя, альбом из 24 портретов «Русские писатели XVIII—XIX веков», «Война 1812 года», «На Куликовом поле».

С. М. Харламов — председатель бюро секции графики МОСХа.

ИСТОРИЯ В КАРТИНКАХ

См. цветную вклейку стр. 36—37





Знают ли дети русскую историю? Какими должны быть книжки для наших детей? В детской литературе, также как и в других областях искусства, многие десятилетия усыплялась историческая память, искоренялись из сознания народные традиции, обрывались глубинные связи с историей Отечества. И отрыв от исторических реалий подвел нас к тому пределу — за которым начинается небытие, исчезновение нации. Поэтому патриотическое воспитание маленького человека невозможно без глубокого знания своей истории. Так думает Владимир Валерьевич Перцов — книжный график, начинавший свою творческую деятельность в 60-е годы с оформления книги замечательного северного сказителя Б. Шергина «Ваня Датский». Затем — иллюстрации к книгам С. М. Голицына «Сказание о Евпатии Коловрате», «Ладьи плывут на север», «Про бел-горюч камень», «До самого синего Дона». Герои книг В. Перцова — те, кто всей своей жизнью доказал преданность Отчизне. Это — святые князья Александр Невский и Дмитрий Донской, древние русские зодчие и создатели произведений художественного творчества. Это — русские патриоты, одолевшие Великую Смуту в 1612 году и «непобедимую» армию Наполеона два века спустя. Иллюстрируя книги, В. Перцов старается показать юному читателю мельчайшие атрибуты национальной культуры. Скольких трудов стоило художнику еще в 60-х годах «пробить» кресты на православных храмах, изображенных на рисунках к книгам.

Река снов. Бумага, темпера. 1980 год.

Владимир Валерьевич Перцов — представитель рода Голицыных — ученых, историков, военных, дипломатов, художников, писателей, меценатов. Наверное, поэтому с особым чувством он оформляет исторические рассказы об Отечественной войне 1812 года, в которой участвовали и его предки — командир Сумского гусарского полка, Делянов Давыд Арсеньевич, кончивший войну генерал-майором, и князь Горчаков Михаил Алексеевич.

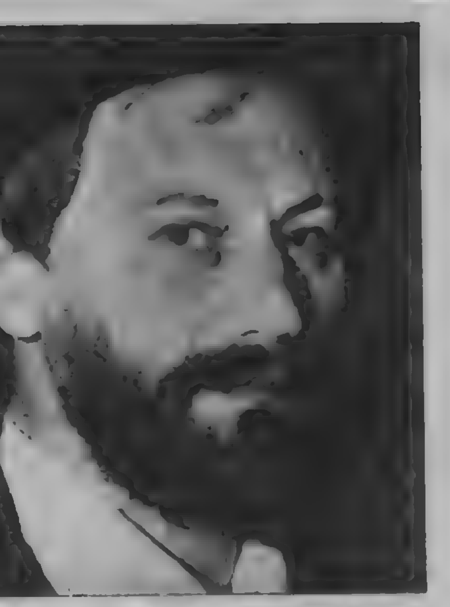
Не оставил без внимания В. Перцов и петровскую эпоху, и связанную с ней «Полтаву» А. С. Пушкина. Конечно, о методе художника можно спорить, но его графику отличает динамичность, его герои изображены в движении. Какое удовольствие доставляет детям рассматривать костюмы солдат и офицеров — героев, например, Отечественной войны 1812 года, из книги М. Брагина «В грозную пору», которую иллюстрировал В. Перцов.

Рассказать маленькому человеку историю Отечества в сказках и былинах, в классических произведениях русской литературы во всей исторической достоверности художник считает своим гражданским долгом.

И. ФИЛИППОВА

ЕЛЕНА ПЛАХОВА

В ЧАС ПЕРЕД ВОСХОДОМ СОЛНЦА



И иконописцы, и мастера светской живописи, чей путь — неясен, но чей след в отечественной культуре [redacted] затеряется, пожалуй, никогда, — родные ему по духу. Да, [redacted] имена подчас неизвестны или известны лишь малому кругу посвященных, но работы, дошедшие до нас, — наше достояние. Очень многое из того, что создали они, разрушило безжалостное время, растратили безжалостные люди. Многое разошлось по музейным запасникам и лишь изредка выходит [redacted] свет — на выставки. Но для того, чтобы мы восхищались вершинами живописного искусства — произведениями Рокотова, Боровиковского, Левицкого, Федора Зубова, Григория Островского, мощный пласт культуры потребен. Сообщество — талантов, тружеников, мастеров, вытолкнувшее, взметнувшее вверх блистательных своих представителей. Их творения — больше, чем драгоценность — и потому через века дошли до нас. Для некоторых, избранных, осмысление этих творений стало делом жизни, неиссякаемым источником вдохновения. У сказочника Ханса Кристиана Андерсена есть такие слова. В них — кредо писателя: «Чужая мысль вошла в мою плоть и кровь. Я пересоздал ее и только тогда выпустил в свет»...

Быть может, это относится и к художнику Геннадию Павлову? Впрочем, можно было бы спросить у него самого.

Но Павлов скупо рассказывает о себе (в отличие от многих других, что заливаются соловьём), полагая, что все, о чем хотел рассказать художник — в его картинах. Вместо своих рассуждений (удивляется: «Это кому-то интересно?») доверчиво протягивает редчайшую книгу — «Три очерка о русской иконе» философа князя Евгения Трубецкого, предлагает (требует!): «Прочитайте! Там всё — мое, родное мне!» Убежден: то, что написано здесь, основа основ настоящего искусства, его духовной стороны, того, во имя чего и пишутся картины, книги. Обращение художника к знаменитому философу-«евразийцу» не поза и [redacted] мода — да хоть бы и так, ведь мода эта — прекрасна и благородна! Все картины Павлова, несмотря [redacted] простоту и безыскусность сюжета, точны по замыслу, затрагивают нежные струны души человеческой, обращены в прошлое — и потому печален их настрой, печальны чувства, пробуждаемые ими. Но и светлы эти чувства!

Вот древние храмы Пскова, Новгорода, которые [redacted] холстах Павлова светятся как бы изнутри, а точнее — «источают» свет. Так вспыхивает свеча, перед тем, как погаснуть. Обычный прием «контр-жур» (против света), а как уместен он здесь! Словно солнце встает из-за спины здания. Взметнулась вверх церковь — лебедь белая, выгибающая грудь, расправляя перед полетом крылья. Вот так — просто, емко, художник передает нам свое чувство, что охватывает его при созерцании творений русских зодчих прошлого — «уходящих объектов». Как они величаво прекрасны, неповторимы красивы! Возможно ли «возродить» их, заново сложить? Да и [redacted] чем замешать раствор, где отыскать такие камни, мастеров, способных вдохнуть душу в новодел? Задумайтесь, прежде чем ударить по древней кладке тяжелым молотом...

На картинах Павлова храмы безлюдны: мир как бы застыл внутри них; фон, на котором вырисовывается силуэт здания, условен, как на древних иконах. Пейзаж? Скорее, портрет. У храма — одушевленный лик, печальный, но и прекрасный, мудрый взор... Картины эти долго, неспешно разглядываешь, словно обходишь здание кругом... Они излучают мир и покой. Где-то видела такое чудо, быть может, [redacted] сне? В снах, где всё словно в сумерках происходит, в «час между собакой и волком», в ту несравненную полутьму между заходом солнца и наступлением ночи, [redacted] также и перед восходом солнца. Впрочем, сказанное следовало бы закавычить, ведь так толковый словарь объясняет нам слово «сумерки» и даже — состояние природы...

Итак, сумерки, преддверие ночи — и ночь. Освещенные закатным или восходящим солнцем, встают на картинах Павлова дома и храмы, неспешно [redacted] улицам движутся люди. По улицам города, древнего, любимого, родного — Москвы. Один [redacted] тех, что прогуливается в сумерках с единственной целью — созерцать, как бы вобрать в себя вид знакомых мест, городской чудак — сам художник.

На картинах Павлова — торжественно и таинственно разлит лунный свет, «спит земля в сиянье голубом», тиха и прекрасна природа. [redacted] только человек порой терзается страстями. Но и страданья эти, скорее, страдания духа — и никак не прорываются наружу, [redacted] вернее — сдерживаются из последних сил. Люди, живущие в мире, созданном воображением художника, заняты обычными делами: катаются в лодках, ловят рыбу, гуляют по улицам, смотрят на звезды в полночь в обществе кота на длинной цепочке... Остановимся все же. Спросим: обычны ли занятия? Разве так «населены» наши улицы в ночь, когда «одна заря сменить другую спешит»?.. Разве прогуливают волшебных котов-баюнов под волшебными же райскими деревьями, в блестящей листве которых отражаются звезды? И как это случилось, что в центре Москвы, [redacted] Стрелке, возле кондитерской фабрики «Красный Октябрь», ловят рыбу с лодки, да еще под веселым полосатым парусом?

А между тем сказочный мир живет и дышит на картинах Павлова. Мир, такой родной и добрый, мир летних московских сумерек и ночей, уютных старых дворов, крошечных ампирных «послепожарных» 1812 года особняков, великолепных деревьев, которых все меньше и меньше становится в городе. Мир ушедшей Москвы, ее великого прошлого, которое живо и поныне, тысячью нитей связанное с днем нынешним. Но нити эти истончаются и рвутся... Мир, который дорог художнику, родившемуся и выросшему в самом центре города, [redacted] Малой Бронной улице... Я смотрю в эти картины, как в сказочное блюдце, по которому движется яблоко, открывая взору волшебные видения... Летний закат, прекрасный и вечный праздник, позолотивший окна и кроны деревьев, нежно разливается на стенах домов, на мостовой — и уже не замечаешь ни пыли, ни облупившейся штукатурки, ни дневной усталости, [redacted] идешь себе и идешь... Малый Ивановский, Подколокольный, Колпачный переулки... И закат утихает, и вот уже небо нежно-лазоревое, серебристое — то восходит луна и показались первые бледные звезды. А ночь все ярче, и звезды, кажется, собрались отовсюду в этот клочок неба, и часть их «просыпалась» на темные листья старых лип. И облака дивной лепки и чудной красоты... Движется наливное яблоко, развертывает пространство работы Павлова...



А ведь все они, эти картины, похожие на сны, пришли из реальной жизни. Из детства и юности, когда ещё была жива старая Москва; в храмах, что стояли, порой, без крестов и хозяев, ещё не осыпались со стен древние фрески, распахнуты были двери Исторического музея и Третьяковской галереи, доступны их великолепные коллекции старинной русской живописи, с древнейших времен — до начала XIX века, там, где остановились в своем развитии привязанности многих знатоков искусства, Павлова — в их числе.

Можно, конечно, оспаривать то, что утверждает в своих работах художник, то немногое, что он счел нужным передать на словах. Конечно, мир прекрасного безбрежен — в этом — радость, в этом — правда и надежда. В этом — будущее. Ведь и уйдя — пусть в недальнее, но прошлое, Павлов тоже пишет для будущего, и для нас с вами, рассказывая о прошедшем по-своему, особо. И этот «способ изложения» также пришел к художнику от мастеров прошлого. Но на мир он все-таки смотрит глазами современника. Быть может, поэтому так многолюдна была недавняя персональная выставка Павлова, состоявшаяся в Москве в выставочном зале, на чудесной холмистой окраине, в Раменках...

Но полотна эти, конечно, не только художественные документы, хотя и запечатлевают то, что давно и безвозвратно потеряно, ушло, разрушено современными градостроителями. Они передают и нечто большее: трепетное и возвышенное отношение к миру вокруг нас, миру тайн, миру света и тепла. И пейзажи городские Павлова, уверена, для многих из нас — более желанны и

Москва. Вид на Рождественский монастырь. 1987 г.

раздумий. И живут они трудно — пробиваются к людям, к зрителю — «соучастнику творчества» (М. Нечкина). Двадцать лет работы в живописи, по окончании Художественного училища памяти 1905 года — и только первая серьезная выставка в Москве, которой художник посвятил свое творчество. Значит, одолел все-таки чванливо-равнодушное: «Выставлять нельзя, темы неподходящие» — коты какие-то, задворки, кресты, странные улицы, чудаки — они, видишь ли, в восторге от того, что всё это видят!.. Одолел. Картины Павлова — во многих частных коллекциях, у нас и на Западе. Недавно музей в Казани приобрел его работы, одна из них — прелестная, маленькая, словно старинное оконце, распахнутое в дивный мир — «Прогулка кота в лунную ночь» — чудак-человек гуляет в палисаднике деревянного дома, что в Замоскворечье; на крылечке сидит котище, смотрит громадными зелеными глазами и, чтоб не убежал, на цепочке привязан. Неподходящая тема, что и говорить, странные персонажи. Откуда художник только и взял их!..

Да, история Павлова обычна, в нашем духе. Множество похожих судеб людей творческих профессий прошло перед читателями в последнее время, в одних случаях задевая как-то, в других — скользнув мимо.

И все-таки он продолжает избранный путь, упорно и твердо. Картины едут в коллекции за границу, от многих только слайды остались. Художник, насколько это в его силах, пытается удержать полотна на родине, отдать музею, а не западному галерейщику. Как это трудно, объяснять не надо.

реальны, чем тот, что за окном, железобетонно-городской, словно в насмешку названный «деревенским»...

С одиннадцатого этажа дома в Олимпийской деревне, из рабочей комнаты мастера, открывается славный вид на этот современный микрорайон, на окраину Москвы, с домами, похожими друг на друга, как близнецы-братья. Впрочем, если посмотреть вверх, то видно небо, и облака такие же нарядные и торжественные, как на картинах Павлова. А если выглянуть вниз, то можно увидеть неустанное снование людей по узкой ленточке асфальта. Похоже, будто рядом живет и дышит что-то волнующее, огромное, — вокзал, аэропорт? Солярис?.. Центр моды «Люкс» всего лишь. О, в наше время здесь бушуют страсти посильнее тех, что охватывают человека в преддверии дальних странствий!

Нереальный мир художника живет неспешно, по своим законам. Он — тайна и праздник. За окном — настоящая жизнь, обычная, будничная, жестокая... И все же прекрасная.

И история художника Геннадия Павлова тоже проста, жестока, но и прекрасна. Следовать однажды выбранному пути в искусстве может не каждый. Преодолевать сопротивление среды дано единицам. Геннадий Павлов познал, что это значит, на себе, сполна. Картины его трудно рождаются — они плод философского осмысления жизни, трудных, порой, мучительных,



Дождь на Таганке. 1979 г.

Сохраняя верность себе, избранному, особому методу, он пробует и другие жанры. Ностальгическая привязанность к прошлому «окрашивает» в меланхолические тона работы Павлова, но делает их и притягательнее, необычнее. Все это в полной мере проявляется и в портретах людей давно ушедших, великих писателей — Державина, Карамзина, Тютчева, и наших современников — Валентина Распутина, чье творчество и сила человеческого духа восхищают художника. Они, эти портреты, оригинальны, и не имеют аналогов среди работ современных живописцев. К манере Павлова, конечно, можно относиться по-разному. Несомненно одно: за безыскусностью поз, скупостью деталей, условностью фона ясно просматривается характер «моделей». Характер, а, значит, судьба. И эти портреты — зеленая веточка от творчества выдающегося художника прошлого Григория Островского, открытого нам подвижничеством Савелия Ямщикова. Совсем немного не совпала по времени выставка новых открытий советских реставраторов и выставка полотен Геннадия Павлова. Но после той, что прошла в центре Москвы, окруженной справедливым почетом и вниманием, радостно видеть ее живое продолжение в Раменках, сознавать, что «серебряный шнур» не рвется, и древо искусства вечно зелено.

...Но почему же так настойчив художник, что дает ему силы, куда он устремлен? Его любимейший философ, князь Евгений Трубецкой отвечает нам: «Поверхностному наблюдателю эти аскетические лики могут показаться безжизненными, окончательно иссохшимися. На самом деле... в них с несравненной силой просвечивает выражение духовной жизни...»

Этому «выражению духовной жизни» Павлов и посвятил все свое творчество, подчинил свои искания. И можно только радоваться стойкости, с которой художник следует избранному пути.

...Покидая рабочую комнату Павлова, где его картины уживаются со старинными и современными книгами, а иконы и народные игрушки — не привычный антураж мастерской входящего в моду маэстро, чувствуешь, что здесь, на грешной земле, стало все-таки веселей. Стоит мысленно обратиться к картинам Павлова, похожим на сон золотой, и мир как бы раздвигает свои толстые железобетонные стены. Жаль только, что с нашими темпами возврата имен, осмысления жизни современной культуры, Геннадий Павлов, пожалуй, не скоро дождется о себе серьезного исследования, альбома. Жаль. Пора бы, наверное, издателям обращаться не только к «модным» художникам, но и искать в мастерских то, что давно созрело, как искусство истинное.

1. Выгуливание кота в лунную ночь. 1976 г.

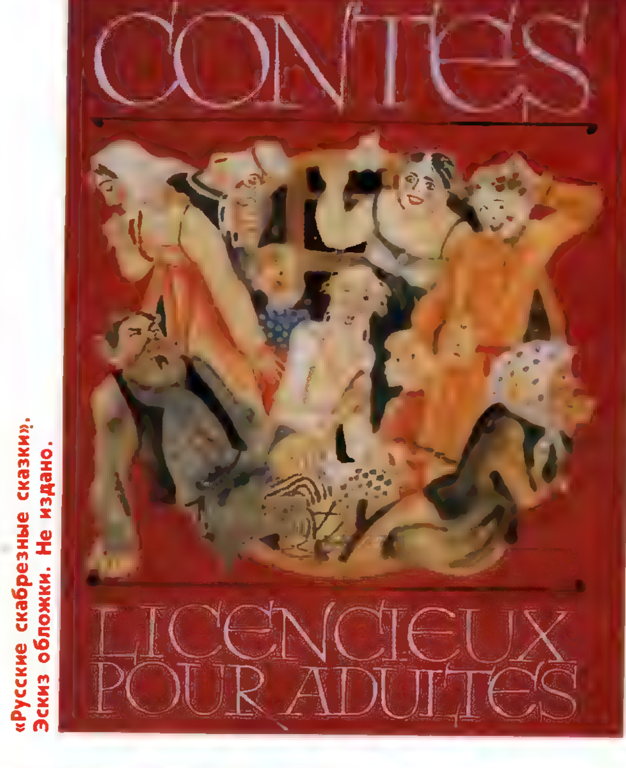


Общение с работами Павлова возможно пока для ограниченного круга, от выставки к выставке. Хорошо бы это было почаще... А еще, и в жизни иной раз можно увидеть золотое небо, ясные звезды и прекрасные павловские облака. В час «между собакой и волком». В сумерки, перед восходом солнца.

ИСТОРИЯ В КАРТИНКАХ



Обложка к книге Б. Шергина «Ваня Датский».



«Русские скабрезные сказки». Эскиз обложки. Не издано.



Основание города Владимира. Илл. к книге Л. Обуховой «За золотыми воротами». («Малыш», 1983 год).

Разворотная илл. к книге Я. Гордина «Полтавский бой» («Малыш», 1989 год).



Сергий Радонежский. Пересвет и Ослябя.
Илл. к книге О. Тихомирова «На страже Руси»
(«Малыш», 1978 год).



ЗАБЫТОЕ — НЕ ЗАБЫТЬ!



Четыре ощущения. 1914—15 годы.

Имя художницы Надежды Владимировны Лермонтовой (1885—1921) неизвестно современным любителям живописи. Да и искусствоведам оно знакомо главным образом по каталогам русских выставок 1910-х годов.

А между тем Надежда Лермонтова многообещающе начинала в искусстве. Талантливая ученица Л. С. Бакста, она писала портреты, пейзажи, натюрморты, а также картины на темы современности и античной мифологии, увлекалась стенописью, театральной декорацией, иллюстрированием книг. Ее полотна выставлялись в экспозициях «Союза молодежи», «Мира искусства», Нового общества. Однако судьбой художнице было дано на творчество всего десять лет, большая часть из которых прошла в борьбе с неизлечимым недугом.

Время не пощадило творческое наследие Лермонтовой — многие работы ее утрачены во время блокады Ленинграда. Оставшаяся часть более шести десятилетий со дня смерти художницы бережно хранилась в семье Александры Владимировны Лермонтовой-Фок, ее младшей сестры.

Надежда Владимировна Лермонтова родилась 24 сентября 1885 года в Петербурге в семье ученого-физика, приват-доцента Петербургского университета Владимира Владимировича Лермонтова и его жены Екатерины Антоновны. По отцу художница являлась дальней родственницей поэта Михаила Юрьевича Лермонтова.

Надежда Владимировна с детства увлекалась литературой и рисованием, по окончании Коломенской женской гимназии она одновременно поступает на историко-филологическое отделение Высших Женских (Бестужевских) курсов (1902—1907) и в Рисовальные классы Общества поощрения художеств (ОПХ).

Самостоятельная творческая деятельность Н. В. Лермонтовой началась в 1910 году, когда совместно с К. С. Петровым-Водкиным, А. П. Блазновым, Н. А. Тырсой она участвовала в воссоздании внутреннего убранства храма Василия Златоверхого в Обруче на Волыни, к тому времени только что восстановленного А. В. Щусевым. В стиле, близком нередицким росписям XII века, в технике альфреско ею исполнены шесть динамичных и насыщенных по цвету композиций, в том числе и такие сложные и ответственные, как «Страшный суд», «Жертвоприношение Авраама».

К ранним работам художницы принадлежат выполненные ею примерно в 1910 году темперой «Автопортрет» (на красном фоне), «Портрет М. Р. Пец», «Этюд на солнце» (автопортрет, Усть-Нарва), «Глиняный кувшин и яблоки», которыми Лермонтова дебютировала на выставке «Мир искусства» (1911). Обобщенность формы, выразительный контраст охр, синего и красного характерны для портрета виолончелиста Пабло Казальса (1913), запечатленного в момент страстного музицирования.

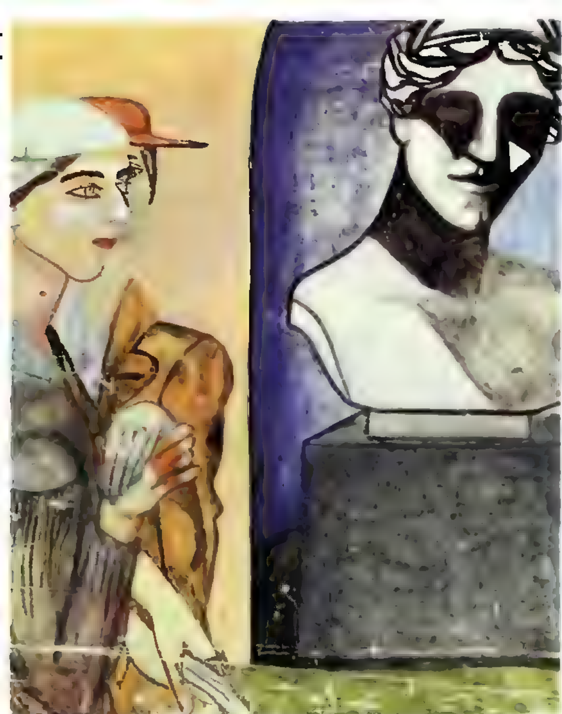
Последние годы жизни художницы (1917—1921), несмотря на лишения военного времени, на прогрессирующую неизлечимую болезнь прошли в напряженном творчестве. Она поступает в только что открытый Институт истории искусства, создает эскизы для конкурса марки-эмблемы Дома-музея «Памяти борцов за свободу» (1918), оформляет постановки «Вертепа» М. А. Кузмина и «Сказки о царе Салтане» А. С. Пушкина (1918—1919) в Петроградском кукольном театре, иллюстрирует роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» и «Метаморфозы» Овидия (1918).

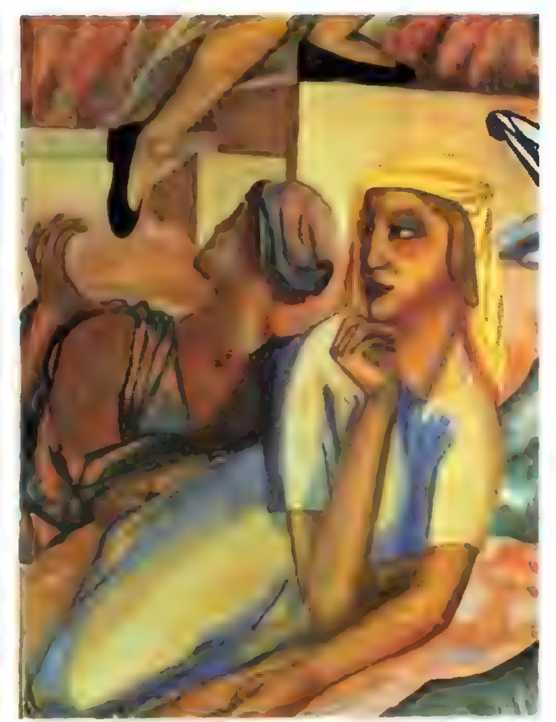
Интересны экспрессивные по решению холсты «Перед грозой» (1919), «На пароходике по Неве» (1918). На последнем остроумно изображена художница и ее друзья — А. А. Зилоти, Н. А. Тырса, М. Р. Пец, М. М. Нахман. Хрупок, как видение, изысканный образ в картине «Девочка в красном» (1918), навеянный конкретной сценой на Крюковом канале, у дома, где часть тротуара была замощена керамической плиткой и геометрическим узором.

Творческое наследие Надежды Лермонтовой интересно нам, современным зрителям, своим неповторимо индивидуальным отражением общих тенденций, глубинных процессов в отечественном искусстве 1910-х годов, как неотъемлемая часть русской культуры.

Б. КРУГЛОВ

Белая ночь.
1920 год.





Ножка. 1920 год.

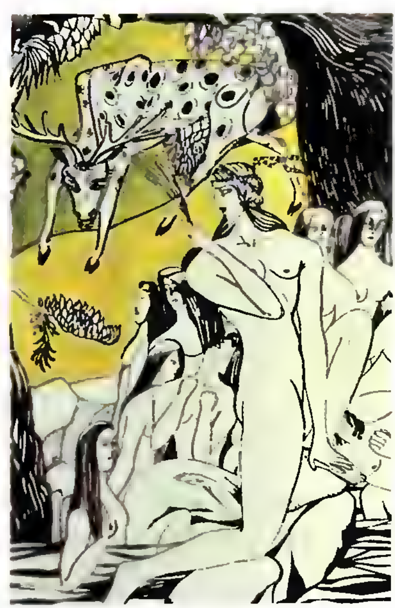


Иллюстрация к «Метаморфозам» Овидия. 1918 год.

Частушка.
1917—18 годы.



Феофан Грек. Спас в силах.

ЭРНЕСТ РЕНАН

ЖИЗНЬ ИИСУСА*

ГЛАВА XIX
Козни врагов Иисуса

Иисус провел осень и часть зимы в Иерусалиме. Это время года там довольио холодно. Он обыкновенно гулял в портике Соломона, с его крытыми аллеями. Этот портик состоял из 2-х галерей, образованиых тремя рядами колонн и покрытых потолком из резного дерева. Он возвышался над долиной Кедроиа, которая несомиенно былв менее загромождена вырытой землей, чем теперь. Взгляд с вершины портика не мог окинуть фон оврага и благодаря *наклоненным скатам казалось, что под стеною отвесно открывается пропасть. Другая сторона долины вла*дела уже своим украшением а виде пышных гробниц. Некоторые из памятников, которые можно видеть и теперь там, были, пожалуй, теми ценотафами в честь древинх пророков, на которые Иисус указывал пальцем, когда, сидя под портиком, он громил официальные классы, прятавшие за этими колоссальными массамн своё ханжество *и свою пустоту.*

В конце декабря Иисус праздновал в *Иерусалиме* установленный Иудою Маккавеем праздник очищения храма после святотатства Антиоха Епифана. Его называли также «праздником Огней», так как в продолжение 8-ми дней праздника в домах держали зажженные лампы.

Немного *спустя Иисус предпринял путешествие* в Перею *и на берегу Иордана*, т. е. в *те самые* страны, которые он посетил несколько *лет* тому назад, когда он следовал за школой Иоаина и где ои сам лично производил крещения. Он нашел там, как кажется, некоторое утешение, особенио в Иерихоне. Этот город, как глава очень важной дороги или вследствие своих благоухающих садов и богатой культуры, имел довольно значительную таможню. Главный сборщик Закхей, человек богатый, захотел видеть Иисуса. Так как он был маленького роста, то влез на дикую смоковницу, стоявшую возле дороги, по которой должен был проходить Иисус со спутиками. Иисус был тронут этим простодушием довольно важнои особы. Он пожелал зайти к Закхею, рискуя произвести скандал. В самом деле, очень много роптали, видя, что Иисус делает честь своим посещением дому грешника. Уходя, Иисус объявил своего хозяина добрым сыном Авраама, а Закхей, как бы для того, чтобы увеличить досаду правоверных, сделался святым: он, говорят, отдал половину своего имущества бедным и вдвойне вознаградил за нанесенные им раньше обиды. Впрочем, это не было единственною радостью Иисуса. При выходе из города нищии Бартимей доставил ему большое удовольствие, упорно называя Иисуса «сыном Давида», хотя ему приказывали молчать. В этой стране, которую с северными провинциями связывало много сходства, по-видимому, вновь открывается на время цикл галилеиских чудес. Восхительныи и отлично орошаемый иерихоиский оазис должеи был быть тогда одним из прекраснейших мест Сирии. Иосиф говорит о нем с тем же удивлением, как и в Галилее, и называет его, как и эту последиюю провиицию, «божественной страной».

Совершив такого рода паломничество в места первого перида своей пророческой деятельности, Иисус вернулся в свое возлюбленное местопребываиие, в Вифанию. Ожесточение его врагов достигло апогея. Тогда же был созван первосвященниками совет. И на нем открыто был поставлен вопрос: «могут ли жить вместе Иисус и иудейство?» Поставить вопрос значило решить его и. не будучи пророком, как это хочет еваигелист, первосвященник вполне мог произнести свою кровавую аксиому: «лучше, чтобы один человек умер за весь народ».

«Первосвященником этого года» — следуя терминологии 4-го еаангелиста, весьма хорошо передающеи то унизительное состояние, до которого было доведено первосвященство, был Иосиф Каиафа, иазиаченный Валерием Гратом и вполне преданный римлянам. С тех пор, как Иерусалим стал зависеть от прокураторов, должность первосвящениика сделалась сменяемой; смещения следовали одно за другим почти каждый год. Однако, Каиафа удержался дольше других. Он занял свою должность в 25-м году и потерял ее только в 36-м. Относительно его характера неизвестно ничего. Очеиь многое принуждает думать, что его аласть была лишь номинальной. Действительно, мы всегда видим рядом и выше его лицо, которое обладало в занимающий нас решительный момеит значительною властью. Этим лицом был гесть Каиафы, — Ханан, или Анна, сын Сета, старый низложенный первосвященник. Среди всей неустойчивости понтификата, он сохраиил, в сущности, всю власть. Ханан получил первосвящеинический сан от легата Квирииия в 7-м году иашей эры и лишился его в 14-м году, при восшествии Тиверия. Однако, он остался весьма уважаемым лицом. Его продолжали называть «первосвященником», хотя он был лишен этого сана. совещались с ним во всех важиых вопросах. В продолжении 5-ти

Перевод с 69-го французского издания М. Синявского (Москва, 1906 г.) Продолжение. Начало в №№ 8–10, 12 / 1989 г., №№ 1–7 1990 г. Произведение публикуется полностью.

лет понтификат принадлежал почти без перерыва его фамилии; пять его сыновей, один за другим, принимали этот сан, не считая Каиафу, который был его зятем. Это было то, что называли «священническим семейством», как если бы священство сделалось в нем наследственным. Им перешли также почти все главные должности по храму. Правда, с фамилией Ханана по понтификату чередовалась другая фамилия, именно фамилия Боэтуса. Но боэтусимы, обязанные началом своего успеха довольно сомнительной причине, были менее почитаемы благочестивой буржуазией. Итак, Ханан был действительно главарем священнической партии. Каиафа делал все чрез него; их имена привыкли соединять, и даже имя Ханана всегда ставилось первым. Понятно, в самом деле, что при таком порядке, когда должность первосвященника ежегодно сменялась и передавалась другому по капризу прокураторов, старый первосвященник, хранивший тайну преданий и видевший, что его место занимают гораздо более молодые люди, чем он, сохранил настолько доверия к себе, чтобы заставлять вручать власть лицам, подчиненным ему по семейным условиям, и поэтому оставался очень важной персоной. Как вся аристократия храма, он был саддукеем, т. е. принадлежал к особенно суровой в своих приговорах секте (как это утверждает Иосиф). Все его сыновья также были страстными гонителями. Один из них, называвшийся, как и отец, Хананом, побил камнями «брата господня» — Иакова, причем обстоятельства этого акта были аналогичны со смертью Иисуса. Дух фамилии был высокомерный, дерзкий и жестокий; она отличалась тем особенным родом спесивой и угрюмой злобы, которая характеризует иудейскую политику. Поэтому за все действия, которые должны были последовать вскоре, ответственность падает на Ханана и его домашних. Ханан (или, если угодно, представляемая им партия) убил Иисуса. Ханан был главным актером в этой ужасной драме и гораздо более, чем Пилат, должен нести тяжесть проклятий человечества.

Евангелие стремится вложить именно в уста Каиафы решительное слово, повлекшее за собой смертельный приговор Иисусу. Предполагали, что первосвященник владел некоторым пророческим даром; таким образом, его изречение сделалось для христианской общины полным глубокого смысла прорицанием. Но такое изречение, кто бы ни был произнесший его, было мыслью всей священнической партии. Последняя была в резкой оппозиции народным мятежам. Она стремилась остановить религиозных энтузиастов, справедливо предвидя, что последние доведут нацию своими страстными проповедями до полной гибели. Хотя вызванное Иисусом возбуждение и не носило политического характера, однако первосвященники усмотрели в усилении римского ига и упадке храма, источника их богатств и почестей, прямой и последний результат этого возбуждения. Конечно, причины, приведшие 37-мь лет спустя к разрушению Иерусалима, не заключались только в зарождавшемся христианстве. Они находились в самом Иерусалиме, а не в Галилее. Однако, нельзя сказать, чтобы приведенный первосвященниками мотив был настолько неправдоподобен, что его следовало считать клеветой. В общем смысле, Иисус, имея успех, очень реально способствовал бы гибели иудейского народа. Исходя из принципов, принятых одновременно всей древней политикой, Ханан и Каиафа, след., были вправе сказать: «Лучше смерть одного человека, чем гибель народа». По-нашему, это — отвратительное рассуждение. Но рассуждать таким образом свойственно консервативным партиям с самого начала человеческих обществ. «Партия порядка» (я беру это выражение в узком и отрицательном смысле) всегда держалась того же самого. Думая, что последним словом правления является препятствование народным волнениям, она полагает, что, предупреждая юридическим убийством беспорядочное кровопролитие, она совершает патриотическое дело. Не заботясь о будущем, она не думает о том, что, объявляя войну всякой инициативе, она рискует задушить идею, которой некогда предназначено торжествовать. Смерть Иисуса была одним из тысячных приложений этой политики. Движение, которым руководил Иисус, было чисто духовным; но это было движение; и с этих пор, люди порядка, убежденные, что для человечества самое важное, это — не волноваться совсем, — должны были поставить преграды распространению нового духа. Никогда еще не было более поразительного примера того, как подобные действия идут против своей цели. Будучи оставлен на свободе, Иисус истощился бы в отчаянной борьбе против невозможного. Бессмысленная ненависть его врагов решила успех его дела и запечатлела его божественность.

Таким образом, смерть Иисуса была решена с февраля месяца, или с начала марта. Но Иисус еще ускользнул на некоторое время. Он удалился в малоизвестный город, по имени Ефраим, или Эфрон, рядом с Бетель (Bethel), на небольшом расстоянии от Иерусалима. Он прожил там несколько недель со своими учениками, давая грозе утихнуть. Но распоряжение схватить его, как только узнают, что он в Иерусалиме, уже было сделано. Приближалось празднество Пасхи, и думали, что Иисус, по своему обыкновению, явится отпраздновать это торжество в Иерусалим.

ГЛАВА XX
Последняя неделя Иисуса

Иисус, действительно, отправился со своими учениками в последний раз взглянуть на неверующий город. Надежды окружавших его становились все более и более восторженными. Вступая в Иерусалим, все верили, что царство божие откроется там. Так как человеческое нечестие дошло до апогея, то это служило великим знамением близкого конца. Убеждение насчет последнего было так велико, что уже спорили между собою о первенстве в царстве. Это время Соломея, как говорят, и выбрала, чтобы выпросить своим сыновьям два места направо и налево от Сына человеческого. Учителя, напротив того, осаждали тяжелые мысли. Иногда он высказывал к своим врагам мрачные чувства; он рассказывал притчу о знатном человеке, отправившемся в отдаленные страны принять царство. Едва он уехал, как его сограждане не захотели более его. Царь возвращается, приказывает привести к себе нежелавших, чтобы он был царем над ними, и умерщвляет их всех. В других случаях он резко разрушал иллюзии учеников. Раз, когда они шли по каменистым дорогам северной части Иерусалима, задумчивый Иисус опередил толпу своих спутников. Все молчаливо смотрели на него, испытывая чувство боязни и не решаясь окликнуть его. Он уже неоднократно говорил им о своих будущих страданиях, и они неохотно слушали его. Наконец, Иисус заговорил и, не скрывая более своих предчувствий от них, стал беседовать с ними о своей скорой смерти. Это было великой печалью для сопровождавших его. Ученики ожидали увидеть знамение в облаках. Освятительный возглас царства божия: «благословен грядущий во имя Господне!» — гремел среди них радостными звуками. Эта кровавая перспектива смутила их. С каждым шагом роковой дороги царство божие приближалось или удалялось в миражах грез. А Иисус укреплялся в мысли, что он должен умереть, но что его смерть спасет мир. Недоразумение между ним и его учениками с каждым мгновением становилось все глубже.

Было обычаем приходить в Иерусалим за несколько дней до Пасхи, чтобы подготовиться к последней. Иисус

прибыл позже других, и его враги стали было отчаиваться схватить его. На шестой день, перед праздником (в субботу 8 низана 28 марта), он достиг, наконец, Вифании. По своему обыкновению, Иисус отправился в дом Лазаря, Марфы и Марии, или Симона Прокаженного. Ему устроили торжественный прием. У Симона Прокаженного был обед, на котором собралось много народу, привлеченного желанием видеть Иисуса. Марфа, по обыкновению, прислуживала. По-видимому, удвоенным наружным уважением старались победить холодность публики и ярко отметить высокое достоинство принимаемого гостя. Мария, желая придать пиршеству самый пышный характер праздника, вошла во время обеда с сосудом с благовониями и возлила их на ноги Иисуса. Затем она разбила сосуд, согласно старому обычаю, по которому били посуду, употребляемую для своего пользования высоким чужестранцем. Наконец, доходя в выражении своего благоговения до неизвестных до тех пор крайностей, она распростерлась на полу и отерла своими длинными волосами ноги своего учителя. Дом наполнился прекрасным благоуханием. Радость была общая, за исключением скупого Иуды Кериотского. Принимая во внимание экономные привычки общины, это было настоящим мотовством. Скупой казначей сейчас же рассчитал, за сколько могло бы быть продано благовонное масло, и что его можно было бы отнести в кассу для бедных. Это сухое чувство, для которого, по-видимому, было нечто выше его, огорчило Иисуса. Он любил почести; ведь последние служили его цели и утверждали за ним титул сына Давидова. Поэтому, когда заговорили о бедных, он довольно резко ответил: «Бедных вы всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете». И, в восторге, он пообещал бессмертие женщине, дававшей ему в этот критический момент свидетельство любви.

На следующий день (воскресенье, 9 низана), Иисус отправился из Вифании в Иерусалим. Когда при повороте дороги, с вершины горы Смоковниц, он увидел развертывающийся перед собою город, то он, как передают, заплакал над ним и обратился к нему с последним призывом. У подошвы горы, в нескольких шагах от ворот, где начинается соседний пояс восточной городской стены, носивший название Виффагии (несомненно, благодаря бывшим там фиговым деревьям), Иисус еще раз пережил приятные минуты. Распространился слух о его прибытии. Об этом с большою радостью узнали пришедшие на праздник галилеяне и стали готовить Иисусу небольшой триумф. Ему привели ослицу, в сопровождении — согласно обычаю — ее детеныша. Галилеяне постлали на спину ослицы, вместо попоны, свои лучшие платья и посадили на нее Иисиса. Другие же расстилали свои одежды на дороге и усыпали ее зелеными ветвями. Шедшая с пальмами спереди и сзади толпа кричала: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне!» Некоторые называли его даже царем израильским. «Учитель, вели им замолчать», — сказали ему фарисеи. «Если они замолчат, то камни возопиют», — ответил Иисус и вступил в город. Почти незнавшие его иерусалимляне спрашивали, кто он такой: «Это — Иисус, пророк из Назарета галилейскаго», — ответили им. В Иерусалиме было около 50.000 населения. Незначительное событие, как прибытие несколько известного иностранца, приход толпы провинциалов или движение народа при обыкновенных обстоятельствах не преминуло бы быстро разгласиться. Но во время праздников была крайняя суматоха. Иерусалим принадлежал в эти дни иностранцам. Сверх того, среди последних царило, по-видимому, наиболее оживленное движение... Говорившие по-гречески последователи иудейства, прибывшие тоже на праздник, мучились любопытством и хотели видеть Иисуса. Они обратились к его ученикам; не известно хорошо, что вышло из этого свидания. Что касается Иисуса, то он по своему обыкновению отправился провести ночь в дорогую для него деревню Вифанию. Три следующих дня (понедельник, вторник, среда) он постоянно ходил в Иерусалим, а после захода солнца он возвращался или в Вифанию, или в фермы на восточном склоне горы Смоковниц, где у него было много друзей.

Великая печаль наполняла, по-видимому, в эти последние дни обыкновенно столь веселую и ясную душу Иисуса. Все рассказы единогласно приписывают ему перед его арестом минуты колебания и смущения, как бы преждевременную агонию. По словам одних, он будто восклицал: «Душа моя смущена. Отче, избавь меня от этого часа». Верили, что в этот момент слышался голос с неба; другие говорили, что его приходил утешать ангел. По очень распространенной версии, дело происходило в Гефсиманском саду. Иисус, говорят, удалился от своих спавших учеников на расстояние брошенного камня, взяв с собою только Кифу и двух сыновей Зеведея. Затем он стал молиться, упав лицом на землю. Его душа была полна смертной печали; его тяготила ужасная тоска, но покорность божественной воле увлекла его. Достоверно известно, что в последние дни Иисуса страшно угнетала великая тяжесть принятой им миссии. На мгновение в нем проснулась человеческая натура. Он начал, быть может, сомневаться в своем деле. Человек, принесший в жертву великой идее свой покой и достойные радости жизни, всегда испытывает момент печального колебания, когда ему в первый раз является образ смерти, убеждающий его, что все тщетно. Быть может, им овладели в эти минуты те трогательные воспоминания, которые хранят самые сильные люди, и которые пронизывают временами их, как мечом. Вспомнил ли он о прозрачных фонтанах Галилеи, где он мог освежаться; о виноградниках и смоковницах, под которыми он мог сидеть; о молодых девушках, согласившихся, быть может бы, любить его? Проклинал ли он свое жестокое назначение, лишившее его радостей, доступных всем другим? Сожалел ли он о своей слишком высокой натуре и — жертва своего величия — оплакивал то, что не остался простым назаретским ремесленником? — Не известно. Ведь все это внутреннее замешательство осталось, очевидно, тайною для его учеников. Они ничего не поняли в этом и заменили наивными догадками все, что было темного для них в великой душе их учителя. Однако, известно, что его дивная натура вскоре одержала победу. Он мог еще избежать смерти; но он не пожелал этого. Любовь к своему делу увлекла его. Он согласился выпить чашу страданий до дна. Отныне Иисус всецело и ясно находит себя. Тонкости полемиста, легковерие чудотворца и заклинателя — забыты. Остается только несравненный герой страстей, основатель прав свободной совести, совершенный идеал, на который будут мысленно молиться все страдающие люди, для своего подкрепления и утешения.

Виффагийский триумф, эта дерзость провинциалов, праздновавших у ворот Иерусалима прибытие своего царя-мессии, окончательно раздражила фарисеев и аристократию храма. Произошло новое совещание в среду (12 низана) у Иосифа Каиафы. Было решено немедленно арестовать Иисуса. Всеми этими мерами руководило солидное чувство порядка и консервативного благочиния. Надо было только избежать скандала. Так как праздник Пасхи, начинавшейся в этом году в пятницу, был временем суматохи и волнения, то решили предупредить эти дни. Иисус был популярен: боялись возмущения. Итак, арест был назначен на другой день, в четверг. Было решено также не арестовывать Иисуса в храме, куда он ходил каждый день, но выследить его привычки, чтобы схватить его в каком-нибудь тайном месте. Агенты первосвященников выведывали об этом у учеников, рассчитывая получить, благодаря слабости или простоте последних, полезные сведения. Они нашли, что им было нужно, в Иуде Кериотском. Этот несчастный, по неподдающимся никакому объяснению мотивам, предал своего учителя. Он дал все необходимые указания и взялся даже (хотя такая чрезмерная гнусность едва ли вероятна) вести отряд, который должен был арестовать Иисуса. Ужасное воспоминание, которое оставили в христианском мире глупость или злоба этого человека, должно было несколько сгустить здесь краски. До сих пор Иуда был учеником, как и другие; он носил даже звание апостола. Легенда, желающая только резких красок, могла признавать а трапезной только 11 святых и одного проклятого. Действительность не происходит по столь абсолютным кате-

гориям. Для объяснения указанного преступления недостаточно скупости, которую синоптики выставляют в качестве мотива. Было бы странно, чтобы человек, заведовавший кассой и знавший, что он терял со смертью своего вождя, променял выгоды своей должности за такую мизерную сумму денег. Быть может, самолюбие Иуды было оскорблено полученным на обеде в Вифании выговором? Это тоже недостаточно. Иоанну хочется сделать из него вора и неверующего с самого начала, что не имеет никакого правдоподобия. Более предпочтительно объяснить некоторым чувством ревности, некоторым междоусобным раздором. Эту гипотезу подтверждает та особенная ненависть, которую выказывает по отношению к Иуде Иоанн. Иуда, не имея столь чистого сердца, как остальные, незаметно для себя, проникся узкими чувствами своей должности. Благодаря весьма обычной странности при такого рода обязанностях, он поставил интересы кассы выше самого дела, для которого она была предназначена. Администратор убил апостола. Ропот, проскальзывающий у него в Вифании, предполагает, по-видимому, что иногда он считал учителя слишком дорого стоящим своему духовному семейству. Без сомнения, эта жалкая экономность подавала в небольшой общине повод ко многим другим столкновениям.

С этого времени, каждая минута становится торжественной и значит в истории человечества более целых веков. Мы дошли до четверга 12 низана (2-го апреля). На следующий день, вечером, праздник Пасхи начался пиршеством, на котором ели ягненка. Праздник продолжался семь следующих дней, в течение которых ели пресные хлебы. Особенно торжественный характер носили первый и последний из семи дней. Ученики были уже заняты приготовлениями к празднику. Что касается Иисуса, приходится думать, что он знал об измене Иуды и догадывался об ожидавшей его судьбе. Вечером он устроил со своими учениками последнее пиршество. Это не пир, следуемый по обряду Пасхи, как это предполагали, делая ошибку на один день, впоследствии: но для первоначальной церкви обед в четверг был истинною Пасхою и печатью нового завета. Каждый ученик вынес оттуда свои самые дорогие воспоминания: к этому же пиршеству, сделавшемуся краеугольным камнем христианского благочестия и исходным пунктом самых плодотворных учреждений, было отнесено много деталей, которые каждый сохранил об учителе.

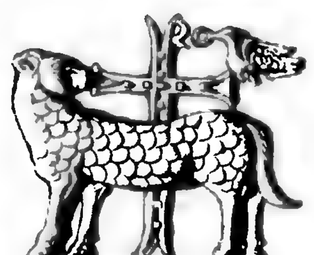
В самом деле, нельзя сомневаться, что наполнявшая сердце Иисуса любовь к его маленькой церкви, в этот момент выступила через край. Его ясная и чистая душа чувствовала себя здесь свободной от гнета осаждавших его мрачных забот. Он говорил с каждым из своих друзей. Особенно двое из них, Иоанн и Петр, были предметом нежных знаков привязанности. Иоанн (по крайней мере, он уверяет это) возлежал рядом с Иисусом на диване, и голова его покоилась на груди учителя. К концу пиршества, тайна, лежавшая на сердце Иисуса, едва не вырвалась у него. «Истинно говорю вам, — сказал он: один из вас предаст меня». Простодушные ученики опечалились этим: они смотрели друг на друга, делая взаимные вопросы. Иуда был здесь: быть может Иисус, имевший уже с некоторого времени причины остерегаться его, хотел этой фразой найти в его взглядах или его смущенном виде признание его вины. Но неверный ученик не растерялся; он даже, как говорят, осмелился спросить, как и другие: «Не я ли это, учитель?»

Однако прямой и добрый Петр сидел, как на иголках. Он сделал знак Иоанну, чтобы тот постарался узнать, о ком говорил учитель. Иоанн, имевший возможность говорить с Иисусом, не будучи услышан, спросил у последнего разрешение этой загадки. Иисус, имея только подозрения, не захотел назвать чье-либо имя; он сказал Иоанну, чтобы тот внимательно смотрел за тем, кому он предложит обмакнутый в вино хлеб. Обмакнув хлеб, Иисус предложил его Иуде. Иоанн и Петр одни знали обо всем этом. Иисус обратился к Иуде с какими-то, заключавшими в себе страшный упрек, словами. Но они не были поняты присутствующими. Те думали, что Иисус отдал ему распоряжение на завтрашний праздник, и Иуда ушел. С этой минуты происходившее на пиршестве не удивляло никого, если не считать опасений, которые Иисус доверял своим ученикам и которые были поняты последними только наполовину. Но после смерти Иисуса этот вечер получил особенно торжественное значение и воображение верующих придало ему окраску сладкой таинственности. Ведь, что охотнее всего вспоминают о дорогом лице, так это — его последние минуты. Благодаря неизбежной иллюзии, беседам, которые велись тогда с ним, приписывают смысл, полученный ими только после его смерти: в нескольких часах соединяют воспоминания целых годов.

Большая часть учеников не видела более своего учителя после описанного нами обеда. Это было прощальное пиршество; на нем, как и на многих других, Иисус совершал свой таинственный обряд преломления хлеба. Так как уже с самого начала верили, что это пиршество было в день Пасхи и, след., пасхальным торжеством, то, естественно, явилась мысль, что учреждение евхаристии совершилось в этот торжественный момент. Исходя из предположения, что Иисус точно знал наперед время своей смерти, ученики должны были думать, что Иисус оставил для своих последних часов множество важных актов. А так как, сверх того, одной из основных идей первых христиан было, что смерть Иисуса является жертвою, замещавшей все жертвы старого завета, то «Тайная вечеря» (заменившая, как предполагали накануне страстей, сразу все) стало жертвою по преимуществу, существенным актом нового Завета, символом крови, пролитой за всеобщее спасение. Итак, хлеб и вино, взятые в связи с самой смертью Иисуса, сделались образом нового завета, запечатленного Иисусом своими страданиями, и воспоминанием жертвы Христа, вплоть до его пришествия.

Впрочем, эти воспоминания, хотя и ошибочно относимые к последним часам жизни Иисуса, одушевляло высокое чувство любви, согласия и взаимной уступчивости. Душою символов и бесед, возводимых христианским преданием до этого священного момента, всегда является единство церкви, установленной Иисусом или его духом. «Заповедь новую даю вам, — сказал Иисус, — да любите друг друга, как я вас возлюбил; по тому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Я заповедую вам: да любите друг друга». В эти последние минуты еще происходило некоторое соперничество, некоторая борьба из-за первенства. Иисус дал понять, что если он, учитель, был среди учеников, как слуга, то они тем более должны были уступить один другому. По словам одних, он, когда пил вино, сказал: «Отныне не буду пить от плода сего винограднаго до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». По словам других, он будто обещал вскоре им небесное пиршество, на котором они будут сидеть на тронах по обеим сторонам его.

Кажется, что к концу вечера предчувствия Иисуса охватили и его учеников. Все почувствовали, что учителю угрожала тяжелая опасность, и что катастрофа приближалась. Одно мгновение Иисус было подумал о некоторых предосторожностях и заговорил о мечах. Последних в собрании было два. «Этого достаточно», — сказал Иисус. Он не стал далее развивать эту идею; он ясно видел, что робкие провинциалы не устоят перед вооруженной силой иерусалимских властей. Полный отваги и считавший себя твердым, Кифа поклялся, что он пойдет за Иисусом в темницу и на смерть. Иисус с обычной проницательностью выразил некоторое сомнение в этом. По преданию, восходившему, вероятно, до самого Петра, Иисус поставил его клятву в связь с пением петуха. Все, как и Кифа, поклялись не падать духом.



Продолжение следует.

ЛИТЕРАТУРА

Стихи.
Рассказ.
Портрет.

Уважаемая редакция!

Предлагаю вашему благосклонному вниманию рассказ «Амбарная книга».

Архиепископ Херсонский и Одесский Никон (Александр Порфирьевич Петин, 1902—1956), всесторонне образованный, получивший высшее гуманитарное и техническое образование, участник Великой Отечественной войны, был глубоко уважаем всеми, кто его знал. Его многосторонняя деятельность на благо города и края (в том числе значительные пожертвования на строительство института В. П. Филатова), его проповеди оставили о нем память, сохранившуюся и поныне.

Думаю, что взаимоотношения всемирно известного ученого академика В. П. Филатова и одного из современных деятелей Русской Православной Церкви Архиепископа Никона заинтересуют журнал. Тем более, что в рассказе, частичке нашей истории, использованы собственноручные записи В. П. Филатова.

С уважением,
протоиерей АЛЕКСАНДР КРАВЧЕНКО,
ректор Одесской Духовной семинарии.

Архиепископ Никон.



АМБАРНАЯ КНИГА

Как-то моя дочь перебирала домашнюю библиотеку и обратила внимание на простую амбарную книгу-тетрадь. По внешнему виду ей не место было среди почтенных фолиантов. На всякий случай Аня заглянула в амбарную книгу, в ней были какие-то записи, скорее наброски. Дочь положила книгу на место.

4 декабря 1989 года, в замечательный праздник Введения Пресвятой Богородицы я получил инвентарную тетрадь. Раскрыл и обомлел: собственноручные записи всемирно известного офтальмолога Владимира Петровича Филатова. Как я понимаю: супруга его Варвара Васильевна Скородинская передала эту тетрадь моей матери через несколько лет после смерти Владимира Петровича. Матушка моя также вскоре скончалась. Вот и покоилась амбарная тетрадь, сохраняя россыпи рассказов смертельно больного Архиепископа Херсонского и Одесского Никона. Владимир Петрович озаглавил свои записи: «У постели больного друга».

«Случилось мне, — пишет В. П. Филатов, — проводить в течение многих дней незабываемые часы у постели друга моего и многих христиан, высокого духовного лица.. Н. Болезнь его была тяжелая, она поразила костный мозг и повела к жестокому белокровию и по заключению профессоров была смертельной, неизлечимой. Все известные по медицинской литературе случаи этой болезни (а их было около 150) кончились смертью.

Архиепископ Никон резко заболел в Ворошиловграде. Профессор С. вылетел туда и сопровождал его в Одессу. Когда я увидел его в Одессе, я понял, после консилиума, что надежды на выздоровление нет. С самого начала больной, будучи глубоко верующим человеком, вел себя стоически.

Совершенно исключительное впечатление производила молитва Архиепископа перед иконой Касперовской Божией Матери, которую ему привозили из Собора. Два раза я был при этом. Когда священники, поднявшись в комнату Архиепископа на втором этаже по винтовой лестнице, подходили к его постели, больной, дотоле слабый, изможденный голодом (он почти ничего не ел), вставал с неожиданной энергией, подходил к иконе, крестился, брал ее на руки и клал на аналой. Приложившись к иконе, он служил сам молебен Божией Матери и пел гимн «О Всепетая Мати...» вместе с присутствующими. Он несколько раз в течение молебна становился на колени, припадал грудью и головой к иконе, и слезы умиления текли из его глаз. Плакали и присутствующие. По окончании молебна он брал икону на руки и нес ее вниз до первого этажа, до выхода во дворик, и только тут передавал ее в руки священнику. После того, почти не поддерживаемый никем, он поднимался наверх к своему ложу, ложился и почти без одышки беседовал с окружавшими его близкими. Трудно было понять, как мог это делать больной и такой слабый человек. Все это было производимо им в состоянии высокого подъема религиозного чувства, в состоянии экстаза и оказывало на меня и всех окружающих огромное впечатление, вызывая и у нас подъем религиозного чувства. Незабываемые минуты!

И при втором прибытии святой иконы Архиепископ Никон повторил молебен и вынес иконы до нижнего этажа. Хотя по состоянию крови консилиум врачей и признал дальнейшее ухудшение болезни, но общее состояние больного стало лучше, он стал есть, даже с аппетитом. Дальнейшие дни Архиепископ ежедневно приобщался Святых Таин, что явно давало ему бодрость и хорошее настроение духа, несмотря на тяжелые боли в ногах. Когда я приходил к нему, он неизменно встречал меня с великой, незаслуженной мною лаской, и за последние 6 дней всякий раз дарил меня рассказами из своей жизни. Я старался не проронить из его повествований ни слова и испытывал чувство благоговения к его рассказам, которые были значительными по содержанию. Нередко случаи его жизни были проникнуты чудом. Нечего и говорить, что я верю истинности его рассказов, ведь я слушал их из уст человека глубоко верующего и хорошо понимавшего всю близость свою к кончине».

Мне лишь достаточно было литературно тронуть записанные академиком небольшие новеллы. Я подумал и не сделал этого. Рассказы сохраняли интонацию и стиль Владыки Никона. Они записаны в том порядке, в котором были услышаны, но так как первый весьма личностен, начну со второго, он озаглавлен:

Пасхальная ночь в тюрьме

«После моего ареста в эпоху Ягоды, — рассказывал Архиепископ, — я был сослан на Север. Но перед этим я побывал в одной из тюрем. Обстановка в ней была кошмарной. В небольшой камере находилось много людей самого разного характера. Здесь были и политические, и уголовные. На трехъярусных нарах размещались несчастные люди. Было не только душно и смрадно, казалось, сам воздух был наполнен отвратительной площадной бранью. Наступила Пасхальная ночь и для этого ада. Я кое-как сидел под небольшим зарешеченным окном с каким-то тихим соседом, ловя струйки воздуха, еле просачивающиеся в окно. Мы услышали негромкое пение женских голосов, доносившееся из окон нижнего этажа тюрьмы. Пели заключенные там монахини. Это было нечто светлое в эту ужасную, но Святую Великую ночь. Мы с соседом начали тихо напевать пасхальные песнопения. Из находящихся в камере, некоторые смеялись, другие продолжали ругаться, но иные начали также тихо подпевать нам. Я обратился к камере: «Товарищи по несчастью, — сказал я, — сегодня Великая ночь Воскресения Христова, Пасха. Попробуем помолиться!» Кто-то выругался, но наступила тишина. К окошечку в двери подошел тюремщик. Я попросил его не препятствовать нам. К моей радости он сказал, усмехнувшись: «Ну, что же, пойте». Я начал произносить слова молитв и петь, а камера также стала петь. Когда голоса нашего случайного хора понеслись по тюремному коридору, из камер тоже стали звучать поющие голоса. Тюремщик поступил необычайно! Он прошел по коридору и открыл окошки в дверях всех камер. Понеслось к Господу радостное могучее пение «Христос Воскресе из мертвых!» и подавило кощунство и сквернословие, и многие, если не все, были в состоянии благоговения. Эта ночь оставила у меня, да вероятно и у многих, самое глубокое впечатление.»

Тупой этап

«Когда меня, — продолжал Архиепископ Никон, — пересылали на дальний Север, то многие километры пришлось мне совершать пешком вместе с большой партией.

Однажды мне объявили, что согласно какого-то приказа я должен буду идти отдельно по другому направлению, до определенного мне пункта этапа. В сопровождении конвоира я проделал довольно длинный переход, и мы достигли небольшой избы. Мне объяснили, что здесь я должен остаться один, в ожидании партии или этапов, которые будут проходить мимо избы в указанном им дальше направлении. Я же должен оставаться в избе один и раздавать сухари, которые составляли паек на дальнейший путь и были заготовлены в избе, как я убедился. Затем меня покинули. Дело было летом. В первые недели моего пребывания в одиночестве мне было совсем неплохо. Вынужденное отшельничество было даже приятным. В одиночестве я испытывал отдых и физический, и душевный от грубых нравов этапа и сквернословия, которые царили в нем. Мне легко думалось, свободно текла молитва. Природа кругом удивляла своей красотой. Около хижины протекал ручей, и я был обеспечен сухарями и водой. Я видел вблизи жизнь птиц и зверей, среди которых не было страшных, но положение мое осложнялось тем, что у меня не было ни теплой одежды, ни спичек, чтобы развести костер или затопить печь в избе. Недели шли за неделями, скоро стало заметно холодать, не за горами была осень. Никаких этапов мимо избы не проходило, и мною начала овладевать тревога за будущее, которое грозило гибелью. Наконец пришла тоска и отчаяние. И однажды я стал призывать Господа со всей силой души, громко и настойчиво. Я умолял о помощи. Я стоял в это время на поляне бугра, окруженного лесом, и вдруг увидел несколько человек верхами. Они также увидели меня и подъехали. Оказалось, что обо мне забыли, т. к. я находился на брошенном, закрытом этапе. Всадники случайно заметили меня, стоящего на бугре. Они предложили мне на выбор — снабдить меня самым необходимым для жизни зимой или ехать с ними. Я выбрал второе, потому что хотел быть среди людей, чтобы исполнить мою миссию священника среди несчастных».

На этом записи академика обрываются.

Действительно, в тридцать лет о. Александр, будущий Архиепископ Никон, начал свое крестное исповедание. Прошел долгий путь сталинских лагерей. После освобождения истово служил на приходах Русской Православной Церкви. Стал участником Великой Отечественной войны, в конце которой был призван к епископскому служению.

Исповедное служение Христу продолжалось.

Особый барак

На Воркуте лето короткое. Всякий лагерь имел место более теплое. Можно было устроиться по своей специальности инженера, требовалось только изменить внешний вид. Моя борода и более чем обычно длинные волосы навевали на охрану грусть, и вразумлять меня отправили на лесозаготовки. Шли обычно под конвоем, а там свои правила, о них предупреждалось заранее: шаг вправо, шаг влево — попытка к бегству. Собственно, куда побежишь, начались настоящие холода. Проклятия и стоны измученных людей слышались в заиндевевшем бараке. Вскоре только стонали измученные люди. Сон-забытье приносил малое утешение, силы полностью не восстанавливались. Я пока держался, видно пошел в свою матушку. Ломала ее жизнь и не сломила, своих детей воспитала и приемных выкормила и образование дала. Вера в необходимость пастырского служения и надежда на встречу с матерью придавали мне силу. Как мог, я утешал страждущих. Пришло время, когда некоторые из нас не выдержали и приняли мученический венец: не вставали утром на лесные работы, лежали на своих нарах тихие и безропотные. Души их отошли от исхудавшего тела. Каждого, кто желал, я исповедовал перед кончиной, а после смерти прочитывал заупокойные молитвы. Об этом стало известно лагерному начальству и вызвало гнев. Во время работ не было случая избавиться от меня, и кому-то пришла более совершенная мысль. В лагере был особый барак. В нем собралась воровская элита. В бараке были свои законы. Мало кто из его обитателей работал, но умудрялись жить по лагерным меркам хорошо. Еще не наступило время тех страшных дней, что принес 1937-й год. В лагере можно было выжить. Лагерное начальство обходило особый барак стороной.

Как будто существовало соглашение: вы нас не трогайте, а мы больших хлопот вам не причиним. Как-то меня вызвали из барака, и конвоир повел к двери уголовного: спешно открыл ее и толкнул меня туда. Я попал в полумрак и дым. На меня никто не обратил внимания. Я стоял у двери. Кто-то играл в карты, кто-то спал, кто просто лежал на нарах и лениво ругался с соседом. В воздухе висела грубая брань. На меня обратили внимание и позвали в глубину барака. Я сказал: «Друзья, чего вы приуныли, как здесь хорошо! А кто из вас здесь главный?» Один из лежавших сказал: иди вперед, я подошел к главарю и сказал, снимая пенсне, без которого я ничего не видел: «Доверяю тебе все, что у меня есть самое ценное». Ответ был: «Садись, никто тебя не тронет», пенсне возвратил. «Кто ты?» — спросили меня. Я ответил, что священник и рад, что могу проповедовать Слово Божие среди своих братьев. Решение было неожиданным, мне было предложено рассказать библейские истории. Это было замечательно. Моими слушателями были ветераны уголовного мира, не желавшие не только расстаться с ним, но и потерявшие надежду вскоре выйти на волю и не мыслившие себя вне окружавшего их сурового лагерного бытия, еще более ожесточившего их сердца.

Библейские рассказы воспринимались совершенно непосредственно. Слушатели мои становились их участниками. Братоубийство, совершенное Каином, Моисей и вывод им израильского народа из египетского рабства, Иисус Навин, Давид и Соломон с его «Песнь Песней», земная жизнь Христа, апостольская проповедь особо преломлялись в сознании этих несчастных людей. Услышанные истории применялись ими к своей жизни. Они искренне негодовали по поводу Авелева убийства, предательства Иуды, проявляли непосредственность во время рассказов о страданиях, претерпеваемых апостолами во время миссионерской проповеди, живо реагировали на рассказы о мучениках за Христа. Катакомбная церковь и торжество православия находило отклик и интерес. Это была катехизация.

Через несколько дней лагерное начальство посчитало, что дело совершено. Прислали за мной. В ответ население страшного барака заявило, что «батю не отдаст». Состоялось джентльменское соглашение. Некоторые решили временно работать на лесоповале, но с «батей». Это стало моим именем. Люди старше меня по годам приняли его, как должное. Место в бараке было одним из самых удобных. Когда наступал час рассказов, все теснились поближе и никто никогда не прерывал меня.

Одним вечером мне сказали: «Сегодня, батя, спи крепко и ничего не слушай». Я так и сделал. Потом я узнал, что в лагере был обворован склад. Виновных не нашли. После выхода из барака я узнал, что вкусная еда, которой со мной щедро делились, была не из посылок с воли. Все, кто был со мной в бараке, разве пришли бы слушать священника в церковь? Господь послал меня быть миссионером.

Литургия

Пришло время расстаться с обитателями барака. Шли месяцы, годы лагерной жизни. Начальство «привыкло» ко мне и, поняв, что атеиста из меня не получится, прониклось не расположением, просто перестало обращать внимание. Была разрешена переписка с родными. Радостно было получать краткие строки, много писать не разрешалось. Чтобы избежать лишних хлопот и, посчитав меня безопасным, отправили в бригаду на отдаленном участке. Нам выдавали сухой паек, и определялся план. Но самое главное: мы были без конвоя.

В бригаде я усвоил все необходимое для того, чтобы быть полезным и равноправным. Сошли кровавые мозоли, руки разработались и окрепли. Удивительно, но мы выполняли положенное нам. И, наконец, я смог совершить за Полярным кругом свою первую Божественную литургию. Из ягод надавил немного сока, хлеб был. Как самое сокровенное удалось сохранить часть антиминса с мощами. Чин литургии я знал наизусть, и таинство совершилось. Это придало мне еще более крепости духовных сил. Если я был хорошо принят в «особом бараке», то здесь, в отдалении, многие прибегали к советам, сносили свои скорби. Сколько печальных историй, исковерканных судеб прошло в устных рассказах передо мной, тогда еще молодым священником. Бесправие, жестокость, произвол, чинимый над невинными людьми, не имели предела. Было тяжко слушать обездоленных людей. В морозной дымке Воркуты растаяли у них мечты и надежда. Как вернуть их к жизни, чем ответить на исповедные признания?

Я глубоко верую, что меня вело Провидение, и надежда не покидала, я старался делиться с ней. И многие души оттаивали. Меня почему-то особенно невзлюбил один лагерный начальник и каждый раз, встречая, угрожающе поднимал кулаки. Виделись мы с ним редко. Вероятно, он жив. Молодой тогда еще был человек, он полагал и не без оснований, что делает нужное дело: уничтожает мракобесие, дремучее невежество. Мне же кажется, что его патологическая ненависть объяснима. Человек ожесточился и укоренился в том, что только его делание справедливо, а следовательно и полезно для общества. Обыкновенное человеческое добро его страшило. Есть хороший пример луча света и больного глаза. Нормальный глаз воспринимает свет безболезненно, глаз заболевший не терпит не только яркого солнечного света, но даже его луча. Последний раз я видел его проезжающим по мосту, сам я брел под этим мостом. Мой надсмотрщик не вытерпел, остановился, в неистовстве поднял кулаки к небу, что-то кричал.

Свободен

Прошло пять лет. Срок мне был определен милостивый. Мать и родные в каждом письме спрашивали: когда я вернусь? Что можно было ответить, я знал не больше вопрошавших.

Когда формальности с окончанием моей лагерной жизни были закончены, я вступил на дорогу свободы в самом прямом смысле.

Была поздняя весна или раннее лето. Хороший снег лежал в тех краях. Оказии в ближайшие дни не предвиделось, а ждать было невозможно в тридцать с небольшим лет. Я встал на лыжи и пошел с мешком за плечами в дальний путь. В первый день прошел семьдесят километров и как не сбился с пути — можно только диву даваться.

Шел 1937-й год, страна вступила в новую стройку, когда крушилось старое, продолжали ломаться судьбы многих людей.

И вот, я стою на взгорье в лагерной одежде перед Пензой, городом, где мне предстояло служить священником.

Гипноз

В предместье со мной повстречался человек, который обратил внимание на путника с котомкой на плечах, в потрепанной одежде, и ничего не спрашивая, подал мне щедрую милостыню. Это было добрым знаком. Он помог мне утвердиться, и в течение последующей жизни по мере сил и возможностей я старался приходить на помощь нуждающимся.

В храме, где я начинал свою службу, уже несколько недель не было священника. Предыдущий священнослужитель не пользовался авторитетом, и люди не посещали храм. Я стал служить в безлюдном храме. Не было ни хора, ни псаломщика, был церковный староста, исполняющий обязанности сторожа и уборщика.

Может быть долго бы мы со старостой молились в пустой церкви, но я решил, что проповедовать Слово Божие можно и для одного человека. Староста с удивлением рассказал знакомым, что прислали чудака-священника, который произносит проповедь для него. Через несколько

дней в церкви молилось несколько человек. Я старался служить каждый день и проповедовал. Через неделю церковь была заполнена верующими. Это не осталось без внимания недоброжелателей из местного союза воинствующих безбожников. Меня обвинили в том, что во время проповеди я использую гипноз, «сверля всех открытыми черными глазами», о чем сообщили в газете. Вероятно в более зрелом возрасте я не обратил бы внимания на это сообщение, но юность более восприимчива и ранима. Я объявил, что во время произнесения проповеди, чтобы опровергнуть нелепые слухи, буду закрывать глаза. С тех пор двадцать лет я произношу Слово Божие с закрытыми глазами, хотя первопричина давно изжила себя.

Велосипед

Внешний вид священника должен подчеркивать и соответствовать его внутреннему образу. Пастырь должен быть всегда в своей форме — рясе.

Я старался неизменно везде и всегда быть в духовном платье.

Один из тех, кому не понравилось появление священника в рясе на улицах города, решил проучить меня.

На одной из оживленных улиц он подкараулил меня и, нещадно сигналя на велосипеде, направился прямо на меня, стараясь напугать и унизить в глазах окружающих. Я уступил ему дорогу один раз, потом другой, но велосипедист настойчиво возвращался, надеясь сбить меня с ног. Мне удалось приостановить велосипед и направить в другую сторону. Пригодилась приобретенная сноровка на лесоповале и в тундре. От неожиданности велосипедист неуверенно проехал еще несколько и повалился на землю. Преследовать меня он более не посмел, тем более, что симпатии всех, видевших этот скверный поступок, были на стороне священника. Потом этот молодой человек познакомился со мной ближе и, посещая храм, стал ревностным христианином.

Ночь в монастырской гостинице

Константин Паустовский еще не написал своей замечательной «Книги Скитаний», еще перелистывались им первые главы его одесской жизни. Но он уже прошел путь с санитарным поездом по дорогам войны.

Мартовской весной 1915 года Паустовский выехал с фронта за дауколками в Одессу, куда прибыл вместе с одним из санитаров поезда. Переночевав на Афонском подворье, у вокзала, Паустовский ощутил непреодолимое желание провести хотя бы несколько дней у моря, тем более, что санитарные двуколки не были готовы. А в Одессе появились первые цветы: дивные гиацинты и нарциссы.

Паустовский снял комнату в монастырской гостинице на Большом Фонтане. В гостинице постояльцев не было. Он поднялся на второй этаж, окно из кельи выходило на маяк, и свет его через ровные промежутки скользил по темному стеклу. Тускло горела керосиновая лампа. Печь топилась жарко. У привратника Паустовский попросил стакан чая, который ему показался исключительно вкусным. Скудная обстановка комнаты подчеркивала унылость вечера. О железный подоконник стучали тяжелые капли мартовского ночного тумана. В безлюдном коридоре гостиницы поскрипывали половицы, скрипели они и в комнате. Паустовский лег в узкую кровать и не мог заснуть. Зримо перед ним предстала человеческая жизнь — все это прекрасное земное бытие, с его печалями и радостями.

Туман поднялся, и бесчисленные звезды смотрели в окно. Паустовский вновь зажег лампу и стал читать, но мысли его были далеко, не улавливалось содержание читаемого, он отложил книгу и продолжал думать о смысле жизни. Ему казалось, что самое лучшее проходит мимо него, и ему никак не подняться до высот настоящей жизни. В раздражении подумалось: почему везде необходимо терпение? Он был молод, терпение — удел более зрелых лет, и мало кто в юные годы понимает его значимость. Тем более, окопная жизнь не располагала к философским концепциям о терпении. Там человеческая жизнь обесценена и может оборваться внезапно, на взлете, даже свиста германской пули не услышишь. Война и санитарный поезд, человеческие гниющие останки, кровь и испражнения, труднейший крестный путь и такая обыденная смерть. Тяжко состояние безысходности. Нелепо и страшно умереть молодым.

Паустовский распахнул окно. Маяк подавал монотонные звуковые сигналы, опустился туман. Занималось утро, раздался звук монастырского одинокого колокола, туман его не гасил. Звук повторялся, растекаясь по округе. Начиналась своя монастырская жизнь: колокол звал к молитве.

Прошла ночь в монастырской гостинице. Идти в город было рано, заснуть так и не удалось, и Паустовский пошел на призывной звук колокола. В полумраке церкви мерцали лампады, теплились одинокие свечи на подсвечниках. Размеренное чтение на клиросе прерывалось печальными великопостными песнопениями. Седой, иссохший старец-иеромонах на амвоне произнес слова молитвы удивительно чистым юношеским голосом. Знакомые с юности слова по-новому вошли в сознание: «Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми!»

Как все просто, думалось Паустовскому, глубинная мудрость чувствуется в этом молитвенном вздохе человеческой души. Если праздность — мать всех пороков, то уныние ведет к отчаянию, к безнадежности, к отсечению мечтаний. И просит и утверждает себя человек в отходе от этого духа, как и от духа желания кичиться властью и употреблять ее во зло. Не даждь ми, Господи, и ненужных слов, праздных разговоров, засоряющих жизнь. «Какое благо мысль, — думал Паустовский, — даже время остановилось». А священник после земного поклона продолжал слова молитвы великого восточного подвижника IV века Ефрема Сириянина: «Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу твоему». И пока он творил вновь земной поклон, продолжал Паустовский раскрывать для себя слова молитвы. Мудрость в сохранении себя от нечистоты душевной и физической, а величие познается в непоказном смирении. Терпение по отношению к окружающим людям украшает и помогает созиданию своего «я», как и любовь, которой держится этот мир.

И когда прозвучали последние слова молитвы: «Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения к не осуждати брата моего», Паустовский понял и приблизился ко многим мечтателям, ранее казавшимся ему бесплодными.

В задумчивости вышел он из церкви. Солнце разогнало туман, воздух был чист, напоен ароматом моря и близкой степи.

Пешком Паустовский направился в город. На Большом Фонтане светились белым расцветшие сады.

В этот же день Константин Георгиевич вместе со своим спутником выехал из Одессы в Люблин к санитарному поезду. Всего одну бессонную ночь провел Паустовский в гостинице монастыря.

С молитвой, которая ему открылась в монастырской церкви на Большом Фонтане, прошел Паустовский всю жизнь, стараясь прикоснуться к тем идеалам, которые заложены в ее строках. В минуты тяжкие она вспоминалась ему и поддерживала.

Теплятся лампады и продолжается чреда чтения вечной молитвы в Успенском одесском мужском монастыре.

Комната-келья, где останавливался писатель, стала частью аудитории IV курса Духовной Семинарии. Из окна, как и прежде, виден маяк и краешек моря.

«На восхищении талантом Тэффи сходятся люди самых разных политических взглядов и литературных вкусов, и я не могу припомнить другого писателя, который вызывал бы такое единодушие у критиков и у публики», — писал Марк Алданов.
Девятнадцатый год расколол жизнь Тэффи — Надежды Александровны Лохвицкой (1872—1952) на две части. Позади оставалась родина, беспечальное детство в состоятельной профессорской семье, блистательная слава известнейшей в России юмористки. Впереди — 32 года на чужбине, в «Городке» — русской колонии Парижа, старость, мучительные болезни. Подобно большей части либерально настроенной интеллигенции, Тэффи, с восторгом принявшая февральскую революцию, перед Октябрем растерянно сникла, сжалась испуганно — ей не было места в этой новой, жестокой и непонятной жизни. В публикуемых рассказах «Счастье» и «Поручик Каспар» в полной мере отразилось восприятие Тэффи послереволюционной российской действительности. Свой путь в эмиграцию, нечаянный и не до конца осознаваемый, под наркозом влекущей ее силы, Тэффи описывает в «Воспоминаниях» (1931), фрагменты которых представлены здесь.
В Париж приехала совсем другая Тэффи. Как-то она обмолвилась, что у нее, как на фронтоне греческого театра, два лица: смеющееся и плачущее. Двойственность эта проходит через всю судьбу писательницы: она писала лирические стихи и прозу, над ее рассказами хохотали и плакали, она бывала сердитой и нежной. Но никогда не изменяла себе, своему безупречному вкусу. Юмор — органичный спутник ее прозы — не покидал ее в самую тяжелую минуту, и всегда оставался самой высокой пробы. В конечном счете, пером ее водили любовь и жалость к человеку. «Надо мною посмеиваются, что я в каждом человеке непременно должна найти какую-то скрытую нежность», — писала она в своем очерке о А. И. Куприне. Человечный талант Тэффи делал ее близкой и понятной каждому, и каждый, вне зависимости от своих «политических взглядов и литературных вкусов», мог найти в ней свое.
«Тэффинька», как звали ее близкие друзья, и в эмиграции оставалась любимейшим и наиболее читаемым автором, «летописицей русского Парижа». Крупные русские писатели были в числе ее друзей и почитателей. Воспоминания Тэффи о Куприне вместили в себя многое: здесь и ее размышления об ответственности творца за выбранную им судьбу, и шутливое повествование о начале ее собственного литературного пути, и малознакомый нам Куприн эмигрантского периода, и, наконец, сама Тэффи — «единственная, оригинальная чудесная Тэффи», как отзывался о ней Александр Иванович Куприн.
Рассказы «Псевдоним», «Счастье», «Поручик Каспар» в нашей стране публикуются впервые. Воспоминания о А. И. Куприне печатаются по первой публикации в «Новом русском слове» (Нью-Йорк, 1949, 27 февраля) с незначительными сокращениями.



ТЭФФИ

ПСЕВДОНИМ

Меня часто спрашивают о происхождении моего псевдонима.

Действительно — почему вдруг «Тэффи»? Что за собачья кличка? Недаром в России многие из читателей «Русского слова» давали это имя своим фоксам и левреткам.

Почему русская женщина подписывает свои произведения каким-то энглизированным словом?

Уже если захотела взять псевдоним, так можно было выбрать что-нибудь более звонкое или, по крайней мере, с налетом идейности, как Максим Горький, Демьян Бедный, Скиталец. Это все намеки на некие поэтические страдания и располагает к себе читателя.

Кроме того, женщины-писательницы часто выбирают себе мужской псевдоним. Это очень умно и осторожно. К дамам принято относиться с легкой усмешкой и даже недоверием.

— И где она это понахваталась?

— Это, наверно, за нее муж пишет.

Была писательница Марко Вовчок, талантливая романистка и общественная деятельница подписывалась «Вергежский», талантливая поэтесса подписывает свои критические статьи «Антон Крайний». Все это, повторяю, имеет свой raison d'être. Умно и красиво. Но — «Тэффи» что за ерунда?

Так вот, хочу честно объяснить, как это все произошло.

Происхождение этого дикого имени относится к первым шагам моей литературной деятельности. Я тогда только напечатала два-три стихотворения, подписанные моим настоящим именем, и написала одноактную пьеску, и как надо поступить, чтобы эта пьеска попала на сцену, я совершенно не знала. Все кругом говорили, что это абсолютно невозможно, что нужно иметь связи в театральном мире и нужно иметь крупное литературное имя, иначе пьеску не только не поставят, но никогда и не прочтут.

— Ну кому из директоров театра охота читать всякую дребедень, когда уже написан «Гамлет» и «Ревизор»? А тем более дамскую стряпню!

Вот тут я и призадумалась.

Прятаться за мужской псевдоним не хотелось. Малодушно и трусливо. Лучше выбрать что-нибудь непонятное, ни то ни се.

Но — что?

Нужно такое имя, которое принесло бы счастье. Лучше всего имя какого-нибудь дурака — дураки всегда счастливы.

За дураками, конечно, дело не стало. Я их знавала в большом количестве. Но уж если выбирать, то что-нибудь отменное. И тут вспомнился мне один дурак, действительно отменный, и вдобавок такой, которому везло, значит самой судьбой за идеального дурака признан-

---

Произведения публикуются впервые.

ный.

Звали его Степан, а домашние называли его Стеффи. Отбросив из деликатности первую букву (чтобы дурак не зазнался), я решила подписать пьеску свою «Тэффи» и, будь что будет, послала ее прямо в дирекцию Суворинского театра. Никому ни о чем не рассказывала, потому что уверена была в провале моего предприятия.

Прошло месяца два. О пьеске своей я почти забыла и из всего затем сделала только назидательный вывод, что не всегда и дураки приносят счастье.

И вот читаю как-то «Новое время» и вижу нечто.

«Принята к постановке в Малом театре одноактная пьеса Тэффи «Женский вопрос».

Первое, что я испытала, — безумный испуг.

Второе — безграничное отчаяние.

Я сразу вдруг поняла, что пьеска моя непроходимый вздор, что она глупа, скучна, что под псевдонимом надолго не спрячешься, что пьеса, конечно, провалится с треском и покроет меня позором на всю жизнь. И как быть, я не знала, и посоветоваться ни с кем не могла.

И тут еще с ужасом вспомнила, что, посылая рукопись, пометила имя и адрес отправителя. Хорошо, если они там подумают, что я это по просьбе гнусного автора отослала пакет, а если догадаются, что тогда?

Но долго раздумывать не пришлось. На другой день же почта принесла мне официальное письмо, в котором сообщалось, что пьеса моя пойдет такого-то числа, а репетиции начнутся тогда-то, и я приглашаюсь на них присутствовать.

Итак — все открыто. Пути к отступлению отрезаны. Я провалилась на самое дно, и так как страшнее в этом деле уже ничего не было, то можно было обдумать положение.

Почему, собственно говоря, я решила, что пьеса так уж плоха! Если бы была плоха, ее бы не приняли. Тут, конечно, большую роль сыграло счастье моего дурака, чье имя я взяла. Подпишись я Кантом или Спинозой, наверное пьесу бы отвергли.

— Надо взять себя в руки и пойти на репетицию, а то они еще меня через полицию потребуют.

Пошла.

Режиссировал Евтихий Карпов, человек старого закала, новшеств никаких не признававший.

— Павильончик, три двери, роль назубок и шпарь ее лицом к публике.

Встретил он меня покровительственно.

— Автор? Ну ладно. Садитесь и сидите тихо.

Нужно ли прибавлять, что сидела я тихо.

А на сцене шла репетиция. Молоденькая актриса, Гринева (Я иногда встречаю ее сейчас в Париже. Она так мало изменилась, что смотрю на нее с замиранием сердца, как тогда...), играла главную роль. В руках у нее был свернутый комочком носовой платок, который она все время прижимала ко рту, — это была мода того сезона у молодых актрис.

— Не бурчи под нос! — кричал Карпов. — Лицом к публике! Роли не знаешь! Роли не знаешь!

— Я знаю роль! — обиженно говорила Гринева.

— Знаешь? Ну ладно. Суфлер! Молчать! Пусть жарит без суфлера, на постном масле!

Карпов был плохой психолог. Никакая роль в голове не удержится после такой острастки.

— Какой ужас, какой ужас! — думала я. Зачем написала эту ужасную пьесу! Зачем послала ее в театр! Мучают актеров, заставляют их учить назубок придуманную мною ахинею. А потом пьеса провалится, и газеты напишут: «Стыдно серьезному театру заниматься таким вздором, когда народ голодает». А потом, когда я пойду в воскресенье к бабушке завтракать, она посмотрит на меня строго и скажет: «До нас дошли слухи о твоих историях. Надеюсь, что это неверно».

Я все-таки ходила на репетиции. Очень удивляло меня, что актеры дружелюбно со мной здороваются, — я думала, что все они должны меня ненавидеть и презирать.

Карпов хохотал:

— Несчастный автор чахнет и худеет с каждым днем.

«Несчастный автор» молчал и старался не заплакать.

И вот наступило неотвратимое. Наступил день спектакля.

— Идти или не идти?

Решила идти, но залезть куда-нибудь в последние ряды, чтобы никто меня и не видел. Карпов ведь такой энергичный. Если пьеса провалится, он может высунуться из-за кулис и прямо закричать мне: «Пошла вон, дура!»

Пьеску мою пристегнули к какой-то длинной и нудной четырехактной скучище начинающего автора.

Публика зевала, скучала, посвистывала.

И вот, после финального свиста и антракта, взвился, как говорится, занавес и затарантили мои персонажи.

— Какой ужас! Какой срам! — думала я.

Но публика засмеялась раз, засмеялась два и пошла веселиться. Я живо забыла, что я автор, и хохотала вместе со всеми, когда комическая старуха Яблочкина, изображавшая женщину-генерала, маршировала по сцене в мундире и играла на губах военные сигналы. Актеры вообще были хорошие и разыграли пьеску на славу.

— Автора! — закричали из публики. — Автора!

Как быть?

Подняли занавес. Актеры кланялись. Показывали, что ищут автора.

Я вскочила с места, пошла в коридор по направлению к кулисам. В это время занавес уже опустили, и я повернула назад. А публика снова звала автора, и снова поднялся занавес, и актеры кланялись, и кто-то грозно кричал на сцене. «Да где же автор?», и я опять кинулась к кулисам, но занавес снова опустили. Продолжалась эта беготня моя по коридору до тех пор, пока кто-то лохматый (впоследствии оказалось, что это А. Р. Кугель) не схватил меня за руку и не заорал:

— Да вот же она, черт возьми!

Но в это время занавес, поднятый в шестой раз, опустился окончательно, и публика стала расходиться.

На другой день я в первый раз в жизни беседовала с посетившим меня журналистом. Меня интервьюировали.

— Над чем вы сейчас работаете?

— Я шью туфли для куклы моей племянницы...

— Гм... вот как! А что означает ваш псевдоним?

— Это... имя одного дур..., то есть так, фамилия.

— А мне сказали, что это из Киплинга.

Я спасена! Я спасена! Я спасена! Действительно, у Киплинга есть такое имя. Да, наконец, и в «Трильби» песенка такая есть:

«Taffy was a Walesman,
Taffy was a thief...»

Сразу все вспомнилось.

— Ну да, конечно, из Киплинга!

В газетах появился мой портрет с подписью «Taffy».

Кончено. Отступления не было.

Так и осталось.

Тэффи

А. И. КУПРИН

Все люди, наделенные талантом, писатели, поэты, художники, композиторы — отмечены в жизни особым знаком. Все они, по примеру Господа Бога, творящие мир из ничего (ибо всякое творчество есть создание фантазии, то есть именно творение из ничего), непременно отличаются от людей обычного типа. И жизнь их, если не внешне, то хотя бы внутренне, всегда сложна, вся в срывах, взлетах, в запутанных петлях и для постороннего наблюдателя непонятна и неприемлема.

Многое, как и в жизни каждого человека, конечно, скрыто от чужого глаза, но биографы, принимающиеся изучать заинтересовавшего их талантливого человека, открывают иногда совершенно удивительные и странные черты, поступки и настроения. Все они, эти носители

талаита (не в обиду будь им сказано, а в вознесение), все они с сумасшедчинкой. Нельзя брать на себя безнаказанно миссию Господа Бога. За это накладывается на человека печать. Он должен платить. Поэтому и мерка, применяемая к нему, должна быть особая. Находя в нем то, что в обычном человеке считается пороком, надо понимать и принимать как знак «плачу за избрание».

Многие писатели кончили настоящим сумасшествием: Стриндберг, Бальмонт, Мопассан, Гаршин, Ницше... Но и нормальные почти все были со странностями, которые удивляли бы в простом смертном, но в человеке талантливом особого внимания не привлекали.

— Чудит! Все они такие!

Как-то раз в тесном писательском кругу затеяли мы определять, к типам какого писателя можно отнести данного человека. Прежде всего занялись, конечно, литераторами.

Вот, например, Гоголя, со всей его странной судьбой и характером, Гоголя, сжегшего конец «Мертвых душ», мог бы написать Толстой. Очень ясно поддается определению Чехов. Он мог быть героем романа, написанного Тургеневым. Точнее говоря — Чехов, вся его личность, и вся история его жизни могла бы быть написана Тургеневым.

Льва Толстого, с его бесконечными исканиями, с душевными сдвигами и уходом мог бы написать Достоевский. И как это ни странно — его мог бы написать, грозно его осуждая, сам Лев Толстой.

Так вот, применяя этот метод к Куприну, можно сказать, что Куприн был написан Кнутом Гамсуном в сотрудничестве с Джеком Лондоном.

Это сочетание скрытой душевной нежности, с безудержным разгулом и порою даже жестокостью — это все могли бы выдумать Гамсун или Джек Лондон.

Надо мною посмеиваются, что я в каждом человеке непременно должна найти какую-то скрытую нежность... Но тем не менее в каждой душе, даже самой озлобленной и темной, где-то глубоко на самом дне чувствуется мне притушенная, пригашенная искорка. И хочется подышать на нее, раздуть в уголек и показать людям — не все здесь тлен и пепел.

Много рассказывалось о безудержных купринских кутежах, о злых забавах, как травил он в пьяной компании кошку собаками, как видел в одесском ресторане попугая в клетке и кто-то сказал, что если попугая накормить укропом, то он погибнет в страшных мучениях. И будто бы, услышав это, Куприн всю ночь ездил по городу, искал укропа, чтобы накормить попугая и посмотреть, что из этого будет. Но была зима, и свежего укропа он не достал.

Часто приходилось видеть в литературном ресторане «Вена», как бушует в своей компании Куприн, как летят на пол бутылки, грохают об пол стулья, гремит крутая ругань, со словами из «народной анатомии», как ведут кого-то под руки мириться, и оробевшие мирные люди спешат от греха подальше убраться по домам.

Бесшабашный кутила, пьяный буян, но и во внешней жизни своей не целиком укладывался он в эту скверную рамку. Было в нем многое, о чем следует рассказать.

Он, конечно, не был добряком, как думают некоторые на основании его рассказов. Но в нем было благородство, в нем было доброжелательство. Он не хватал и не прятал от друзей каких-нибудь выгодных возможностей, как это, к сожалению, часто бывает. Он всегда с готовностью рекомендовал издателям товарищей по перу, говорил о них с переводчиками.

Куприн искренне радовался чужому успеху, как художественному, так и материальному. Он не был завистлив и во многих оставил о себе хорошую память. Занимая одно из первых мест в нашей литературной семье, он был необычайно скромен и доступен.

Читатели Куприна любили. И многие, не знавшие его лично, даже как-то умилялись над ним, считали добряком, простым, милым человеком. Может быть, оттого, что писал он просто, без вывертов, которые так ненавистны широкой публике. Честно писал, не красуясь и не презирая читателя (я, мол, пишу, как хочу, а если тебе не нравится, значит, ты дурак).

— Этот офицер хорошо пишет, — сказал Толстой о начинающем Куприне.

Куприн был настоящий, коренной русский писатель, от старого корня. Когда писал — работал, а не забавлялся и не фиглярничал. И та сторона его души, которая являлась в его творчестве, была ясна и проста, и компас его чувства указывал стрелкой на добро.

Но человек Александр Иванович Куприн был вовсе не простачок и не рыхлый добряк. Он был очень сложный.

Жизнь, в которую втиснула его судьба, была для него неподходяща. Ему нужно было бы плавать на каком-нибудь парусном судне, лучше всего с пиратами. Для него хорошо было бы охотиться в джунглях на тигров, или в компании бродяг-золотоискателей, по пояс в снегу, спасать погибающий караван. Товарищами его должны бы быть храбрые морские волки, или даже прямые разбойники, но романтические, с суровыми понятиями о долге, о чести, с круговой порукой, с особой пьяной мудростью и честной любовью к человеку. Он всегда чувствовал на себе кепку, пропитанную морской солью, и щурил глаза, ища на горизонте зловещее облако, грозящее бурей...

С А. И. Куприным встретилась я в самом начале моей литературной жизни, когда только появился в газете «Новости» мой святочный рассказ. И вот у кого-то за ужином моим соседом оказался Куприн.

— Это не вы ли написали рассказ у Нотовича?

— Я. А что?

— Очень скверный рассказ, — убежденно сказал он. — Бросьте писать. Такая милая женщина, а писательница вы никакая. Плюньте на это дело.

Куприн был крепкий, сытый, с глазами веселого тигра. Посмотрела я на него и думаю — а ведь он, наверно, правду говорит. Как это ужасно. Значит, писать больше не буду.

Так бы и перестала, если бы не вмешалась в это дело моя любовь к красивым башмакам. А вмешалась она так.

Сидела я с друзьями в одном из литературных ресторанчиков, вероятно, в «Вене». И подсел к нам Петр Пильский.

— Отчего, — говорит, — вы больше не пишете?

— Не могу, — вздохнула я. — Таланта нет. Писательница я никакая.

— Что за вздор! Вот начинается новая газета. Будет выходить по понедельникам. Нужны маленькие рассказы. Попробуйте.

— Да не хочется. Раз нет способностей, так нечего лезть.

— А вы попробуйте. Заплатят двенадцать рублей. А за эти деньги можно купить у Вейса прелестные башмачки. Ведь вы любите красивые башмачки?

— Ну еще бы! Я-то? Да больше всего на свете.

— Ну так вот, не откладывайте, пишите рассказик и сразу бегите к Вейсу за башмаками. И торопитесь. Откладывать нельзя.

Раз дело шло о башмаках от Вейса, то, конечно, откладывать было нельзя. В ту же ночь рассказ был написан, а утром Василевский-Небуква, редактор-издатель «Понедельника», заехал за ним.

Рассказ понравился, его напечатали, но мне было как-то беспокойно.

— Хвалят, думаю, просто из любезности. А способности-то ведь все-таки нет.

Но — деньги получены, башмаки у Вейса куплены, значит и бездарностям есть на свете место.

Дней через десять встречаю Куприна. От страха вся съежилась и отвожу глаза, чтобы он меня не узнал. Сейчас начнет разделывать под орех.

Но он еще издали делает приветственные знаки и идет прямо ко мне.

— Милая! — кричит. — До чего хорошо написала! Голубчик мой, умница! Чего же до сих пор ничего не писала?

Смеется он надо мной, что ли.

— Да ведь вы же, — лепечу, — сами сказали, что писательница я никакая. Вы же мне запретили писать.

— Ну как же это я так! С чего же это я!

И так искренне радовался и всем кругом цитировал отрывки из этого самого рассказа, что не поверить ему я не могла; так же искренне, как и в тот раз, когда он гово-

рил, что и «никакая». Поверила и стала писать. Но если бы не прельстил меня Пильский башмаками от Вейса, не пришлось бы Куприну на меня радоваться. В этих самых башмаках и зашагала я по своей литературной тропинке. А Куприн на всю жизнь остался самым дружеским ценителем моих произведений, и бывало так, что уже статья о моей новой книге напечатана, а он приходил в редакцию и говорил:

— А я хочу еще и от себя дать об этой книге отзыв.

И отзыв всегда бывал очень для меня лестный. Надо заметить, что такое доброжелательство — явление в писательском кругу чрезвычайно редкое. Почти небывалое. Повторяю — он был очень хорошим товарищем.

Жил Куприн в эмиграции — он, его жена Елизавета Маврикиевна и молоденькая дочь — очень странно. Вечно в каких-то невероятных долгах.

Для Куприна устраивались сборы. У него были преданные друзья, выручавшие его в трудную минуту. Елизавета Маврикиевна открыла маленькую библиотеку и писчебумажный магазин. Все шло скверно.

Одно время жили на юге. Там он сдружился с местными рыбаками, и те брали его с собой в море на рыбную ловлю.

Он, наверное, как мальчик играл в настоящего рыболова, хмурил брови и надвигал на лоб мятую, «пропитанную морской солью» фуражку.

Пропадал на рыбной ловле по целым дням. Вечером Елизавета Маврикиевна бегала по всем береговым кабачкам, разыскивала его. Раз нашла в компании рыбаков с пьяной девицей, которая сидела у него на коленях.

— Папочка, иди же домой! — позвала она.

52 — Не понимаю тебя, — отвечал Куприн тоном джентльмена. — Ты же видишь, что на мне сидит дама. Не могу же я ее побеспокоить.

Но общими усилиями даму побеспокоили.

Он всегда любил и искал простых людей, чистых сердцем и мужественных духом. Долгое время дружил с клоуном, любил циркачей за их опасную для жизни профессию.

Как-то, встретив у меня молодую, очень буржуазную даму, он вполне серьезно убеждал ее бросить все и поступить в наездницы.

— Вот родители не позаботились о вас, не дали вам настоящего воспитания. Вы где учились?

— В институте.

— Ну вот видите. Ну на что это годится? Раз родители вовремя не позаботились, попробуйте исправить их ошибку. Конечно, на трапеции работать вам было бы уже трудно. Поздно спохватились. Упустили время. Но наездница из вас может еще выйти вполне приличная. Только не теряйте времени, идите завтра же к директору цирка.

Стихов Куприн вообще не писал, но было у него одно стихотворение, которое он сам любил и напечатал несколько раз, уступая просьбам разных маленьких газет и журналов. В стихотворении этом говорилось о его нежной тайной любви, о желании счастья той, кого он так робко любит, о том, как бросится под копыта мчащихся лошадей и «она» будет думать, что вот случайно погиб славный и «почтительный» старик. Стихотворение было очень нежное, в стиле мопассановской «Fort comme la mort» и, очевидно, этим романом и навеянное.

Вот оно, это стихотворение, и открывало тайный уголок романтической души Куприна.

Все знают его как кутилу, под конец жизни даже больного алкоголика, но ведь не все знают тайную нежность его души, его мечты о храбрых, сильных и справедливых людях, о красивой, никому не известной любви.

Никто не знает, что три года подряд 12 января, в канун русского Нового года, он уходил в маленькое бистро и там, сидя один за бутылкой вина, писал письмо нежное, почтительно-любовное, все той же женщине, которую почти никогда не видел и которую, может быть, даже и не любил. Но он сам, Александр Иванович, был выдуман Гамсуном, и, подчиняясь воле своего создателя, должен был тайно и нежно и, главное, безнадежно любить и каждый раз под Новый год писать все той же женщине свое волшебное письмо.

Конец беженской жизни Куприна был очень печальный. Совсем больной, он плохо видел, плохо понимал, что ему говорят. Жена водила его под руку.

Как-то раз я встретила их на улице.

— Здравствуйте, Александр Иванович.

Он смотрит как-то смущенно в сторону.

Елизавета Маврикиевна сказала:

— Папочка, это Надежда Александровна. Поздоровайся. Протяни руку.

Он подал мне руку.

— Ну вот, папочка, — сказала Елизавета Маврикиевна, — ты поздоровался. Теперь можешь опустить руку.

Грустная встреча.

Елизавета Маврикиевна решила, что благоразумнее всего вернуться на родину. Пошла в консульство, похлопотала. Оттуда приехал служащий, посмотрел на Куприна, доложил послу все, что увидел, и Куприну разрешили вернуться. Они как-то очень быстро собрались и, ни с кем не попрощавшись, уехали. Потом мы читали в советских газетах о том, что он говорил какие-то толковые и даже трогательные речи. Но верилось в это с трудом. Может быть, как-нибудь особенно лечили его, что достигли таких необычайных результатов. Умер он довольно скоро.

Вот какой странный жил между нами человек, грубый и нежный, фантазер и мечтатель, знаменитый русский писатель Александр Иванович Куприн.



Лицо у Сысоева было несимметрично. Один глаз больше другого и одна бровь выше. Бородка щипаная, лоб толкачом, волосы ежом. Тело сутулое, коротконогое. На пальцах-обрубышах, словно без последнего сустава, ногти обгрызаны, изъедены до половины. Ноги маленькие, обутые в дамские башмаки серой парусины.

В слободку попал он случайно. Пробирался из-под Астрахани, где был сельским учителем, к отцу, в Киев, да поезд по дороге остановили, обстреляли и дальше не пустили. Сысоев пошел с полустанка лесом, потом через реку, через мост, дошел до монастыря, попросился ночевать, но монах сказал:

— У нас не советую, попроситесь лучше в слободке.

В слободке его пустили в сапожникову квартиру, в ней он и прожил пять месяцев.

Самого сапожника не было. Пропал, как многие в слободке и в городишке.

Время было беспокойное — то захватывали большевики, то белые, то наезжал атаман-Маруся, у которой, хоть и звалась она так ласково и по-домашнему, была своя артиллерия и служили настоящие полковники. После Маруси опять зашли большевики, и опять белые, и потом какая-то «банда», о которой никто ничего толком не знал, а главарем банды состоял бывший поручик по фамилии Каспар.

Вот в этой неразберихе и пропадали люди. Так пропал и сапожник, в квартире которого поселился Сысоев.

Занял он маленькую комнату с высоким порогом, около

кухни, а в другой, большой, с двумя окнами на улицу, жила уже целый год молодая дьяконица Агния, муж которой где-то от кого-то скрывался.

Дьяконица была высокая, белая, с точно наморожениым сизым румянцем на самых горбушках пухлых щек, с выпуклыми светлыми глазами.

И в дьяконицу эту влюбился Сысоев тоскливо и злобно, сам не сознавая, что влюблен. В луче этой любви не запела и не зацвела душа его и не засмеялась радостно. Он чувствовал только мутную тоску, когда дьяконица говорила о своем муже, не мог спать и до крови изгрызал ногти, если дьяконица засиживалась у своей подруги-портнихи, и до судорог ненавидел Петеньку Ветрова, приходившего петь с дьяконицей дуэты.

Петенька был писарь-щеголь, с пробором и завитушками, с цветным платочком в кармане, с нежным высоким голосом, разговаривал только с женщинами и любил намекать, что он незаконный сын высокой особы. С дьяконицей они пели вместе в церковном хоре, пока священник не сбежал не то от Маруси, не то от банды. Церковь временно закрыли, и Петенька стал приходить к дьяконице петь на дому.

Пели «Да исправится», и Петенька, любовно подкатывая глаза и выговаривая твердое обратное «э» вместо мягкого, нежно склонялся к плечу дьяконицы и выводил: *«Нэ отврати сэрдце твоэ»*.

Дьяконица смущалась и виновато косила выпуклыми глазами.

Сысоев думал, что говорить о дьяконе ему неприятно, потому что это «бесполезно», что не спит он, когда Агнии нет дома, потому что все равно калитка щелкнет и разбудит, а Петеньку Ветрова считал просто пустым и вредным человеком, который, только дайте время, сделает какую-нибудь подлость.

— Ему противно руку подавать, не то что...

Только раз в тихую, томную июньскую ночь, он как будто понял в себе что-то...

В эту ночь нигде не стреляли, было спокойно.

Он вышел постоять у калитки, и, сам не замечая как, пошел вдоль улицы к лесу. И тут уже, у последних слободских домишек, вдруг словно кто-то милый и забытый ласково взял за плечи и заглянул в лицо.

Много месяцев забыты были и звезды, и небо, и тихие тени ночных деревьев. Никто не смотрел на них, не видел и не помнил. Страшная жизнь, в которой все были виноваты и все выкручивались и оправдывались, заговорила новыми страшными и грубыми словами, наложившими запрет и на звезды, и на небо, и кто помнил о них — скрывал эти мысли как стыдное.

А тут вдруг само все пришло, подошло и встало рядом, тихо и просто.

Сысоев ухватил рукой густолиственную ветку орешника. Листья на ней были шершавые и теплые — словно пожал мохнатую звериную лапу, и осторожно, стараясь не оборвать и не помять, тихо отвел руку.

За низким деревянным сарайчиком, последним, протиснувшимся в самый лесок-березняк, тихо мерцавший в полумгле светлой ночи зыбкими стволами, обведенными кистью, сидело двое. Парень и девка. Сидели они на низком бревне, у самой стены, крепко сплетясь и прижавшись друг к другу. Она пригнула свою голову в темном платочке ниже его плеча. Он обнял ее обеими руками и охватил ногой ее колени. Так и застыли, не шевелясь. Из-под платья женщины виднелась полоска нижней твердой юбки. И было в этой полоске, в этом кусочке белья, о котором она не знала, что его видно, что-то трогательное и жалкое.

Сысоев долго смотрел на них испуганно, и радостно, и изумленно, как глядит на весеннее солнце вытолкнутый из темного зимнего хлева бык.

Они так и не шевелились.

Он тихо побрел, натыкаясь на кусты и заборы, и не сразу узнал свой дом. И за высокий порог своей комнаты принес Сысоев из этой ночи одну мысль, радостную и страшную.

— Вот ведь и эта Агния тоже могла бы так пригнуть голову и прижаться.

В слободке жилось сравнительно свободно. Обысков и обстрелов почти не бывало. В городе даже саму слободку считали опасной и при всяких переменах пугали друг друга слухами, будто слободка вооружена и идет горожан грабить.

О правящем уже вторую неделю поручике Каспаре говорили всякие чудеса. Прежде всего, будто был он на пожаре, когда горел гостиный двор, и строго-настрого запретил грабить, и даже поставил караульных стеречь погорелое добро.

Потом говорили, будто какой-то старухе дал денег.

Все это быстро сделало его героем среди местного населения.

Дьяконица прибежала поздно вечером от портнихи возбужденная и быстрая, какой ее никогда еще не видели. С ней произошло необычайное приключение: всю дорогу преследовал ее какой-то человек. Шел за ней молча, но неотступно. Она трусила, думала, что грабитель или обидчик, и все прибавляла шагу. А у самого дома он вдруг по-военному приложил руку к козырьку и почтительно сказал:

— Не волнуйтесь, сударыня, я ничего худого не замышлял, а провожал вас только из желания защитить в случае чего. Время все-таки неспокойное.

— Это наверное, был поручик Каспар, уж можете быть уверены! — задыхаясь, твердила дьяконица, прижимая ладони к сизым щекам.

— А как он был одет? — деловито расспрашивал Сысоев. — Наружность какая?

— Лица я не разглядела, а одет был обыкновенно — сапоги высокие, козырек... Темно уж было. Только это наверное он.

Пришедшему утром Петеньке Ветрову приключение Агнии не понравилось. Ему уже прямо так, ни в чем не сомневаясь, рассказали, что провожал сам поручик Каспар.

— Я понимаю, если бы он еще сразу представился, или зашел бы в дом, или вообще... Не знаю. Мне его поведение не нравится.

— А по-моему, именно и хорошо, что он пожелал остаться инкогнито! — вступился Сысоев.

Дьяконица взглянула на него восторженно и благодарно.

От взгляда этого Сысоев покраснел и на мгновение закрыл глаза.

— Вы не понимаете, что это не по-светски! — злился Петенька. Его особенно уязвило слово «инкогнито». Неприятно было, что сказал его урод Сысоев, а не сам он, Петенька, любящий слова тонкие и красивые.

— Нет, мы прекрасно понимаем, — возражала дьяконица, и от этого «мы» снова весь затрепетал Сысоев. — Мы понимаем, что именно так, инкогнито, и нужно было поступить. Это именно благородно, а вовсе не лезть в знакомство.

— Вы так рассуждаете, — язвительно кривя рот, ответил Петенька, — потому что не имеете представления о том, как себя держать в высшем кругу.

У него нос стал совсем белый.

— Именно имеем представление! Именно имеем!

— Удивляюсь вам! — фыркнул Петенька и стал тыкаться по углам, ища свою фуражку.

Видя, что он уходит, дьяконица разволновалась и рассердилась еще больше.

— Поручик Каспар такой человек, за которого каждый умрет с радостью! — почти кричала она. — Да, именно умрет. А вы этого не понимаете.

Петенька отыскал фуражку и, не прощаясь, вышел из комнаты.

Вечером дьяконица в первый раз переступила через высокий сысоевский порог и, присев на сломанную табуретку — единственную мебель — долго говорила про поручика Каспара.

Сысоев отвечал восторженно и умиленно.

— Разве такие Ветровы могут понять что-нибудь подобное, — робко вставил он мимоходом и затем подождал — что будет.

— Ветров — поверхностный человек, — холодно ответила дьяконица и тотчас ушла.

Но Сысоев не понял, что она ушла именно после его заключения. Для него всю ночь ангелы пели:

— Поверхностный человек! Ветров — поверхностный человек!

Утром проснулся рано, вспомнив все, и подумал:

— Каков же я таков и на что я надеюсь?

Лица он своего давно не видел — зеркал в доме не было. Пощупал свою щипаную бороденку, лоб-толкач — ничего не понял.

Вытянув правую руку, растопырил короткие пальцы с изъеденными ногтями и долго удивленно смотрел.

— Нет... руки у меня, действительно, ... так себе.

Стало скучно и беспокойно, и больше о себе думать не захотелось.

Дьяконица весь день не показывалась, а вечером ушла.

В городе начались опять какие-то беспорядки. Слышны были выстрелы. Два раза пролетел через слободку озверелый автомобиль.

Как всегда в тревожное время, пришел наведаться о. Онисим, старенький заштатный священник. Он был дальним родственником дьяконицы и жил в одном доме с ее подругой-портнихой.

Всегда испуганный, глуховатый, подслеповатый, он по вкоренившейся семинарской привычке называл собеседника «отче», будь это даже женщина.

— Агния, налей, отче, кваску капельку.

Новой жизни боялся, кружил головой и шептал:

— Пропустили время, отче... Должен был царь сам согнать всех нигилистов в один загон и спросить: «Чего вам, собственно, отче, нужно?» А теперь время упущено.

— Благополучна ли Агния? — спросил о. Онисим вышедшего к нему на стук Сысоева.

— А разве она не у вас? — спросил тот, побледнел и отвернулся.

— Нету у нас. Не была. Когда ушла?

— Еще во вторник. Третий день.

Помолчали.

— Надо в полицию заявить. Всегда, отче, в полицию заявляли.

— Я заявлю. Только полиции-то ведь нет.

— Ни и правда. Тогда надо идти к самому поручику Каспару. Прямо к нему в здание управы, пойти и сказать: «Помоги, отче, распорядись». Он отдаст приказ и разыщут. Может быть, арестована?

— Я пойду.

— Ну, благослови бог.

В городке улицы были пусты и все двери заперты. Со стороны собора стреляли часто, пулеметом. Провезли на ошалелом автомобиле какой-то большой ящик. Люди без шапок — человек восемь — сгрудились, держали этот ящик, и лица у них были испуганные и злобные.

Площадь около управы была пуста, только у самой двери, настежь открытой, лежал человек, неестественно плотно прижавшись к земле. Рот у него был весь в крови.

Сысоев поднялся по лестнице. Везде было пусто, двери все открыты, как бывает, когда в квартире работают маляры.

— Если остановят, назову имя поручика Каспара.

Обойдя все комнаты и не найдя никого, он стал спускаться с лестницы, когда услышал за собой топот ног. Трое с ружьями догоняли его.

— Поручик Каспар! — сказал Сысоев.

— Стой!

— Поручик Каспар! — крикнул один из подбежавших, повернув голову к кому-то наверх.

Двое схватили его за руки, неловко и больно. Третий обшарил карманы и пазуху.

— Я хотел сделать заявление, — сказал Сысоев.

Его не слушали.

— Веди! — сказал один.

И все трое ухватились за Сысоева и, мешая ему идти, потащили его вниз. Лица у всех были растерянные и напряженные.

Вечером оставили Сысоева одного в маленьком амбарчике с дырой под потолком вместо окна.

Он сидел на земляном полу, поджав под себя свои коротенькие ноги, и думал.

Делалось что-то непонятное, какое-то непоправимое недоразумение, как бывает только во сне.

— Почему они называют меня поручик Каспар? Я отрицаю, а они переглядываются с усмешкой. А один сказал: «Все они, сволочи, таковы. Чуть припугнешь, ото всего отречется». Он на это ответил гордо: «Нет, поручик Каспар не таков». После этого они еще больше укрепились в своем заблуждении. И ему больше отрицать не хотелось. Завтра, наверное, справятся у него на квартире и все узнается. Почему не показали его сегодня кому-нибудь из арестованных каспаровцев? Они какие-то растерянные и испуганные. Один спросил: «Поручик Каспар, где у вас спрятаны деньги?» А он ответил: «Поручик Каспар никогда не был предателем». Все шло так странно, точно не на самом деле, а будто он стоит у высокого порога своей комнаты и рассказывает все это внимательно и восторженно слушающей Агнии.

— Так вот, Агния Сергеевна, как ответил на это поручик Каспар.

А она вспыхнула и шепчет — «мы» это понимаем.

Но что же делается на самом деле? Может быть, Каспара убили и труп не опознали? А потом будут говорить, что он отрекся и струсил и вел себя малодушно и гадко, вот так — сидел, поджав ноги, в амбарчике, как урод несчастный. Он погиб, а «мы», любившие его, призваны судьбой надругаться над честью и памятью его.

О том, что пропала дьяконица, ему думать не хотелось. Где-то глубоко, почти подсознательно, он знал, где она, у кого ее нужно искать, но было слишком страшно вылить это в настоящую мысль, в настоящие слова, и он притворялся, будто считает ее арестованной.

Уже дыра под крышей обозначилась яснее, опрозрачнела, а он еще не спал. Поднялся, покачался на своих коротких ногах и неуклюже-цепко полез, хватаясь за выступы бревен, к окну.

Ночь только еще переломилась. Небо мутным, матово-беловатым стеклом еще было неподвижно, не оплывалось рассветной алостью и темными, одноцветными зубцами без теней врезались в него верхушки деревьев.

Где-то за амбаром говорили голоса, но тишины ночной они не трогали. Она была сама по себе, глубокая, тихая, — замерла и не дышит.

И вдруг зашумело дерево у самого окна, задрожало, закачало веткой, и сердитый птичий голос закричал, забранился резко с почти человеческой выразительностью. Отвечал ему другой птичий голос, такой же сердитый, но как бы возражающий и оправдывающийся. Ссора продолжалась несколько минут. Потом все стихло, и только, медленно плывя по воздуху, опустилось на землю черное птичье перо да насмешливый писк с соседнего дерева три раза повторил одну и ту же фразу вопросительно и едко.

— Как чудесно все на свете! — думал Сысоев, сидя снова на полу амбарчика. Как чудесна и сладка наша земная жизнь! Вот птица — я даже и имени-то ее не знаю, и не видел ее, может, никогда, а она живет, и вот ссорится, и сердится, и все, как мы... Мало мы знаем нашу землю! Оттого и уходить с нее так трудно. Чувствует человек, что не взял, не вобрал в душу данного ему Богом сокровища и тоскует душа его неполная, несытая.

Лег на землю тихий и умиленный и приснилась ему ягодка-земляничка. Крупная, красная и говорила как деревенская девочка, тоненьким голоском на «о».

— Больно много вы ерохтитесь! Все-то целый день ерохтитесь! А я всю жизнь на одном месте стою, корешком вглубь иду, землю постигаю...

Пришли за Сысоевым опять трое, но уже не те, что взяли его. Они страшно торопились, дергались, и когда вдоль улицы протрекотал мотор, долго прислушивались. Несколько человек пробежали, стреляя. Кто-то крикнул: «Надо скорей!»

Сысоева вывели из амбарчика. Двое шли по бокам, один сзади. У всех троих в руках были ружья. У всех трех на лице одинаковый испуг, и вели Сысоева они не злобно, а даже как будто доброжелательно, и он шел покорно и просто, составляя с ними одну группу, занятую одним и тем же делом.

Вышли за амбарчик, прошли вглубь к заборам, проглянули вдоль и чего-то испугались. Испугался с ними и Сысоев, хотя не знал чего, и вместе с ними так же быстро повернул голову в сторону леса.

— Надо было прямо там же, на месте, — сказал один

из трех. — И чего выводили!
Другие кивнули головой. Кивнул и Сысоев.
Повернули опять к амбарчику и, когда уже подходили, брызнуло через березняк теплое желтое солнце, ослепило и зажмурило Сысоеву глаза.
— Сюда, к стенке, — озабоченно сказал один из трех, и это знакомое выражение всколыхнуло Сысоева.
— К стенке?
И вдруг крикнула мысль:
— Поручик Каспар умирает!
Но душа оставалась такой же покорной и умиленной, как во сне, когда говорила с нею ягодка-земляничка.
— Да, Агния Сергеевна! Поручик Каспар умер героем! Ни одна фибра его лица не дрогнула! Он гордо поднял голову и смотрел прямо на солнце! Поручик Каспар умеет умирать, и «мы» это знаем!

Он повернулся лицом к солнцу, но усталые глаза заслезились и зажмурились.
— Вот! Даже этого не могу!
Улыбнулся виновато и, прежде чем раздался выстрел, низко свесил голову на грудь.



(Рассказ петербургской дамы)

Мне удивительно везет! Если бы мои кольца не были распроданы, я бы нарочно для пробы бросила одно из них в воду, и если бы у нас еще ловили рыбу, и если бы эту рыбу давали нам есть, то я непременно нашла бы в ней брошенное кольцо. Одним словом — счастье Поликрата.
Как лучший пример необычайного везенья, расскажу вам мою историю с обыском.
К обыску, надо вам сказать, мы давно были готовы. Не потому, что чувствовали или сознавали себя преступниками, а просто потому, что всех наших знакомых уже обыскали, а чем мы хуже других.
Ждали долго — даже надоело. Дело в том, что являлись обыскивать обыкновенно ночью, часов около трех, и мы установили дежурство — одну ночь муж не спал, другую тетка, третью — я. А то неприятно, если все в постели, некому дорогих гостей встретить и занять разговором, пока все оденутся.
Ну ждали — ждали, наконец и дождались. Подкатил автомобиль. Влезло восемь человек сразу с черной и с парадной лестниц и шофер с ними.
Фонарь к лицу:
— Есть у вас разрешение носить оружие?
— Нету.
— Отчего нету?
— Оттого, что оружия нету, а из разрешения в вас палить ведь не станешь.
Подумали — согласились.
Пошли по комнатам шарить. Наши все, конечно, из постелей повылезли, лица зеленые, зубами щелкают, у мужа во рту часы забиты, у тетки в ноздре бриллиант — словом, все как полагается.
А те шарят, ищут, штыками в стулья тычут, прикладами в стену стучат. В кладовой вытащили из-под шкапа старые газеты, разрыли, а в одной из них портрет Керенского.
— Ага! Этого нам только и нужно. Будете все расстреляны.
Мы так и замерли. Стоим, молчим. Слышно только, как у мужа во рту часы тикают, да как тетка через бриллиант сопит.
Вдруг двое, что в шкап полезли, ухватили что-то и ссорятся.
— Я первый нашел.
— Нет, я. Я нащупал.
— Мало что нащупал. Нащупал, да не понюхал.
— Чего лаешься! Присоединяй вопще, там увидим.
Мы слушаем и от страха совсем пропали. Что они такое могли найти? Может быть, труп какой-нибудь туда залез?
Нет, смотрим, вынимают маленькую бутылочку, оба руками ухватили.
— Политура!
И остальные подошли, улыбаются.
Мы только переглянулись:
— И везет же нам!
Настроение сразу стало у меня такое восторженное.
— Вот что, — говорят, — мы вас сейчас арестовывать не будем, а через несколько дней.
Забрали ложки и уехали.
Через несколько дней получили повестки — явиться на допрос. И подписаны повестки фамилией «Гаврилюк».
Думали, думали мы — откуда нам эта фамилия знакома, и вспомнить не могли.
— Как будто Фенькиного жениха Гаврилюком звали, — надумалась тетка.
Мы тоже припомнили, что как будто так. Но сами себе не поверили. Не может пьяный солдат, икавший в кухне на весь коридор, оказаться в председателях какой-то важной комиссии по допросной части.
— А вдруг!.. Почем знать! И зачем мы Феньку выгнали!
Фенька была так ленива и рассеянна, что вместо конины сварила суп из теткиной шляпы. Шляпа, положим, была старая, но все-таки от конины ее еще легко можно было отличить.
Никто из нас, конечно, есть этого супа не стал. Фенька с Гаврилюком вдвоем всю миску выхлебали.
— Что-то будет!
Однако пришлось идти.
Вхожу первая. Боюсь глаза поднять.
Подняла.
— Он! Гаврилюк!
Сидит важный и курит.
— Почему, говорит, у вас портрет Керенского контрацивурилицивурилена?
Запутался, покраснел и опять начал:
— Концивугирицинера...
Покраснел весь и снова:
— Костривуцилира...
Испугалась я. Думаю, рассердится он на этом слове и велит расстрелять.
— Извините, — говорю, — товарищ, если я позволю себе прервать вашу речь. Дело в том, что эти старые газеты собирала на предмет обворота ими различных предметов при выношении, то есть, при выносьбе их на улицу бывшая наша кухарка Феня, прекрасная женщина. Очень хорошая. Даже замечательная.
Он скосил на меня подозрительно левый глаз и вдруг сконфузился.
— Вы, товарищ мадам, не беспокойтесь. Это недоразумение, и вам последствий не будет. А насчет ваших ложек, так мы растрелянным вещи не выдаем. На что расстрелянному вещи? А которые не расстреляны, так те могут жаловаться в... это самое... куды хочут.
— Да что вы, что вы, на что мне эти ложки! Я давно собираюсь пожертвовать их на нужды... государственной эпизоотии.
Когда мы вернулись домой, оказалось, что наш дворник уже и мебель нашу всю к себе переволок — никто не ждал, что мы вернемся.
Ну, не везет ли мне, как утопленнику!
Серьезно говорю — будь у меня кольцо, да проглоти его рыба, да дай мне эту рыбу съесть, уж непременно это кольцо у меня бы очутилось.
Дико везет!

Вступление и публикация Е. ТРУБИЛОВОЙ.

Фото НИКОЛАЯ КОЧНЕВА



ГОРБОВСКИЙ Глеб Яковлевич родился в 1931 году в Ленинграде. Учился в ремесленном училище, в Ленинградском полиграфическом техникуме. Сменил много профессий: работал столяром, слесарем, грузчиком, несколько лет провел в геологических экспедициях на Сахалине, Камчатке, в Якутии.
Первые стихи Г. Горбовского были опубликованы в 1955 году в волховской районной газете, первый сборник стихов «Поиски тепла» вышел в 1960 году.
Г. Горбовский — лауреат Государственной премии РСФСР, автор нескольких книг прозаических произведений, книжек стихов для детей, многочисленных песенных текстов.
Живет в Ленинграде.

ГЛЕБ ГОРБОВСКИЙ
ЧТОБ

В ТУМАНЕ

В густом «криминальном» тумане —
недвижная жизнь за окном.
Деревья, как веники в бане,
застыли в замахе парном.

Туман, как судьбы одеянье...
В гнетущей его глубине
вершатся земные деянья:
огонь исчезает в огне,

теряется мысль в размышленьях,
любовь поглощается злом.
В тумане утрат и явлений —
ноябрь за оконным стеклом.

Подняв воротник безответный,
глухой, как секретный забор,
проходит анафемски бледный
товарищ по имени Вор.

Он женщина или мужчина —
не видно, не важно... Он — мним.
И личная, сзади, машина
крадется на брюхе за ним.

* * *

Рубины тяжелеющих рябин
на золоте листвы и малахите хвои.
И солнце легкое, осеннее, кривое
над гладью Балтики восходит из глубин.

Рубины меркнут. Снег сулит Борей.
И прибавляют листья в пилотаже.
И так хотелось бы дождаться снегирей,
чтоб ярких черт прибавилось в пейзаже.

Отменный на рябину урожай.
Его достанет на зиму с лихвою —
мышам и птицам, белкам и ежам,
как в сердце — нежности,
чтоб слыть душе — живою.

ЧЕРЕЗ ТЫСЯЧУ ЛЕТ

...Но будут жить — манкурты иль мутанты, —
прогорклый пить из чаши кислород.
Мы все у бренной жизни — арестанты,
и всяк освободится, коль умрет.

Но бренное навряд ли станет бренней, —
наоборот: окрепнет, как мечта.
Деревья будут мыслить откровенней,
и четче музицировать — вода.

Железнее сумеют стать вороны,
титано-молибденней — комары,
ведь им вкушать не кровь, а электроны,
нейтронных червячков земной коры.

Что будет через тысячу столетий?
Что будет завтра, тотчас, через миг? —
не ощутит, не выразит в ответе
ни юноша, ни вызревший старик.

Грядущее маячит ложным ликом,
как в море донный риф, утеса мыс...
И лишь поэту надлежит проникнуть
и в эту даль, и в этот смутный смысл.

* * *

Желтая, в листьях, жижа —
лужа... Опавший клён.
Листья стучат о крышу,
слышу их медный звон.

Прелесть тоски, разлуки,
ветер гуляет в снах...
Радость смертельной муки
в цвете и полутонах.

* * *

Асфальт с горы — как будто лавы
иссиня-мертвенный язык...
В моей руке орел двуглавый
зажат —
его предсмертный крик! —
зелено-медный, в две копейки
достоинством...
Мой талисман.
Лишенный божеской опеки,
прибрежный стелется туман.
Предместье. Пригород.
Отрада
для скептика. Покой и ширь.
И саваном над Петроградом
хмурь прибалтийская и сырь.
Со стороны — не с расстоянья —
который год со стороны
смотрю на призрачные зданья,
взошедшие из глубины
болот
и чаяний Отчизны —
по воле Бога.
Город — в нас
сидит, холодный и лучистый,
как подсознанья «третий глаз».

СЛЫТЬ ДУШЕ — ЖИВОЮ

* * *

Предзимье. Кладбище раздето.
Умри, — свободных нету мест.
Беда: на днях с могилы деда
архаровцы стянули крест!
Не сшибли весело от скуки —
изъяли... Молча, без следа.
Переместили.
Чьи-то внуки...
Беда? Подумаешь, беда.
Оно и впрямь: ничто не вечно.
Но без креста могилы — нет.
Пришлось в подзол втыкать дощечку,
писать чернильно: здесь — мой дед.
...Уймись, печаль, накройся снегом.
Судьбу, дружок, не прокляни.
И все же, братцы, с человеком
что происходит в наши дни?
И мы гуляли не уныло,
вдрызг пропивались, до креста!
Но, чтобы так... до крестной силы,
дотла, до глубины могилы?! —
плевать в распятого Христа?
Что с нами будет, господа?

* * *

Фонарь чугунного литья,
столбы гранитные в воротах,
под дубом — врытая скамья...
И всё — отменная работа.

Остатки прелести былой,
судьбы старинной да не длинной.
Когда-то здесь гнездились финны, —
копни поглубже — там их слой.

Там их опавшие цветы.
На срезе почвы — прах конкретный:
кругляшка пуговицы медной,
со львами... лепесток слюды...

Фундаменты... Их здесь не счесть.
Торчат из-под опавших листьев.
Страна фундаментов кремнистых,
неизбле́мых, как долг и честь.

Присядем возле фонаря.
В его металле — отголосок
иссякшей готики... Обносок
эпохи Веры, Алтаря.

ДОМ У ДОРОГИ

Всю ночь на мускулах державы,
где в этот час разлита тьма,
тяжеловесные составы
колышут почву и дома.

Россия спит — режим постельный —
во тьме блуждают поезда.
И пляшут стены богадельни,
где я живу, где жду суда...

Дрожит в порожней чашке ложка,
и мысль дрожит, как на ветру, —
о том, что правда жизни ложна,
коль в этой жизни я умру.

Причуды смерти и уловки,
все закорючки бытия
не поддаются расшифровке...
Зато — грохочет колея!

ВЕТЕР С МОРЯ

Ветер с моря — усталость из сердца.
Возносящая бодрость — под плащ!
Рокот волн, как язык иноверца, —
непонятен, но свеж и манящ.

Пахнет Швецией, той стороною.
Ветер с моря... Оборвана нить.
Время — верить! Затылком, спиною,
чем угодно... Но — только не ныть.

...А назавтра уляжется ветер,
станет сердцу тесней, но теплей.
И потянет на смутном рассвете
тишиной от родимых полей.

Тишиной и господнею силой —
от кержацких могил и пустынь,
от священных развалин России,
уходящих в небесную синь...

АЗИЯ

Ослик по извилистой дорожке
мельтешит ногами, не спеша.
Азия... Во лбу змеятся рожки, —
то сайгачья стелется душа
по степи, по бархату пустыни...
Азия... Твой камнескулый лик,
речь твоя — в ней привкус зрелой дыни,
боль твоя — орла гортанный крик!
Память-боль, как плетка Чингисхана.
Обозначен ею мой удел:
узкий рот — разрез от ятагана,
дыры глаз — пробоины от стрел.
Азия, я твой... В песках песчинка.
Азия, я свой... В снегах снежинка.
Слышишь, как настой в крови кипит,
как, переплетаясь, рвутся корни,
как грохочет в сердце непокорном
стук испепеляющих копыт?!

КНИГИ ГЛЕБА ГОРБОВСКОГО

ПОИСКИ ТЕПЛА: Стихи. — Л.: Сов. писатель, 1960.
СПАСИБО, ЗЕМЛЯ: Вторая кн. стихов. — М.; Л.: Сов. писатель, 1964.
КОСЫЕ СУЧЬЯ: Третья кн. стихов. — М.; Л. Сов. писатель, 1966.
НОВОЕ ЛЕТО: Пятая кн. стихов. — Л.: Сов. писатель, 1971.
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ: Стихи. — М.: Современник, 1974. — (Новинки «Современника»).
ДОЛИНА: Стихотворения. — Л.: Сов. писатель, 1975.
СТИХОТВОРЕНИЯ. — Л.: Лениздат, 1975.
ВИДЕНИЯ НА ХОЛМАХ: Новые стихи. — М.: Мол. гвардия, 1977.
МОНОЛОГ: Стихи. — М.: Худож. лит., 1977.
КРЕПОСТЬ: Новые стихи. — Л.: Лениздат, 1979.
ВОКЗАЛ: Повести. — М.: Сов. писатель, 1980.
ИЗБРАННОЕ. — Л.: Худож. лит., Ленингр. отд-ние, 1981.
ЯВЬ: Стихи разных лет. — М.: Современник, 1981.
ЧЕРТЫ ЛИЦА: Стихотворения. — Л.: Сов. писатель, Ленингр. отд-ние, 1982.
ПЕРВЫЕ ПРОТАЛИНЫ: Повести. — Л.: Сов. писатель, Ленингр. отд-ние, 1984.
ЗВОНОК НА РАССВЕТЕ: Повести. — М.: Современник, 1985. — (Новинки «Современника»).
ЗАВЕТНОЕ СЛОВО: Новые стихи. Поэма. — Л.: Лениздат, 1985.
ОДНАЖДЫ НА ЗЕМЛЕ: Новые стихи. — М.: Мол. гвардия, 1985.
ОТРАЖЕНИЯ: Лирика. — Л.: Сов. писатель, Ленингр. отд-ние, 1986.
СТИХОТВОРЕНИЯ. — Л.: Дет. лит., Ленингр. отд-ние, 1987.
ПЛАЧ ЗА ОКНОМ: Повести. — Л.: Сов. писатель, Ленингр. отд-ние, 1989.



ЛОЩИЦ Юрий Михайлович родился в 1938 году в селе Долинское Одесской области. Окончил филологический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, член Союза писателей СССР, прозаик, поэт, публицист. Печатается с 1960 года. Сотрудничал в журналах «Вокруг света», «Детская литература», автор книг «Земля-именинница» (1979), «Слушание земли» (1988). В серии «Жизнь замечательных людей» вышли книги «Сковорода» (1972), «Гончаров» (1977), «Дмитрий Донской» (1980, 1983). Последняя переиздана в «Роман-газете» в 1989 году. В издательстве «Советский писатель» в этом году вышла первая поэтическая книга Ю. Лощица «Столица полей».

ЮРИЙ ЛОЩИЦ

Боря Татарин

В Лаптуново мы с Николаем попали уже под вечер. Деревня-невеличка, всего восемь изб, зато поставлены по-старинному, будто бабы в хороводе — лицом друг к дружке. В центре же, на площади — бескрестная деревянная часовенка, давно уже, видать, разоренная. Впрочем, дверь затворена на замок, ни одна доска от обшивки не отломана.

Огляделись повнимательней: а что, вполне ладная деревенька! Трава у домов подбрита, светлеет нежной отавкой, старые высокие березы зарумянились в предзакатном свету.

Николай быстро приглядел себе место в тени заколоченной избы, достал из рюкзака планшет с бумагой, краски, кисти и плоскую фляжку с водой. Гляжу, он уже пишет часовню.

Не стал и я терять времени. Вынул из футляра фотоаппарат, сделал несколько снимков с разной выдержкой и диафрагмой. Самая подходящая пора, тени вытягиваются, загустевают: избы и часовня не будут на снимках плоскими, отчетливей проступят в боковом подсвете все их объемы.

Когда я вернулся к Николаю, вокруг него уже собирались зрители: согбенный старик в майке с трясущимися руками и краснолицый, видать, только из бани, мужик средних лет, а на подходе был еще один любопытствующий. Вон как спешит, даже посапывает от нетерпения.

На вопрос о том, как зовется часовня, мужик, который из бани, промычал что-то невнятное, а старик подергал-подергал головой и наконец выговорил:

— Е... Е... Егорья.

А этот, что припозднился, шумно дышит, и вид у него нездешний, совсем не костромской. Еще и эта шапочка чудная на нем — с голубым целлофановым козырьком, изделие, которым торгуют на прибалтийских пляжах. Вот только загар у дяди совсем не курортный, а по-крестьянски неровный, грубый. Насупился, громко дышит, и, кажется, одно лишь неловкое наше слово, и он выкинет какую-нибудь штуку.

— А деревня красивая, — негромко, как бы для самого себя, произносит Николай.

Этого оказалось вполне достаточно.

— Но! А ты што думал! — коричневые азиатские глаза того, что в кепочке, вспыхнули какой-то яростной радостью. — Тут савсем харош! Тишина, пакой. Дача — лучше не нада. Адна только плоха — зима придет — таска! Месяц не видишь человека. Только жена видишь, карова, авечки, баранчики. Смотришь на них как в телевизор, и ани на тебя... Деньги в кармане плесенью пакрываются. А в городе — другая дела. Только в карман руку и суешь — мозоли натираешь.— Туда-сюда деньги давай. Пойди с приятелями, выпей кружечку пива, другую. Пагавари о том, о сем. Харош!.. Зачем тебе свой мед? Зачем свой агурец? Пакупай мед искусственный, агурец длинный, как калбаса...

Мы с Николаем весело переглянулись: как все отлично — и деревня, и часовня, и этот очень даже замысловатый лаптуновский философ!

— А вы, что же, не отсюда родом?

— Нет, не атсюда.

— Не из Татарии ли?

— Угу.

— Не из Казани? — уточнил Николай.

— Из Казаны... Я здесь с сорок пятого. Женился на местной, так и астался.

Он опять насупился, громко задышал. Но мы знали теперь: это он так себя готовит, должно быть, к новому философскому рассуждению. И точно.

— Странна, — мотнул он головой. — Сначала ламали. Теперь фатаграфируют. Старину изучаете? Эта харашо. Тут были у нас из Москвы, тоже фотографии делали. А вот художники еще не были. Ты — первый. Рисуй, рисуй на здоровье.

— Скоро и эту бульдозером сковырнут, — хмыкнул мужик, который из бани.

— Зачем скавырнут? — татарин свирепо округлил глаза. — Кто не строил, тот не ламай! Правильна?

И опять он повздыхал, мотнул раз-другой головою, будто бодая в воздухе неприятную ему мысль.

— Правильно-то правильно. Только у вас тут все уже наоборот: ничего не строят, лишь доламывают. Вот и хочется, чтоб документы какие-то остались, фотографии, рисунки.

— Документы? — оживился он. — Вот моя теща-покойница оставила документ. Книга такая. Все церкви Костромской губернии. Даже Никола Малый там есть. Вон он, видишь, километр атсюда... Как раз пять лет будет, как схаранили тещу. На Илью пророка... Ехали на машине с кладбища, граза пашел.

И подмигнул Николаю:

— А сегодня не дает Илья гром с молнией. Нада тебе небо чистое рисавать.

— Надо чистое, — согласился Николай. А у меня спросил:

— Успеем еще к Николе Малому сходить?

— Схадите, ребята, схадите. Красивый церковь... Я и вижу, вы люди серьезный, интересуетесь. А то скора все равно канец будет.

— В каком смысле конец, — полюбопытствовал я.

А в таком! Мне сейчас семдесят ровна. У нас тут никого нет, чтоб моложе сорока был. Скоро-скоро канец. Только хороним да хороним, никто не ражает, хуже зверей стал человек. Жить савсем разленился, ражать не любит, любить не хочет. Памрем, некому гроб скалатить будет.

Он вздохнул так шумно, будто бык ночью в стойле.

— Неужели вам уже семьдесят? — подивился я. — А на вид лет пятьдесят пять, не больше.

Право, худой, жилистый, с большими крепкими руками, он и на шестьдесят не тянул.

— С девятсот шестого, — уточнил он хмуро и вдруг, округлив глаза, швырнул вопрос неизвестно кому: — Бог есть или нет бога, а?.. Я в войну возил одного капитана. Страшна он ругался, бога все время ругал — и в мать, и в душу, и в печенку. Сели в машину, паехали — на мину наскочили. Мне сюда, — он задрал рубашку и показал на шрам чуть ниже пупка — а ему обе ножки отчикнуло. Капитан плачет, каленки руками трогает. Господи, боже мой, где мои ножки? А я за живот держусь, кричу ему: ах ты, сволочь такая, кагда в акопе сидели, как ты бога абзывал, а теперь: Господи, миленький, да?.. Эх, ребята, — он сокрушенно махнул рукой, и глаза его хищно округлились. — Я разбираюсь в человеке. Я вижу, кто серьезный, кто нет. Вайна есть вайна. Тьфу! Лучше я другое расскажу: как ездил к патриарху, кагда колокола у нас атнять кателн.

— Ну? — подивились мы. — К самому патриарху?

— Ну да. К костромскому патриарху.

Его легкие зашумели, как меха, он оглядел нас почти торжественно, и теперь стало нам понятно, что для этой именно минуты он и пришел сюда, и вот она подступает.

— В сорок пятом, как я тут поселился, церковь уже закрытый стоял, без попа. И тут костромской патриарх присылает письмо: снять с Николы Малого колокола и атвезти в его распаряжение. Колокола — двенадцать штук, самый бальшой — сто двадцать шесть пудов, так на нем и написано. Моя теща в церковной двадцатке была, приходит и говорит: Боря, мы проголосовали колокола не давать, пускай нам попа шлют, служба будет. Езжай, Боря, в Кострому, к патриарху с теткой Таисьей, уговорите его. Мы пять тысяч собрали, дорогу вам аплатим, и там, каму нада, дай деньги. Ты человек военный, все знаешь лучше нас, уговори патриарха... Ладна! Раз меня общество пасылает, раз мне даверяет, я еду. Достали мы себе в Парфентьеве камандировки, без камандировок билеты на поезд не давали, едем. Утром в Костроме сходим, прямо в канцелярию. Там такой дедушка был гарбатый, Архип, старый монах, все ему сказали. Не знаю, говорит, что у вас палучится, он человек суровый, но я про вас доложу, ждите на диванчике. Сидим, ждем, молчим. Вдруг звонок. Архип шепчет: это он, сейчас доложу ваше дело. Ждем апять. Долго ждем. Наконец, Архип нас повел к двери — вхадите. Бабка Таисья упала, как у верующих людей паложена. А я ему руку даю. Здрасьте, батюшка. И он мне — руку. Черный весь, борода черная, глаза быстрые, ух! Ну, думаю, какой ты патриарх, из тебя бы шпион харошнй вышел. А вакруг лампадки горят, и на столе лампадка. Так и так, докладываю, уполномочен просить, чтоб колокола с Николы Малого не снимали, а оставить их верующему советскому народу. Ох, какие глаза на меня сделал! Как эта, говорит, а-ста-вить? Уже вапрос решен. Ты в Москве был, Москву видел? Туда сколько иностраицев ездит? Нада в Москве аткрывать церкви, звонить в колокола... Нет, говорю, батюшка, нельзя так. В Москве сто заводов, пускай они новые колокола льют. А иам дома так сказали: мы своих мужей, своих детей для родины не пожалели, отдали, а колоколов жалко, не атдадим... Ну, ладна, говорит, вы мне колокола везите, а я вам за эта церковь аткрою, попа дам. Эх, говорю, батюшка, не харашо думаешь. Так не пайдет. Пришлешь ты нам попа, а люди станут пальцем показывать: гляди, этого попа на утиль выменяли. Нет, нам такой поп не нужен... Нахмурился. Не отдадите, говорит, колокола, я тогда вам командировку абратно не падпишу. Хе, и не нада! Он гарячий, и я гарячий! Я с адиннадцати лет в манастыре жил. Как? Нас в революцию, детдомовцев, кагда Колчак на Казань наступал, повезли в Осташков, в Ниловскую пустынь. Я пять лет в келье жил, с голоду памирал, сухари, падлецы, ходили у старых монахов воровать. А как этот патриарх жил, я не знаю. Падумаешь, камандировку не падпишет! Я сейчас пойду, мне ее в Управлении госбезопасности падпишут. И бабке Таисье тоже. Ну, ладно, говорит, идите к Архипу, пусть вас обедом пакормит. И правда, накормили — вкусно. Моиашки готовят еду. И поспали до вечера. Вечером он меня еще вызвал. Ну, говорит, не передумал? Нет, батюшка, не передумал. Мне за себя что думать? Я челавек не православный. У нас свой закон. А бог у нас и у вас адин, он все видит. Он видит, что я тоже православие приму, если колокола нам аставят... Э-э, хитрый ты, говорит, васточный человек, а нравишься мне. Ты на флоте служил? Вижу, якорь у тебя на руке, и мой сын теперь на флоте. Поговорили о морской службе, чувствую, он расстроился. Давай, говорю, батюшка, немного падаждем. Может, наши привыкнут, сами тебе эти колокола привезут, а? Сам же думаю: выиграть время, а такой патриарх у нас долго не прадержится. Властиный очень. Такого еще куда-нибудь камандовать вазьмут... Ладно, соглашается, падаждем. Так мы и вернулись домой с бабкой Таисьей. И колокола не отдали, и деньги не потратили.

— И открыли церковь вашу?

— Нет, не прислал попа. А тут скоро и его самого куда-то от нас забрали.

— И что же, колокола до сих пор висят?

— Что ты! Десять лет назад свезли их все же в Кострому. А кто защищать будет? Старый народ поумирал, а новый о другом думает: кому — мотоцикл, кому — телевизор, кто в город уехал.

Он умолк, полез в карман за пачкой «Примы», помял было в желтых пальцах сигаретку, но передумал почему-то закуривать.

— Да. А я, аднако, последним звонил в бальшой колокол. Сосед мой умер, так я как раз, когда его выносить из избы, пашел к Николе, залез наверх, ступеньки савсем уже гнилые были, и позвонил в бальшой колокол соседу на дарожку. Харош колокол, далеко слышно. А когда во все сразу — э, музыка!

Он вдруг опять насупился, как в самом начале, задышал громко, поднял на уровень лица тяжелые темные кулаки, стал их с напряжением разводить, так что и жилы вздулись на шее:

— Если ты челавек, так? то в тебе далжна быть эта... эта...

С видимым усилием подыскивал он слово:

— Что-то духовственное... Правильна?

Мы успели в тот вечер сходить к Николе Малому. Старые березы, как могли, закрывали от нас стыдный вид обворованной шатровой колокольни. А если не пялиться на нее, если и нам сделать вид, что ничего не произошло, то вечер этот, долина Печерги, эти до самого горизонта холмы и леса, облитые закатным августовским золотом, будут просто великолепны. И мы, кажется, почти расслышим, как изливаются с горы голоса колокольной семьи, — в сторону Лаптунова и Осеева, в сторону Грибанова и Василева, Парфеньева и Костромы, — над обочинами с их терпкой вечерней прохладой, над полями притихшей поклонной ржи.

„Тутотка"

Проходишь, бывало, мимо ее двора, спросишь о здоровье. Жалуется баба Нюра, на голову показывает:

— Болит ноне ту́тотка.

Вместо того, чтобы сказать «тут» или «здесь», она то и дело применяет это свое **тутотка.** С непривычки так озадачишься, что и не сообразишь, как его и записать-то правильно, за-

нятное словцо — сплошняком или аразбив: тут-от-ка... Свое тутотка баба Нюра в разговоре то и дело чередует, по мере надобности, с тáмотка.

— У нас тутотка церькву после войны нарушили. А за речкой? Тамотка у них до войны еще нарушена... В Пеньях, говоришь? В Пеньях да-аано нарушена, уж и не скажу точно, когда было. И думать неча. В Елизарове — тамотка до колхозов еще обе церьквы нарушены. Была и в Перемилове церьква, как у нас тутотка, деревянная, да кумполом а сруб провалилася, как прогнила крыша-та... И в Нестерове иарушили, и в Симе, и в Дмитровском погосте тож... Куды было податься-то? Мы с мамой наладились иа праздники в Переславль ходить, сорок верст пешего ходу. Обувку-ту берегли, босые бегали, так-то скорей. Выстоишь службу да назад сорок. А в одне сутки управлялись. На больше-то отлучиться нельзя, детишки тутотка, скотииа, колхоз.

Она и а нынешние свои старые годы с весны до осени ходит по деревне и в лес за хворостом босоножкой. Крупная, крепко сбитая, круглолицая, с чуть вытаращенными глазами, не ходит, а катится колобком, руки за спину, еле-еле их там сводит друг с дружкой над крутыми боками. Старухой, а тем паче старушкой ее звать как бы не по чину. Баба и все тут. Ее и внучки из заречного села так зовут: баба Нюра.

Загадывал я: вот приедем на следующий год, все лето ей одной посвящу — пожертвую для бабы Нюры рыбалкой и грибами. По пятам буду за ней ходить, как аккуратный Эккерман ходил за своим Гете, записывал любое словцо веймарского оракула. Да что там! Баба Нюра может задать работку целой дюжине таких Эккерманов. Пусть хотя бы разберутся с одним всего-навсего ее глаголом «иарушить», который она использует и по отношению к взорваиной церкви и по отношению к козе, которую давеча водила в Нестерово, чтобы пеструху нам козел нарушил. Впрочем, этот же глагол употребляется ею еще во миожестве разных смыслов, самых иногда неожиданных.

Словесное искусство бабы Нюры способио нарушить покой любого маститого учеиого-языковеда, если только он не погнушается прислушаться к такому ее коронному средству, — несущему а жизни этой одинокой старухи поистине громадную смысловую нагрузку, — каким является крепкое русское словцо.

О, тут баба Нюра, невинная душа, откроет перед ошалелым слушателем целый материк словотворчества, такими одарит его перлами, что хоть... Рука уже тянется написать: «хоть святых выноси». Да нет же! В ее самобытнейшей матерщине ну ничегошеньки не углядишь грязного, святотатственного или циничного, и думаю, баба Нюра глаза вытаращит, если заявить ей, что она, безобразница, сквернословит.

Если, к примеру, она прикрикнет на ту же свою козу, запороашуюся а грядки, то а окрике ее интересна будет, конечно, не первая часть, состоящая в упоминаиии женщииы легкого поведения, а прибавка «кобыла моргóтиая». Ну, согласитесь же, вы никогда не слышали и даже не подозревали о существовании фантастической «морготной» кобылы. Ей-ей, слушая, как баба Нюра благодушно честит свою проржору-пеструху, я горжусь, что это сделано в СССР. И не просто а СССР, а именно в Чернокулове. На такого рода изречениях не мешало бы ставить личное клеймо мастера: баба Нюра.

Или вот: остановились у нее в избе на полмесяца трое командированных мужчин из Владимира — археолог и два полеаых рабочих. Не успел чернобородый, в белой льняиой кепчонке, глава команды, увести своих подопечных на первую разведку окрестностей, как баба Нюра уже докладывает соседкам:

— Пожаловал ко мне тутотка... хеолог какой-то. Право слово, хеолог — вся харя зарослянá и в кепке мундянóй.

И при этом, я уверен, она вполне мирно настроена по отношению к «заросляному» археологу, иначе бы отказала ему в постое.

Кто только не останавливался, кто лишь не ночевал в ее избенке в разные года и во всякие времена года, пристраиваясь то иа лавке, то на кровати, то на полу, то а чуланке, то на сеннике. Каких только загадочных гостей и гостий не умещало под своим драночным кровом нехитрое бабы-Нюрино избенцо. Как-то года на два, не менее того, чердак ее дома уютил несколько досок, затащенных сюда сердобольным собирателем всяческого беспризорного деревенского антиквариата. Доски те были с самым что ни на есть третьесортным, а академической масляной технике, церковным художеством. Откуда было догадаться бабе Нюре, что чердачные гостьи эти, под шелест дождей, под метельные взвывы грезят о запредельной Флоренции, о сияющем а ночи Париже. И ие чудо ли: они грезили не напрасно! Сменив чердачный закут на светлую келью реставрационной мастерской, оказавшись в руках опытнейших мастеров, которые разглядели под слоем академической коросты сияние первородных древиих красок, эти лики, рожденные ановь для великого служения, побывали, как бы снисходя к любопытству Европы, и иа флорентийских, и на парижских вернисажах. И произошло ведь это еще при ее жизни, и мы, приехав в очередной раз на лето, ей про ту международную славу поведали. Да только баба Нюра об иконах чердачных уже не помнила. Каких лишь подробностей не подсказывали ей, ни за что не хотела вспомнить. Да и нас она, как почти тут же выяснилось, совсем теперь не помнила.

— Не знаю вас, — отмахнулась рукой. — И думать неча.

— Анна Михайлоана, голубушка, мы ведь с вами лет семь уже, как знакомы.

— Не зиаю, — повторила она упрямо. — И думать неча.

Отвернулась и, заложиа руки за спину, пошуршала босыми пятками по траве.

И сколько раз потом, в течение лета, ни видели ее, одну или в обществе старух-подружек, она, бывало, постоит-постоит, переминаясь с ноги на ногу, послушает-послушает молча, а потом зевнет, махнет рукой:

— И думать неча.

И поплывет-покатится, куда подскажет ей новое бездумное житье. Отстаньте, мол, не хочу более никого помнить, ни о ком думать. Даже ругаться забыла.

Говорят, это случилось с ней нынешней зимой, когда осталась тут одна на все дома. В тихом помешательстве бабы Нюры мне виделся укор всему свету, всем-всем, кто забыл о ее существовании, ни разу за зиму не навестил, не приветил разговором, не порадовал посылочкой с гостинцем к празднику.

После этого лета ее забрала к себе дочь, что живет в заречном селе, в двух километрах от Чернокулова. Как-то в декабре баба Нюра выскочила из зятьевой избы на двор и, что было прыти а ее крепком, еще неизношенном теле, понеслась босоногая в стороиу реки — в сторону своего дома. Значит, не все она забыла, не обо всем перестала думать? За ней гнались зять и внучки — дочь была на ферме, нагнали почти у реки и с великим трудом, со слезами и криком остановили, уговорили вернуться. С того дня она слегла и по весне умерла.

Хороиили ее на старинном сельском кладбище, заросшем с трех сторон лесом. Тут, говорят, был когда-то женский монастырь, но никаких следов строеиий теперь не видио. Одно только есть свидетельство древности погоста — белый, в крапиивах празелени надгробный камень-известняк, с неразличимыми уже резными буквами славянского уставного письма. Камеиь лежит обочь безымянного бугорка, неловко накрениашись. Не на одной, видать, могилке успел ои полежать, пока, наконец, притулился тут. Даже странно как-то, что этот камень до сих пор никем не нарушен.

НЕОЖИДАННЫЙ ОППОНЕНТ

Статья В. И. Ленина «Партийная организация и партийная литература» слишком хорошо известна, чтобы ее представлять. Впервые она была опубликована в газете «Новая жизнь» 13(26) ноября 1905 года. Ленин выдвинул принципиальное и новое в марксистской идеологии положение, что «литературное дело должно стать *частью* общепролетарского дела, «колесиком и винтиком» одного-единого, великого социал-демократического механизма, приводимого в движение всем сознательным авангардом всего рабочего класса».
Взгляды Ленина на литературу были поддержаны А. Луначарским («Задачи социал-демократического художественного творчества», 1907) и М. Горьким («Сборник пролетарских писателей», 1914, предисловие). Однако появился и ряд критических возражений со стороны видных деятелей тогдашней русской культуры, которые долгое время в нашей официальной терминологии именовались «сторонниками буржуазного индивидуализма».
Одно из таких выступлений — статья В. Брюсова, уже тогда маститого поэта, литературоведа и критика, опубликованная в 1905 году в № 11 журнала «Весы». Издавался он в Москве в 1904-09 годах, редактором по сути был сам В. Я. Брюсов. Издание считалось органом символистов, но на самом деле оказывалось, конечно, гораздо шире этих рамок.
Статья В. Брюсова с критикой литературных положений Ленина не получила заметного отклика в тогдашней печати. После Октября Брюсов не перепечатывал ее, хотя публиковался много и свободно. Ни разу не переиздавалась статья и в посмертных сборниках поэта.
Единственная пока обнаруженная перепечатка данной статьи В. Брюсова имеется в книге поэта и литературоведа Виссариона Саянова «Очерки по истории русской поэзии XX века» (Издательство «Красная газета», Л., 1929).

Ленину нельзя отказать в смелости: он идет до крайних выводов из своей мысли; но меньше всего в его словах истинной любви к свободе. Свободная (внеклассовая) литература для него — отдаленный идеал, который может быть осуществлен только в социалистическом обществе будущего. Пока же «лицемерно свободной, а на деле связанной с буржуазией литературе» Ленин противопоставляет «открыто связанную с пролетариатом литературу». Он называет эту последнюю «действительно свободной», но совершенно произвольно. По точному смыслу его определений обе литературы не свободны. Первая тайно связана с буржуазией, вторая — открыто — с пролетариатом. Преимущество второй можно видеть в более откровенном признании своего рабства, а не в большей свободе. Современная литература в представлении Ленина на службе «у денежного мешка», партийная литература будет «колесиком и винтиком» «общепролетарского дела». Но если мы и согласимся, что общепролетарское дело — дело справедливое, а денежный мешок — это нечто постыдное, разве это изменит степень зависимости? Раб мудрого Платона все-таки был рабом, а не свободным человеком.

Однако, возразят мне, та свобода слова (пусть еще не полная, пусть вновь урезанная), которой мы сейчас пользуемся в России, или, по крайней мере, пользовались некоторое время, была достигнута не чем иным, как энергией «росс. с.-д. раб. партии». Не стану спорить, воздам должное этой энергии. Скажу больше: в истории можно подыскать только один пример, напоминающий наши октябрьские события: это отход плебеев на Священную гору. Вот истинно первая «всеобщая забастовка», на тысячелетия предварившая подобные попытки в Бельгии, Голландии, Швеции. Но, признав всю благодеятельность пережитого нами события, неужели я должен поэтому самому отказаться от критического отношения к нему? Это было бы все равно, как никто из благодарности к Гуттенбергу, изобретшему книгопечатанье, не смел находить недостатков в его изобретении. Мы не можем не видеть, что с.-д. добивались свободы исключительно для себя, и что партиям, стоявшим вне их партии, крохи свобод достались случайно — на время, пока грозное «долой» не имеет еще значения эдикта. Слова с.-д-ов о всеобщей свободе — тоже «лицемерие», и мы, писатели беспартийные, тоже должны сорвать «фальшивые вывески».

Свободе слова Ленин противопоставляет свободу союзов и грозит писателям беспартийным исключением из партии, «волен прогнать таких членов, которые пользуются фирмой партии для проповеди антипартийных взглядов». Что это значит? Странно было бы трактовать это в том смысле, что писателям, пишущим *против* с.-д-ии, не будут предоставлены страницы с.-д-их изданий. Для этого не надо создавать «партийной литературы». Предлагая только выдержанность в журналах и газетах, смешно было бы восклицать, как это делает Ленин: «За работу же, товарищи, перед нами трудная и новая, но великая и благородная задача...». Ведь теперь, когда «новая и благородная задача» еще не решена, писателю-«декаденту» не приходит в голову предлагать свои стихи в «Русский вестник»[1], а поэты «Русского богатства»[2] не имеют притязаний, чтобы их печатали в «Северных цветах»[3]. Нет сомнения, что угроза Ленина «прогнать» имеет иной, более обширный смысл. Речь идет о гораздо большем: *утверждаются положения с.-д. доктрины, как заповеди, против которой не позволены (членам партии) никакие возражения.*

Ленин готов предоставить право «кричать, врать и писать что угодно», но за дверью. Он требует расторгать союз с людьми, «говорящими что-то не так». Итак, есть слова, которые запрещено говорить. «Партия есть добровольный союз, который неминуемо распался бы, если бы он не очищал себя от членов, которые проповедуют антипартийные взгляды». Итак, есть взгляды, которые высказывать запрещается. «Свобода мысли и свобода критики внутри партии никогда не заставят нас забыть о свободе группировок людей в вольные союзы». Иначе говоря, с.-д. партии дозволяется лишь критика частных случаев, отдельных сторон доктрины, но они не могут критически относиться к самим устоям доктрины. Тех, кто отваживается на это, надо «прогнать». В этом решении — фанатизм людей, не допускающих мысли, что их убеждения могут быть ложны. Отсюда — один шаг до заявления халифа Омара: «Книги, содержащие то же, что Коран — лишние, а содержащие иное — вредны»[1].

Почему, однако, осуществленная таким способом партийная литература именуется истинно свободной? Много ли отличается новый цензурный закон, вводимый с.-д-ой партией, от старого, царившего у нас до последнего времени? При господстве старой цензуры допускалась критика отдельных сторон господствующего строя, но воспрещалась критика его основоположений. В подобном же положении остается и свобода слова внутри с.-д-ой партии. Разумеется, пока несогласным с такой тиранией предоставляется возможность перейти в другие партии. Но и при прежнем строе у писателей — протестантов оставалась такая возможность: уехать, подобно Герцену, за рубеж. Однако, как у старого солдата в ранце есть маршальский жезл, так и каждая политическая партия мечтает стать единственной в стране, отождествлять себя с народом. Более, чем другие, надеется на это партия социал-демократическая. Т. о., угроза изгнания из партии является, в сущности, угрозой извержения из народа. При господстве старого строя писатели, восстававшие на его основы, ссылались, смотря по степени «радикализма» в их писаниях, в места отдаленные и не столь отдаленные. Новый строй грозит писателям-«радикалам» гораздо большим: изгнанием за пределы общества, ссылкой на Сахалин одиночества.

Екатерина II определяет свободу так: «Свобода есть

возможность делать все, что законы позволяют». С.-д-ты дают сходное определение: «Свобода слова есть возможность говорить все, что согласно с принципами социал-демократии». Такая свобода не может удовлетворить нас, тех, кого Ленин презрительно обзывает «гг. буржуазные индивидуалисты и сверхчеловеки». Для нас такая свобода кажется лишь сменой старых цепей на новые. Пусть прежде писатели были закованы в кандалы, а теперь им предлагают связать руки мягкими пеньковыми веревками, но свободен лишь тот, на ком нет даже оков из роз и лилий. «Долой писателей беспартийных!» — восклицает Ленин. Следовательно, беспартийность, т. е. свободомыслие есть уже преступление. Ты должен принадлежать партии (к нашей или, по крайней мере, к официальной оппозиции), иначе — «долой тебя!» Но в нашем представлении, свобода слова неразрывно связана со свободой суждения и уважением к чужому убеждению. Для нас дороже всего свобода исканий, хотя бы она и привела к крушению всех наших верований и идеалов. Где нет уважения к мнению другого, где ему только надменно предоставляют возможность «врать», не желая слушать, там свобода — фикция.

«Свободны ли вы от вашего издателя, г-н писатель, от вашей буржуазной публики, которая требует от вас порнографий?» — спрашивает Ленин. Я думаю, что на этот вопрос не один кто-нибудь, а многие твердо и смело ответят: «Да, мы свободны». Разве Артюр Рембо не писал своих произведений, когда у него не было никакого издателя, ни буржуазного и ни не-буржуазного и никакой публики, которая могла бы потребовать у него порнографии или чего-либо другого? Или разве не писал П. Гоген своих картин, которые упорно отвергались разными жюри и не находили себе до самой смерти художника никаких покупателей? И разве целый ряд других работников нового искусства не отстаивал своих идеалов вопреки полному пренебрежению со стороны всех классов общества. Заметим, кстати, что работники эти были вовсе не из числа «обеспеченных буржуа», а нередко должны были, как тот же Рембо, как тот же Гоген, терпеть голод и бесприютность.

По-видимому, Ленин судит по тем образчикам писателей-ремесленников, которых он, может быть, встречал в редакциях либеральных журналов. Ему должно узнать, что рядом встала целая школа, выросло новое, иное поколение писателей — художников, тех самых, которых он, не зная их, называет насмешливым именем «сверхчеловеков». Для этих писателей — поверьте нам — склад буржуазного общества более ненавистен, чем вам. В своих стихах они заклеймили этот строй, «позорно-мелочный, неправый, некрасивый», этих «современных человечков», этих «гномов». Всю свою задачу они поставили в том, чтобы и в буржуазном обществе добиться «абсолютной» свободы творчества. И пока вы и ваши идеалы идете походом против существующего, «неправого» и «некрасивого» строя, мы готовы быть с вами, мы — ваши союзники. Но как только вы заносите руку на самую свободу убеждений — так тотчас мы покидаем ваши знамена. «Коран социал-демократии» столь же чужд нам, как и «коран самодержавия» (выражение Тютчева). И поскольку вы требуете веры в готовые формулы, поскольку вы считаете, что истины уже нечего искать, ибо она у вас, — вы враги прогресса, вы наши враги.

[1] «Русский вестник» — журнал консервативного направления, издававшийся в Москве М. Н. Катковым с 1856 года. С 1902 года выходил в Петербурге до конца 1906 года, но прежнего влияния в обществе не имел.

[2] «Русское богатство» — популярный журнал либерально-народнического направления (1876—1918), основателями были В. Гаршин, А. Скабичевский, Л. Трефолев, Г. Успенский.

[3] «Северные цветы» — непериодический литературный альманах, издававшийся под фактической редакцией В. Брюсова в 1901—05 годах.

[4] Халиф Омар — Омар ибн аль-Хаттаб Первый (591—644), один из ближайших сподвижников Мухаммеда, один из вождей арабских завоеваний. С ним связана историческая легенда: при захвате Александрии возник пожар в знаменитой на весь античный мир библиотеке. Когда у Халифа спросили, тушить ли огонь, он будто бы и произнес свою знаменитую фразу.

Предисловие и примечания С. СЕМАНОВА.

ЖИВОЙ ИСТОЧНИК

Эта книга — лишнее подтверждение тому, что различные стороны жизни русского крестьянства для непредвзятого исследователя невозможно изучать вне содержательно-смыслового наполнения понятия «лад». И если Василия Белова критика не однажды упрекала за то, что у него получился не столько «лад», сколько «лак», то эта работа новосибирского историка, можно сказать, научно подкрепляет правоту поэтически-ностальгического чувства писателя, ибо основывается на документах эпохи, на уникальных источниках — крестьянских письмах и мемуарах. Они-то и подтверждают, что «отечество, родина, «общество» (община), деревня, дом, семья — коренные понятия крестьянского сознания и уклада бытия — «лада». Того самого «лада», в котором находилось место не только будням, но и праздникам, не только пользе, но и красоте.

Крестьянские радости и скорби, будни и праздники — это старина, действительно, живая, источник, способный даровать современному человеку силы для нравственного очищения и душевного оздоровления. И когда в очередной раз приходится читать заявления о дикости, косности, рабстве русского народа, неважно чем продиктованные — безграмотностью, недоумием или бесстыдством, то как не вспомнить слова Достоевского из «Дневника писателя» о демократах, переродившихся в брезгливых аристократов, которые, обличая в народе темное, «осмеяли и все светлое, и даже так можно сказать, что в светлом-то они и усмотрели темное».

Л. МЕШКОВА

Миненко Н. А. ЖИВАЯ СТАРИНА: Будни и праздники сибирской деревни в XVIII — первой половине XIX в. — Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1989. — (Серия «Страницы истории нашей Родины».)

СТОЛЬНЫЙ ГРАД СИБИРИ

Так именовали Тобольск в пору его расцвета, в XVIII веке. Немало способствовал этому знаменитый тоболяк Семен Ремезов, всю жизнь трудившийся «ко утешней всенародной пользе», чьими усилиями в XVII веке был заложен на месте деревянного «град каменный». А сердце града — тобольский, единственный за Уралом кремль, белеющий на высоких Алафеевских горах, поражал воображение людское во все последующие времена. И хотя в начале прошлого века, когда резиденцией генерал-губернаторов Западной Сибири стал Омск и значение Тобольска уменьшилось, с историей этого города связано множество замечательных российских имен. Ершов, автор «Конька-Горбунка», композитор Алябьев, историк Словцов, декабристы, среди которых Фонвизин, Кюхельбекер, Батеньков, выдающийся ученый Менделеев, Достоевский, Чернышевский, Короленко, — все они были связаны с Тобольском, кто рождением, кто судьбой. И пусть большинство из них оказалось там не по своей воле, а на поселении, в ссылке или пройдя через Тобольский острог, именно эти люди создавали в городе атмосферу, необыкновенную притягательность которой отмечали многие.

Знакомясь с краеведческими изданиями, подобными «Тобольскому музею-заповеднику», утверждаешься в мысли, что в истории города, края отражается, да и не может не отразиться, история державы. И чтобы глубже постигать ее пути, необходимо вчитываться в смысл отражений. Так, к примеру, нарождавшемуся Тобольску, далеко отстоящему от Непрядвы, основанному спустя более двухсот лет после Куликовской битвы, выпала роль одержать на Иртыше, на Княжем лугу окончательную победу в битве с последним чингисидом ханом Кучумом.

Достоинство этой книги видится в том, что автор параллельно ведет повествование о вехах истории города, о коренных жителях Сибири, о землевладельцах, ремесленниках, охотниках и — судьбах выдающихся людей, чья жизнь и деятельность была связана с ним. Наложение конкретной судьбы на историко-краеведческий рассказ придает ему живость, углубляет саму тему.

М. ЛИДИНА

Надточий Ю. С. ТОБОЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК. — Свердловск: Средне-Уральское кн. изд-во, 1988.

Письмо Михаила Шолохова Сталину. 1932 год. на стр. 68.

Судьба Михаила Дмитриевича Каратеева (1904-1978) драматична даже на фоне той общей драмы, какую переживала вдали от России литература первой эмиграции.

Пройдя общие для всех этапы хождения по мукам, через испытания гражданской войны, неустроенности и бедствий, сменив ряд профессий (об этом его очерки «Парагвайская надежда» и «На рудниках Боливии»), он обрел себя как писатель-историк, глубоко и плодотворно разрабатывая тему исторического прошлого. Эта грандиозная тема прослеживается им в пяти книгах эпопеи «Русь и Орда»: «Ярлык великого хана» (1958), «Карач-Мурза» (1962), «Богатыри проснулись» (1963), «Железный хромец» (1967), «Возвращение» (1967). Распри русских князей в первой половине XIV века под татаро-монгольским гнетом, борьба Дмитрия Донского за объединение Руси, увенчавшаяся исторической Куликовской битвой, нашествие Тимура, битвы Польско-Литовского государства с Тевтонским орденом — таковы вкратце вехи романов М. Каратеева.

Нельзя сказать, чтобы талант Каратеева не был замечен в Русском Зарубежье. Сошлюсь хотя бы на отзыв такого авторитетного литератора, как Ю. Терапиано, который писал в 1963 году в парижской газете «Русская мысль»: «Литературный талант удачно сочетается у М. Каратеева со знанием истории, поэтому и все действующие лица его романов — исторические и вымышленные — у него по-настоящему живы, праадивы, а в историческом романе, как в художественном произведении, важна не только историческая, но и психологическая правда». И все же, находясь вдалеке от главных литературных центров русской эмиграции, М. Каратеев был вынужден издавать свои без преувеличения замечательные книги за собственный счет, тиражом в 500-1000 экземпляров.

Особое место в наследии М. Каратеева занимают сборники исторических очерков — «Из нашего прошлого» (1968) и «Арабески истории» (1971). Их патриотическая одушевленность, глубочайшее знание истории, широта и непредвзятость подхода к самым сложным вопросам нашего прошлого, кажется, не имеют аналогов в отечественной литературе XX века. В нашем прошлом, во многом, и разгадка нашего будущего. Вот почему очерки, собранные М. Каратеевым в книге «Из нашего прошлого» и предлагаемые читателю, несут не только огромный познавательный, но и поучительный опыт.

ОЛЕГ МИХАЙЛОВ

МИХАИЛ КАРАТЕЕВ

НОРМАНСКАЯ БОЛЕЗНЬ В РУССКОЙ ИСТОРИИ

«Кто самого себя не уважает, того, без сомнения, и другие уважать не будут».

Н. Карамзин

Норманизмом в русской историографии называется то ее направление, в основу которого положена гипотеза о скандинавском происхождении российской государственности. Эта более чем шаткая гипотеза выдается норманистами за непреложный факт, оказавший, будто бы, огромное влияние на культуру, общественное развитие и даже на язык восточных славян.

Может быть, не все защитники норманской теории отдают себе в этом отчет, но по существу она покоится на чисто русофобском фундаменте, ибо под всей словесной шелухой тут лежит совершенно определенная политическая идея: утверждение неполноценности русского народа и его неспособности самостоятельно создать и развивать свою государственность. Были, мол, орды грязных дикарей, которые неизвестно откуда взялись, как народ не имели даже своего имени, платили дань — кто варягам, а кто хозарам, жили по-звериному и резали друг друга, пока не догадались поклониться немцам, которые прислали им своих князей, навели порядок, дали им имя Русь и научили жить по-людски. Историк М. Погодин дошел до того, что даже принятие Русью христианства считал заслугой норманов, а «Русскую Правду» Ярослава Мудрого называл «памятником норманского происхождения».

Таким началом своего исторического бытия мы, как известно, обязаны немцам Фридриху Миллеру, Готлибу Байеру и Августу Шлецеру, которые, через прорубленное Петром Первым «окно в Европу», попали в Петербургскую Академию Наук и ревностно занялись «родной» русской историей.

Она еще не была написана, — предварительно нужно было собрать, изучить и систематизировать подсобные материалы: русские летописи, хроники соседних народов, свидетельства древних авторов, писавших о Руси, и множество иных документов. За это взялся в первой половине 18 столетия русский историк В. Н. Татищев. Человек чрезвычайно добросовестный, он много лет потратил на поиски и исследованье первоисточников, — в особенности летописей, хранившихся во всевозможных монастырях, — и потому труд его подвигался медленно.

Немецкие академики утруждать себя подобной работой не стали. Они сразу взяли быка за рога, и вскоре «русская история» была у них готова. На основании совершенно недостаточных, сомнительных и непроверенных данных, пополненных натяжками и домыслами, игнорируя одни русские летописи и неправильно истолковав другие, — они объявили князя Рюрика скандинавским немцем и основоположником русской государственности, хотя имелось немало своих и иностранных исторических источников, которые явно противоречили этому утверждению и проливали свет на более древние периоды и события русской истории.

Так, например, древнейшая новгородская летопись епископа Иоакима, найденная Татищевым, говорит совершенно определенно, что Рюрик был внуком новгородского князя Гостомысла, а в киевской летописи Нестора, — на которой базировались академики, — по поводу призвания варягов сказано: «звахуся те варязи русью, како другие зовуться свеи, нормане, англяне и геты». Иными словами, Нестор с предельной ясностью говорит, что скандинавами они не были и что варягами в то время назывались на Руси многие народы самого разнообразного происхождения. Однако, вопреки этому, Рюрика сделали норманом, а Иоакимовскую летопись, — убийственную для норманской доктрины, — объявили фальшивой.

История этой летописи такова: ее список, — по-видимому единственный сохранившийся и неполный, — Татищев получил в 1748 году от Мельхиседека Борщева, игумена Бизюкинского[1] монастыря. Сняв с летописи копию, он возвратил ее в монастырь, где она несколько позже сгорела при общем пожаре. Это дало академикам повод объявить Иоакимовскую летопись подделкой игумена Мельхиседека или самого Татищева. Но игумен совершенно историей не интересовался и, судя по запискам Татищева, вообще был человеком необразованным, а Татищев не имел ни малейшей надобности прибегать к подобным подделкам, ибо в его время никаких споров не было, — полемика началась через двадцать лет после его смерти, с появлением «трудов» Шлецера и Миллера.

Таким образом, норманисты обеспечили себе и своим последователям возможность игнорировать самое важное свидетельство существования древне-новгородского государства. Сказками и вымыслом были объявлены и все сведенья о древне-Киевской Руси, невзирая на то, что и Нестор и целый ряд польских хронистов[2], труды которых были академикам известны, — утверждают, что в Киеве задолго до призвания Рюрика уже вполне сложилась своя собственная государственность и в течение трех веков правила династия чисто русских князей, потомков Кия.

Благодаря тому же «окну», зерно норманизма упало на благодатную почву: теорию «русских» академиков подхватили и разработали историки Готфильд Шриттер, Эрих Тунман, Иоганн Круг, Фридрих Крузе, Христиан Шлецер, Мартин фон Френ, Штрубе и т. п. Разумеется, она получила полное одобрение и поддержку президентов и вице-президентов Академии Наук, гг. Блюментроста, Кайзерлинга, Корфа, Таубарта и Шумахера. Надо полагать, что очень довольны ею остались сменяющие друг друга временщики — Бирон, Миних и Остерман, да и сама матушка Екатерина, — урожденная принцесса Ангальт фон Цербст, — при таких «исторических» предпосылках чувствовала себя на русском престоле более уютно.

Однако, русские академики (в небольшом количестве были и таковые в русской Академии Наук) — Ломоносов, Тредьяковский, Крашенинников и Попов, — горячо протестовали против этих оскорбительных для России измышлений. Когда Миллер на торжественном заседании Академии прочел свой труд «О происхождении народа и имени российского», они с возмущением заявили, что автор «ни одного случая не показал к славе российского народа, а только упоминал о том, что к его бесчестию служить может». Ломоносов после этого писал: «Сие есть так чудно, что если бы господин Миллер лучше изобразить умел, он бы россиян сделал столь убогим народом, каким еще ни один самый подлый народ ни от какого историка представлен».

Основываясь на древних источниках, Ломоносов доказывал, что к моменту правления Рюрика Русь уже насчитывала много веков своей собственной, славянской государственности и культуры.

Еще большего внимания заслуживает выступление Тредьяковского: в изданном им труде «Рассуждение о первоначалии россов и о варягах-русах славянского звания, рода и языка», — он обнаружил большую эрудицию и в частности утверждал, что Рюрик и его братья были прибалтийскими славянами, выходцами с острова Рюгена, что позже нашло некоторые подтверждения в трудах других исследователей-антинорманистов.

Эти выступления русских ученых имели временный успех: Миллер был лишен звания академика, а уже напечатанный труд его уничтожили. Но его измышления оказались слишком выгодными для многих сильных мира сего: очень скоро он был прощен и восстановлен

---

[1] Села Бизюкино, Алексинского уезда Тульской губернии.
[2] Ян Длугош, Матвей Меховский, Мартин Бельский, Бернард Ваповский и др.

в звании. Его «труд» несколько лет спустя был издан на немецком языке в Германии, а позже снова просунут в официальную русскую историю.

Норманская доктрина восторжествовала: она была признана правильной и научно вполне обоснованной. С той поры все работы историков, которые ей противоречили, рассматривались как проявление назойливого невежества в науке и встречали со стороны Академии пренебрежительное отношение, а иногда и нечто похожее на окрики, — этим особенно отличался Шлецер. Замечательный труд С. Гедеонова «Варяги и Русь», совершенно разбивающий норманскую гипотезу, испортил ему служебную карьеру.

Богатые и материально независимые люди у нас историей, к сожалению, не занимались, а те, кто избрал ее своей служебной профессией, не могли, конечно, вступать в идеологический конфликт с министерством просвещения и с Академией Наук. До самой революции каждый русский историк, если он хотел преуспевать и получить профессорскую кафедру, должен был придерживаться доктрины норманизма, что бы он в душе ни думал. Наглядным примером такой вынужденной двойственности может служить Д. И. Иловайский: в своих «частных» трудах он был ярым антинорманистом, а в написанных им казенных учебниках проводил взгляды Байера, Шлецера и иже с ними.

* * *

Читателя, может быть, удивит то, что эта унизительная для русского национального достоинства теория не встретила в верхах нашего культурного общества никаких протестов. Но это тоже имеет свое историческое объяснение. Почва и все условия для пышного расцвета норманизма были подготовлены на Руси задолго до эпохи немецкого засилия.

Еще в конце пятнадцатого столетия у великих князей Московских, уже начавших титуловать себя царями, возникла чисто политическая необходимость официально возвысить свой род в глазах европейских монархов. Это было вызвано следующими обстоятельствами: в 1453 году турки сокрушили Византийскую империю, а девятнадцать лет спустя великий князь Иван Третий женился на племяннице последнего императора Зое (Софье) Палеолог и в качестве русского государственного герба принял римско-византийского двуглавого орла. С этого момента в Кремле возникает и провозглашается идея: «Москва — Третий Рим, а четвертому не бывать». Иными словами, Москва объявила себя прямой наследницей и преемницей Византии, которая была оплотом православия и восточно-европейской культуры. Московским государям надо было чем-то обосновать свои права на такую преемственность и в то же время утвердить за собой царский титул, которого никак не желали признавать за ними другие монархи.

В соответствии с этим, опальный митрополит Спиридон, — известный на Руси как широко образованный человек и духовный писатель, — получил от великого князя Василия Третьего задание: разработать соответствующим образом родословную Московской династии.

Спиридон это поручение выполнил. Вскоре появился его труд, озаглавленный «Посланием», в котором он взял отправной точкой всемирный потоп: от Ноя вывел родословную египетского фараона «Сеостра» (Сезостриса), а прямым потомком этого фараона сделал римского императора Августа. У Августа, по Спиридону, оказался родной брат Прус, получивший, будто бы, во владение область реки Вислы, которая, по его имени, стала с тех пор называться Прусской землей. По прямой линии от Пруса Спиридон вывел род Рюрика и в результате всех этих «генеалогических» построений оказалось, что «государей Московских поколенство и начаток идет от Сеостра, первого царя Египту, и от Августа кесаря и царя, сей же Август пооблада вселенною. И сея от сих известна суть».

Интересно отметить, что в том же «Послании» Спиридон выводит родословную Литовских князей, но их, наоборот, старается всячески принизить. Причина этого понятна: Литва являлась главной соперницей Москвы, — под ее властью находились обширные искони русские территории, до Смоленской, Черниговской и Орловской областей включительно. Европейскому общественному мнению надо было доказать, что литовские князья никаких прав на эти земли не имеют, а для большей убедительности было взято под сомнение и самое право их на княжеский титул. Сообразно этому, Спиридон пишет, что род их идет от «некоего Гегеминика» (Гедимина), бывшего в молодости конюхом у князя Витена, который, в свою очередь, был подручным Смоленского князя Ростислава Михайловича. До власти Гедимин, будто бы, добрался всякими козиями и хитростями, князем же начал титуловаться только сын его Ольгерд, после того как женился на русской княжне Ульяне Александровне Тверской.

Несмотря на полную фантастичность всего этого, версия Спиридона была официально принята при Московском дворе и получила дальнейшую разработку в «Сказании о князьях Владимирских» и в «Степенной книге» митрополита Киприана. При Иване Грозном она вошла в «Государев родословец», а потом и в так называемую «Бархатную книгу».

Разумеется, с научно-исторической точки зрения весь этот материал не выдерживает никакой критики и способен вызвать только улыбку. Однако в политическом отношении он свою роль сыграл, ибо дал Вселенскому патриарху основание признать за Иваном Грозным царский титул, а вслед за ним признали его и европейские монархи.

Но в то же время все это подготовило почву для норманизма и оказалось первым шагом на пути неуважения к своему русскому началу. Грозный любил щеголять фразой: «я не русский, мои предки немцы». И с его легкой руки иностранное, а в частности немецкое происхождение начинает считаться на Руси особенно почетным.

Родоначальник-иноземец становится объектом вожделения каждой аристократической семьи, и для отыскания такового широко применяются генеалогические методы митрополита Спиридона, то есть совершенно невероятные измышления и натяжки, подделка документов и т. п.

Известный генеалог Л. М. Савёлов-Савёлков, член Императорского Историко-Родословного Общества, в своей книге «Древнее русское дворянство» по этому поводу пишет:

«Главной особенностью родословных древнего русского дворянства являются легенды об его иностранном происхождении, и этот вопрос обойти молчанием нельзя... Отрицать выезды в Россию из Польши, Литвы и татарских царств, конечно, невозможно, но выезды из европейских государств, а особенно «из Прус», — которыми так изобилуют русские родословные, — даже при наличии документов, подтверждающих «выезд», должны подвергаться проверке и тщательному исследованию, так как известны случаи их подделки (Приводится ряд известнейших фамилий. — М. К.)... Появление подложных документов особенно усилилось после указа царя Феодора Алексеевича о составлении родословной книги. Палата родословных дел потребовала доказательств, их не было — стали фабриковать, и в результате всего этого получилось, что русские дворянские роды ведут свое происхождение откуда угодно, только не из России».

Савёлов-Савёлков нисколько не преувеличивает: при составлении этой первой в России родословной книги оказалось, что подавляющее большинство высшего русского дворянства ведет свое начало от всевозможных «честных мужей», некогда выселившихся на Русь «из прус», «из немец», «из свеев», «из фрягов», «из грек», в крайности «из ляхов» или из Литвы. Всего было представлено 933 родословных и из них 804, — почти девяносто процентов, — оказались иностранного происхождения!

«Род Новосильцевых от Юрия Шалого. А прежде звахуся Шель и выеха из Свейского государства»... «Выеха из немец муж честен именем Андрей Иванович Кобыла,

от него же род Кобылин»... «Выеха из прус к великому князю Василию Димитриевичу честен муж Христофор, прозванием Безобраз и от него род Безобразов»... и т. п.

В соответствии с подобными заявлениями, потомками немцев оказались Колычевы, Кутузовы, Салтыковы, Епанчины, Толстые, Пушкины, Шереметевы, Беклемишевы, Левашевы, Хвостовы, Боборыкины, Васильчиковы и очень многие другие; потомками шведов — Аксаковы, Суворовы, Воронцовы, Сумароковы, Ладыженские, Вельяминовы, Богдановы, Зайцевы, Нестеровы и пр.; потомками итальянцев — Елагины, Панины, Сеченовы, Чичерины, Алферьевы, Ошанины, Кашкины, и др.; греков — Жуковы, Стремоуховы, Власовы; англичан — Бестужевы, Хомутовы, Бурнашевы, Фомицыны; венгров — Батурины и Колачевы. Апухтины и Дивовы оказались французами; Лопухины, Добрынские и Сорокоумовы — черкесами и т. д.

Несомненно, некоторые из них действительно шли от нерусских корней и о своем происхождении писали правду. Но подавляющее большинство было, конечно, иностранцами такого же порядка, как Иван Грозный. Нередко то происхождение, которое люди себе приписывали, чтобы удовлетворить этой печальной моде, было много хуже подлинного, которое казалось скверным только потому, что оно было чисто русским. Доходило до абсурдов. Так, например, всей России известные Рюриковичи — князья Кропоткины показали себя выходцами из Орды. Даже это, очевидно, казалось более почетным, чем происхождение от великих князей Смоленских. Собакины, — тоже потомки Смоленских князей, — стали писаться выходцами из Дании.

При Петре Первом и его ближайших преемниках эта тенденция в русском дворянстве еще усилилась. Меншиков, до встречи с Петром, как известно, торговавший на улицах Москвы пирожками, оказался потомком литовских магнатов; Разумовский и Безбородко — заведомые малороссы и притом далеко не знатного происхождения, — отпрысками древних польских родов и т. д.

Стоит ли говорить о том, что порожденная немцами норманская доктрина, при такой настроенности верхушки русского общества, не могла задеть в нем каких-либо специфически-русских национальных чувств и была принята в лучшем случае с полным равнодушием.

Она вошла во все академические труды и учебники, ее стали преподавать в школах и в университетах, постепенно отравляя национальное сознание русских людей, прежде справедливо гордившихся своей древней историей и самобытной культурой, а теперь все глубже проникающихся подсунутой им идеей неполноценности русской нации и неспособности русского народа обойтись без руководства и опеки иностранцев. Она была с отменным удовольствием принята и утверждена за границей, давая нашим соседям «научное» основание для того, чтобы смотреть на русских свысока, как на низшую расу, пригодную лишь в качестве удобрения для других[1].

Все это привело к тому, что развитие русской исторической науки пошло по совершенно ложному пути, искривленному предвзятой уверенностью, что мы народ без прошлого, из мрака неизвестности выведенный на историческую арену каким-то другим народом высшей категории, — конечно, не славянским.

Приняв летопись Нестора за основу истории Киевской Руси, наши официальные историки вынуждены были в какой-то мере считаться со сведениями, которые имеются в этой летописи об основателе города Киева, — князе Кие и его династии. Однако, допустить, что эти князья были полянами, т. е. русскими, никто не хотел. Академики Байер, Миллер и другие отечественные немцы, конечно, объявили их готами; В. Татищев — сарматами, историк князь Щербатов — гуннами. Только Ломоносов утверждал, что они были славянами, позже к этому мнению не без колебаний примкнул Карамзин. Наконец, просто решили объявить все это легендой и таким образом совершенно списать князя Кия и все с ним связанное с исторического счета. На эту позицию твердо встал С. Соловьев, заявивший: «Призвание князей-варягов имеет великое значение в русской истории, которую с этого события и следует начинать». Костомаров, отважившийся верить в «легенду» и считать Кия исторической личностью, этим испортил свою репутацию серьезного историка. Преуспевающий Ключевский благоразумно обходил спорные вопросы молчанием, хотя по существу норманистом не был. Платонов тоже счел за лучшее о Кие не упоминать и с некоторыми оговорками примкнул к норманистам, — иначе бы ему не бывать академиком. Иловайский, как уже было сказано, сидел на двух стульях.

Итак, под Рюрика был подведен германский фундамент, и с него стали начинать официальную историю Русского государства. Все, что было прежде, объявили вымышленным или недостоверным. Даже допущение того, что поляне были способны сами построить свой столичный город, считалось ненаучным и противоречащим всему норманистскому представлению о древней Руси. Основание Киева старались приписать кому угодно, только не славянам. Многие русские историки (Куник, Погодин, Дашкевич и др.) защищали совершенно нелепую гипотезу, согласно которой он был построен готами и есть не что иное, как их древняя столица Данпарштадт. То обстоятельство, что Константин Багрянородный в одном из своих трудов назвал Киев Самбатом, сейчас же породило целую серию «исторических» гипотез, будто этот город был построен аварами, хозарами, гуннами, венграми и даже армянами, — только лишь потому, что в языках этих народов нашлись слова, похожие на Самбат. Но прямое указание Птоломея на то, что в его время[1] на Днепре уже существовал славянский город Сарбак (чем легче всего объяснить «Самбат» Багрянородного), всеми было оставлено без внимания. Вероятно решили, что Птоломей что-то путает, — настолько неправдоподобным казалось норманистам славянское происхождение Киева.

Вопрос, по существу совершенно ясный, в конце концов запутали до того, что только археология могла дать ему окончательное решение. Теперь раскопки археологов, и в частности академика Б. А. Рыбакова, неопровержимо доказали, что никакие «высшие» народы тут ни при чем, и что Киев был построен своими, славянскими руками. К чести многих иностранных историков следует сказать, что не в пример большинству своих русских коллег, они этого никогда не отрицали.

Конечно, среди русских историков было немало и антинорманистов (Костомаров, Максимович, Гедеонов, Забелин, Зубрицкий, Венелин, Грушевский и др.), которые проделали большую исследовательскую работу и нанесли доктрине норманизма чувствительные удары. Борьба между этими двумя течениями не прекращалась со времен Ломоносова вплоть до самой октябрьской революции. Но практически она ни к чему не привела: слишком неравны были условия этой борьбы.

Научные позиции антинорманизма и тогда были гораздо сильнее, ибо их подкрепляли факты, открывавшиеся все в большем количестве и определенно говорившие не в пользу норманизма, который держался больше на рутине и на предвзятых мнениях. Но на стороне защитников норманской теории была сила авторитета Академии Наук и сила реальных возможностей. Кроме того, у норманизма был весьма ценный союзник: инертность русского общества, которое считало, что это спор сугубо научный и никого, кроме профессиональных историков, не касающийся.

Сколько непоправимого вреда принес норманизм престижу нашей страны и нам самим, начали понимать уже за границей, очутившись в «норманском» мире и

[1] Более всего в этом погрешны немцы, навязавшие нам норманскую теорию и старавшиеся ее использовать в своих политических целях. Но многие русские впадают в глубокую ошибку, не делая различия между этими «внешними» немцами и немцами прибалтийскими, которые тут совершенно неповинны. Эти потомки Ливонских рыцарей, с присоединением Ливонии, вошли в состав Российского государства и честно служили ему на протяжении веков.

[1] Второй век христианской эры.

поневоле сделав кое-какие наблюдения, сравнения и выводы. Нашу эмиграцию принимали в Западной Европе в полном соответствии с учением норманизма, то есть не слишком гостеприимно, и не скрывая расценивали нас как представителей низшей расы. Западно-европейских политических эмигрантов, — французов, испанцев, греков и других (кто только не жаловал в трудные для себя времена на обильные русские хлеба!) у нас принимали иначе. Французский эмигрант герцог Ришелье в России получил пост генерал-губернатора; русский эмигрант герцог Лейхтенбергский во Франции работал монтером. Французские офицеры-эмигранты, ни слова не знавшие по-русски, у нас получали поместья и полки в командованье, а русские заслуженные генералы-академики, в большинстве прекрасно владевшие французским языком, в Париже работали простыми рабочими или гоняли по улицам такси. И этим мы обязаны, главным образом, норманской доктрине, созданной и взлелеянной в нашей же Академии Наук.

Что касается советской исторической науки, то она от норманизма решительно отказалась, объявив норманскую теорию антинаучной. Но оформила она этот отказ не очень убедительно. Сделав много в области исследования и описания древнейшего периода истории Руси, полностью признавая самобытность русской государственности и культуры, советские историки в то же время заняли какую-то невразумительную позицию в отношении призвания варягов и личности князя Рюрика: не занимаясь вопросами его происхождения и появления на Руси, о нем просто стараются вспоминать пореже, трактуя в этих случаях как личность скорее легендарную, чем исторически действительную. Как у этого легендарного отца мог оказаться вполне реальный сын — князь Игорь, советские историки не объясняют, хотя Игоря признают безоговорочно и считают его чистейшим славянином. Впрочем для Рюрика в последние годы выдумали особый термин: его называют персонажем не легендарным, а «эпизодическим». Это, по-видимому, следует понимать так, что он в действительности существовал, но не заслуживает того, чтобы им занимались историки.

Так или иначе, с норманизмом на нашей родине покончено. Но Запад продолжает за него держаться цепко и в течение двух последних десятилетий с завидной настойчивостью старается укрепить обветшалые позиции норманской теории. Западные норманисты, среди которых есть, к сожалению, и выходцы из России, в разных странах выпустили немало книг и публикаций, в которых на все лады повторяют, по существу, все те же псевдонаучные измышления шлецеров и байеров, при полном замалчивании непрестанно возрастающего числа исторических открытий и работ, совершенно убийственных для норманской доктрины.

Этот факт весьма показателен и требует самого пристального внимания, ибо за ним кроется не одно лишь тщеславное желание Запада отстоять видимость своего превосходства над русским народом. Дело обстоит гораздо серьезней: норманская доктрина пошла на вооружение тех русофобских сил западного мира, которые принципиально враждебны всякой сильной и единой России, — вне зависимости от правящей там власти, — и служит сейчас чисто политическим целям: с одной стороны как средство антирусской обработки мирового общественного мнения, а с другой — как оправдание тех действий, которые за этой обработкой должны последовать.

Так ошибка историческая, допущенная два века тому назад и казавшаяся тогда малосущественной, постепенно расширяя круг своего действия, опоганила и русское самосознание и отношение к нам других народов, обернувшись ошибкой политической огромного масштаба.

За неуважение к своему прошлому приходится платить дорогой ценой.

МНЕНИЯ — ИНТЕРВЬЮ

Что вы читаете? Какими книгами в последнее время пополнилась ваша домашняя библиотека?

Ирина Константиновна АРХИПОВА — народная артистка СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Социалистического Труда, профессор, народный депутат СССР, председатель правления Всесоюзного музыкального общества.

Книги по истории России — исторические труды и романы, документальная и мемуарная литература — принадлежат к числу тех, которые читаю постоянно, многие годы. В русской истории мне интересно и важно все: и Чингисхан, и Батый, и отношения с Литвой и Польшей. Ведь из всего этого и вырастает великая судьба нашей великой и многострадальной России. Люблю романы Дм. Балашова. А В. Пикулю, ругать которого считается у иных литдеятелей хорошим тоном и признаком интеллектуальности, очень благодарна за то, что он единственный, кто вытаскивает из разных «закоулков» истории маленьких, неприметных людей, послуживших России верою и правдой, и поминает их добрым словом.

Хорошо, что в наши дни широкий читатель получает бо́льшую, чем раньше, возможность знакомиться с трудами Соловьева, Ключевского, Карамзина. Явно возрос интерес к научно-популярным историческим изданиям. Кажется, их число увеличивается. Например, за прошедший год вышло сразу несколько интересных книг о Смутном Времени. Все это вселяет надежду на оздоровление и возрождение духа русской нации и русской культуры. Хочу сказать по этому поводу, что считаю величайшей несправедливостью, когда русских, столько отдавших другим народам, пытаются представить «шовинистами», «Клеветников России» всегда хватало и во времена Пушкина, и позднее, и теперь. Будем же помнить, что они — преходящи, а Россия наша — вечна.

Постоянно читаю журнал «Наш современник». Благодаря ему открыла для себя такого прекрасного писателя, как Леонид Бородин. Буду теперь следить за его публикациями. Конечно же, читала и читаю Александра Солженицына.

Всю жизнь возвращаюсь к Пушкину, Лермонтову, Толстому, Чехову. Перечитала недавно «Братьев Карамазовых». Как все-таки мудр был их создатель, прозревавший такие высоты и такие низины в душе человеческой! Недавно вслух, между прочим, перечитала «Театральный роман» Булгакова и получила от этого огромное удовольствие. Очень люблю у него «Мастера и Маргариту», «Белую гвардию». Мы ведь только теперь подошли к пониманию трагедии русского офицерства, среди которого было столько людей душевно красивых, патриотов, бесконечно преданных родине.

А вот поэзию в чтении не воспринимаю, но лишь с музыкой, с мелодией. Исполняю, как вы знаете, многие песни и романсы на стихи Пушкина, Тютчева, Фета, Полонского, Апухтина и многих других русских поэтов, то, что мне особенно созвучно и близко.

Приобретаю я те книги, которые читаю или надеюсь прочесть, несмотря на угнетающий меня постоянный дефицит времени.

ПИСЬМО М. А. ШОЛОХОВА И. В. СТАЛИНУ

Тов. *Сталин.*

Постановление ЦК «О принудительном обобществлении скота» находится в прямом противоречии с планом мясозаготовок на 1932 г. по Вешенскому району. Судите сами: по району имеется коров в колхозном обобществленном стаде — 2025, в личном пользовании колхозников — 6787, у единоличников — 516, всего — 9328.

Овец и коз — в обобществленном колхозном стаде — 4146, у колхозников — 5654, всего 98 000. План же мясозаготовок на 1932 г. следующий: по крупному скоту — 12 058 ц, по мелкому — 2256 ц. К этому надо добавить «накидку» на второй квартал, полученную из края 14 апреля, по крупному скоту — 362 головы, по мелкому (овец, коз) — 3В98 голов.

Гулевого скота старше двух лет по всему району имеется 81 голова, выбракованных быков в этом году нет (поголовье рабочих быков резко уменьшилось, т. к. в прошлом году около 4 тыс. было сдано на мясозаготовку), следовательно, план по крупному скоту надо будет выполнять целиком за счет стельных или отелившихся коров. На Верхнем Дону коровы мелкопородные и — в среднем — не весят больше 15 — 16 пуд. Для того, чтобы выполнить мясозаготовительный план, надо будет сдать примерно 4ВВЗ коровы, и 8410 овец. На 13 629 дворов, имеющихся в районе, остается коров (за исключением обобществленного скота) 2420 штук, овец и коз, со всем обобществленным поголовьем, 1390.

В конце первого квартала по району началась интенсивная покупка (заготовка) скота. И с первых же дней по всем колхозам колхозники стали оказывать решительное сопротивление: коров начали запирать в сараи, постоянно держать под замком, а покупающих встречать с кольями. Продавать последнюю корову (во всем районе на 13629 хозяйств на 1 февраля было только 18 двухкоровных хозяйств) никто не изъявлял желания, тогда на собраниях сельхозкомиссии стали просто обязывать того или иного колхозника сдать корову. Колхозники отказывались от добровольной сдачи, тогда соответственно перестроились и сельсоветские работники: покупка коров обычно производилась таким порядком: к колхознику приходило человек 7—8—12 «покупателей», хозяина и хозяйку связывали или держали за руки, тем временем остальные из «покупателей» сбивали замок и на рысях уводили корову.

По хуторам происходила форменная война — сельисполнителей и других, приходивших за коровами, били чем попало, били преимущественно бабы и детишки (подростки), сами колхозники ввязывались редко, а где ввязывались, там дело кончалось убийством. Так, был убит колхозником Антиповского сельсовета уполномоченный сельсовета, пришедший забирать корову.

Можно с уверенностью сказать, что по числу заготовленных в марте коров (300 штук), такое же количество насчитывается в районе «битых и увечных», как со стороны покупающей, так и продающей.

После того, как до района дошло постановление ЦК от 26 марта, положение усложнилось: колхозники стали защищаться уже не только кольями, но и постановлением ЦК, ссылаясь на то, что в постановлении сказано: «...задача партии состоит в том, чтобы у каждого колхозника была своя корова».

После получения «Правды» от 26 марта по хуторам происходило примерно то, что было после опубликования Вашей статьи «Головокружение от успехов»: за «Правдой» шли в районный центр ходоки, вброд перебираясь через взыгравшие лога и речки...

В настоящее время, в связи с севом, заготовки несколько свернулись. Но как только кончат колосовые, по колхозам опять пойдет «война» за коров. Противоречие между постановлением ЦК и мясозаготовительным планом столь очевидно, что районная парторганизация чувствует себя вовсе неуверенно. И если Вешенский райком ВКП(б) и молчит, то, по-моему, только потому, что в прошлом году, когда крайком предложил сдать на мясо 3 тыс. рабочих быков, а райком вздумал ходатайствовать о снижении, то получил от крайкома выговор.

Считаю, что вопрос этот имеет для районного колхозного хозяйства первостепенное значение, поэтому решил обратиться к Вам.

С коммунистическим приветом
М. Шолохов.

20 апреля 1932 г.

ВСТРЕЧА СО СТОЛЫПИНЫМ

И. Д. СЫТИН

Товарищ министра внутренних дел А. А. Макаров, мой личный знакомый, сообщил мне, что мной очень недоволен П. А. Столыпин и что издательская деятельность моя вызывает его упреки.

Это для меня было неожиданно. Но зная, как много в этих случаях зависит от шептунов и личных недоброжелателей, не останавливающихся ни перед клеветой, ни перед сплетней, я попросил Макарова, чтобы он мне устроил свидание с министром, рассчитывая, что в личной беседе мне удастся выяснить недоразумение и, может быть, рассеять наговоры, если они были.

Макаров обещал все устроить и, действительно, скоро ко мне в Москву пришла телефонограмма П. А. Столыпина. Меня вызывали в Зимний Дворец, к 2-м часам дня, на личный прием.

Признаюсь, это свидание меня несколько волновало. Что такое могли ему наговорить и чем собственно он недоволен? Опыт жизни приучил меня к мысли, что министры редко бывают недовольны сами по себе: обыкновенно им кто-нибудь «докладывает» и только после «доклада» они бывают милостивы, либо недовольны.

Мой билет на прием П. А. Столыпина был 12-й, но почему-то меня не вызвали, когда пришла моя очередь, и пропустили. Почему бы это? — думаю. Вот прошел в кабинет № 15-й и 20-й, и 30-й, а меня все не вызывают. Наконец, в приемной уже никого не осталось, я был последним и меня позвали:

— Пожалуйте!

Столыпин принимал в просторном кабинете Александра II. Он сидел за небольшим столом, но и в сидячем положении чувствовался его крупный рост и вся его внушительная крупная фигура. Чернобородое, несколько бледное лицо казалось чуть-чуть усталым.

— Господин Сытин? Прошу садиться. — Министр указал рукой на кресло, и я сел.

— У вас, я знаю, очень большое дело народных изданий?

— Да, ваше превосходительство, дело большое, но очень трудное.

— На вас жалуются... Дело ваше большое, но слишком сумбурное. Вы много либеральничаете, а между тем именно в вашем положении народного издателя нужна особая осторожность, чтобы не развращать русскую душу.

— Ваше превосходительство, вас информировали пристрастные люди. Я веду дело с глубокой предусмотрительностью и более чем осторожно. Свою задачу я понимаю просто и подхожу к ней тоже просто, без всяких задних мыслей. Наш народ темен, его надо учить, а я стараюсь дать ему полезную и дешевую книгу по всем отраслям знания. Если ваше превосходительство благоволите заглянуть



П. А. Столыпин

в наш каталог, вы увидите все результаты нашей работы.

— Хорошо, я просмотрю ваш каталог, но вы должны понимать, что и знание народу надо давать чистое, а не разрушительное.

Из этих слов я понял, что большого неудовольствия против меня не питают и что если и был какой-нибудь «доклад» о нашей работе, то не слишком злой.

— Я с радостью предоставлю вашему превосходительству все обширные материалы и планы моей работы.

— Вот и чудесно. Я, признаюсь, тоже имел некоторые виды на вас и хотел воспользоваться вашей опытностью для распространения в народе сельскохозяйственных книг. Наша программа хуторского хозяйства требует полезной книги для народа... Кстати в вашей газете нашу программу раскритиковали и довольно жестоко... А вы как на это смотрите?

— Я, ваше превосходительство, в этом пункте не разделяю взглядов моей газеты. Я смотрю на отрубное хозяйство с величайшим удовлетворением. Я сам крестьянин и знаю, что нужно крестьянину...

— Да? Мне это очень приятно слышать... Значит, мы с вами одного мнения? Тогда давайте вместе работать: дадим мужику хорошую народную библиотеку: серию книг по сельскому хозяйству, по ремеслам и, вообще, по всем кустарным мастерствам... А? Как вы на это смотрите? Я нахожу, что давно пора устраивать в деревнях специальные избы-читальни с необходимыми научными пособиями, с показательными станками и орудиями обработки. В этом отношении мы очень отстали.

Признаюсь, эти слова сурового министра, которого вся наша печать рисовала чуть ли не временщиком, поставленным в сословных интересах дворянства, показались мне очень неожиданными. Так не говорят люди, занятые сословными интересами. По крайней мере, в самом тоне голоса Столыпина мне почувствовалась любовь к России, ко всей России, а не к одному классу.

— Ваше превосходительство говорит о том, что давно составляло нашу мечту. Вот уже лет десять, если не больше, мы все ждали, что правительство, наконец, пойдет навстречу и по крайней мере разрешит делать другим то, чего само не будет делать. И вдруг вы сами хотите подойти к насущным нуждам деревни... Это такое доброе дело, что я был бы счастлив, если бы мог оказать посильное содействие вашему превосходительству... И не только моей работой, но и материальными жертвами... Я верю в жизненность отрубного хозяйства, я знаю, что значит зависимость крестьянина от общины, и если мужику, наконец, развяжут руки и он будет сам себе господин, то и обработка земли и все хозяйство пойдет по-другому. А пример хорошего хозяина всю округу заразит... Я хорошо знаю это дело, я тоже сын крестьянина. Да еще если при этом будет изба-читальня, если к мужику дойдет, наконец, книга, которая была спрятана от него за семью замками, так русская деревня через десять лет станет неузнаваемой...

— Значит, мы с вами одного мнения? Я очень рад... Давайте же вместе работать...

Расстались мы со Столыпиным совсем иначе, чем встретились.

А через неделю, ко мне в Москву приехал от него чиновник П. П. Зубовский и попросил, чтобы я дал ему программу будущих изданий для народа.

Я ему показал целый ряд каталогов и обратил его внимание, что три четверти книг для предполагаемой избы-читальни уже есть в совершенно готовом виде и что надо будет добавить только учебники для взрослых да хорошенько подобрать библиотечки по кустарным производствам.

С своей стороны П. П. Зубовский обратил мое внимание на приближающийся юбилей крестьянской реформы и Отечественной войны и спросил, что мы думаем сделать для этих юбилеев. Но так как вопрос этот занимал и нас и мы разработали программу юбилейных изданий в самом широком и даже грандиозном масштабе (над этим делом у нас трудились 50 профессоров), то осталось подумать лишь о серии самых дешевых народных брошюр и картин.

Вообще из разговора с Зубовским я вынес впечатление, что Столыпину очень запал в душу наш разговор об избе-читальне и что планы у него созрели самые широкие.

К сожалению, однако, П. А. Столыпин скоро предпринял роковую для него поездку в Киев на торжества, и там исполнилось его давнишнее предчувствие, которое он отметил в своем завещании:

— Похоронить там, где убьют...

ПРИМЕЧАНИЕ

Патриотизм, духовность, высокая нравственность и творческая деятельность И. Д. Сытина сделали его имя символом отечественного книгоиздания. «Русский предприниматель» — так мы назвали подборку в № 6 за нынешний год, посвященную этому талантливому человеку. Редакция решила продолжить публикацию документов из его семейного архива, фрагментов редчайших изданий, хранящихся в московском Выставочном центре «У книгоиздателя И. Д. Сытина». Сегодня предлагаем читателям никогда не публиковавшиеся воспоминания Ивана Дмитриевича о П. А. Столыпине, в свое время изъятые из широко известного издания «Жизнь для книги», впервые вышедшего в 1960 году.

ОТ РЕДАКЦИИ

АРОН СИМАНОВИЧ

РАССКАЗЫВАЕТ СЕКРЕТАРЬ РАСПУТИНА

После проявления его решающего значения на царя Распутин не разменивал его на мелкую монету. Он имел собственные идеи, которые он старался провести, хотя успех был очень сомнителен, он не стремился к внешнему блеску и не мечтал об официальных должностях. Он оставался всегда крестьянином, подчеркивал свою мужицкую необтесанность перед людьми, считавшими себя могущественными и превосходящими всех, никогда не забывая миллионы, населяющие русские деревни, крестьян. Им помочь и разрушить возведенную между ним и царем стену было его страстным желанием и пламенной мечтой.

Долгие часы, проведенные им в царской семье, давали ему возможность беседовать с царем на всевозможные политические и религиозные темы. Он рассказывал о русском народе и его страданиях, подробно описывал крестьянскую жизнь, причем царская семья его внимательно слушала. Царь узнал от него многое, что осталось бы без Распутина для него скрытым.

Распутин горячо отстаивал необходимость широкой аграрной реформы, надеясь, что она должна привести русского крестьянина к новому материальному благосостоянию.

— Освобождение крестьян проведено неправильно, — говорил он часто.

— Крестьяне освобождены, но они не имеют достаточно земли. Обычно крестьянская семья численно велика и состоит из десяти членов, но участок земли мал. Из-за земли сыновья ссорятся с родителями, и им приходится отправляться в город в поисках работы, где они ее не находят. Окончится война, сыновья вернутся и поженятся. Чем же они тогда будут кормиться? Возникнут ссоры и беспорядки. Крепостные крестьяне жили лучше. Они получали свое пропитание и необходимую одежду. Теперь крестьянин не получает ничего и должен платить еще подати. Его последняя скотинка описывается и продается с торгов. До десятого года крестьянские дети бегают голыми. Вместо сапог они получают деревянные колодки. Не хватает у крестьянина земли. Замирает вся жизнь в деревне.

Распутин жаловался на то, что правительство не строит в Сибири железных дорог. — Боятся железных дорог и путей сообщения, — пояснял он. — Боятся, что железные дороги испортят крестьян. Это пустой разговор. При железной дороге крестьянин имеет возможность искать себе лучшее существование. Без железной дороги сибирский крестьянин должен сидеть дома, не может же он пройти всю Сибирь пешком. Сибирский крестьянин ничего не знает и ничего не слышит. Разве это жизнь? Сибирь пространна и сибирский крестьянин зажиточен. В России же (Распутин понимал европейскую Россию) крестьянские дети так редко видят белый хлеб, что считают его лакомством. Крестьянин в деревне не имеет ничего. Пшеничную муку он иногда получает к Пасхе, мясо он даже по праздникам получает очень мало. Ему не хватает одежды, обуви и гвоздей, но он ничего не может заказать. В деревне нет мастерских. Если в деревне появляется нерусский мастеровой, то его прогоняют. Почему? Потому что он изготовил лопату, плуг или подкову, или потому, что он починил сапоги? Боятся чужого мастерового. Боятся, что крестьянин мог бы разбаловаться, пожелать денег или земельного надела!

Поясняют, что все это может привести к революции. Все это глупости. Дворянство имеет слишком много. Дворянство ничего не делает, но мешает и другим. Если появляется образованный человек, то кричат, что он революционер и бунтовщик, и в конце концов сажают его в тюрьму. Крестьянину не дают образования. Эта господская политика к добру не приведет.

Распутин мечтал о крестьянской монархии, в которой дворянские привилегии не имели бы места.

По его мнению, монастырские и казенные земли следовало разделить между безземельными крестьянами и в первую очередь между участниками войны. Частные помещичьи земли, по его мнению, тоже следовало отчудить и распределить среди крестьян. Для уплаты помещикам за отчужденные земли следовало бы исхлопотать крупный внешний заем. Распутин был очень высокого мнения о земледельческих способностях и благосостоянии немецких колонистов. Их чистоплотность и опрятная добротная одежда сильно выделяли их среди русских крестьян.

Попадая в немецкую колонию, Распутин всегда удивлялся богатству их стола. Его особенно поражало, что колонисты пили не только чай, но и кофе. Эти наблюдения сильно врезались в душу Распутина, и при разговорах с русскими крестьянами он всегда заводил разговор о благосостоянии немецких колоний. Он советовал русским брать в жены девушек из немецких колоний. Такие браки оказывались всегда как-то очень счастливыми.

— Крестьянин рад, — говорил он, — если у него в доме немка, тогда в хозяйстве порядок и достаток. Тесть гордится такой снохой и расхваливает ее перед своими соседями.

Уважение Распутина к Германии возросло еще больше после того, как Распутин узнал, что большинство употребляемых русскими крестьянами земледельческих машин германского происхождения.

Он всегда стоял за немедленное заключение мира, даже при самых плохих условиях. По его мнению, любой мир для России был лучше, чем война. Когда Россия опять окрепнет, тогда и можно будет вновь пересмотреть мирные условия.

На заявления, что о немедленном заключении мира не может быть и речи, и поэтому за него и не стоит выступать, Распутин всегда отвечал:

— Я ничего не боюсь. Я плохого ничего не хочу. Никто не имеет права уничтожать человеческие жизни. Существуют люди, которые занимаются посредничеством в денежных делах, в продажах домов и земель. Я хочу быть только посредником заключения мира. Даже папа говорит, что я прав и должен остаться нейтральным...

Утверждение царя, что он не прекратит войны до тех пор, пока последний германский солдат не оставит русскую землю, не влияло на Распутина.

— Царь мог и это сказать. Он хозяин своего слова. Если он его дал, то он может его и взять обратно. Если он что-нибудь приказал, то новым приказом он первый может отменить. Он царь и может все. И каким путем прогнать из России всех немцев? Что делать с немецкими мастеровыми и купцами?

Не помогало и разъяснение, что царь своими словами не хотел задеть русских немцев и говорил только о германских солдатах. Он хитро улыбался и говорил, что он не видит разницы между русскими немцами и германцами. Оба они преследуют одну цель, лишь с той разницей, что одни работают кулаком, а вторые деньгами и головой.

— Русский, — говорил он,— привык к немецким товарам. Немецкие купцы поставляют хорошие товары и идут покупателям всячески навстречу. Немец умеет работать. Если в деревню попадает германский военнопленный, то бабы стараются заполучить его в свою избу потому, что он хороший работник.

Кроме Германии Распутина очень влекло к Америке. И это имело свои причины.

В России имелось довольно много крестьян, родственники которых жили в Америке и присылали оттуда своим родным в Россию денежные вспомоществования. Много бедных выходцев стали в Америке состоятельными фермерами, но оставшиеся и там простыми рабочими были довольны своими заработками. Для бедного русского крестьянина Америка казалась сказочной страной. Поэтому Америка импонировала Распутину, и он советовал жить с Америкой в дружбе и мире.

Под конец я хочу еще рассказать один любопытный случай. После отступления русских войск из-под Варшавы Николай II вызвал в два часа ночи Распутина к телефону. Он был очень взволнован и говорил, что готов повеситься, так как Виль-

---

Окончание. Начало в №№ 5, 6, 9, 10/1989, №№ 2, 4/1990.



Село Покровское. Распутин со своими детьми.

гельм предполагает учредить самостоятельное польское государство. Такого унижения он не может перенести... Распутин ответил ему:

— Ты сам должен был полякам даровать самостоятельность. Но теперь имей мужество. Если ты вернешь Польшу, то ты ей дашь все... Они такие же славяне, как русские, и должны себя чувствовать хорошо.

СОМНЕНИЯ И НАДЕЖДЫ

В течение долгих лет я находился при Распутине и днем, и ночью. Я знал его лучше всех. Я могу сказать, что он не особенно верил в прочность его отношений к царю. Мне часто казалось, что он чувствовал себя ненадежно и был беспокоен. Мысль, что его большая роль может быть в один день сыграна, заставляла его задумываться о будущем. Он не столько боялся своей смерти, сколько своего падения и неизбежных с ним последствий. Распутин имел сильно развитое самомнение, и поэтому падение его беспокоило больше, чем смерть. Он старался себя успокоить верой в свою «силу», так как имел к тому основания, уже ранее мною сообщенные. Мучимый сомнениями и в заботе о будущности, Распутин обращался ко мне за дружеским советом и поддержкой. Он считал меня хорошим математиком, с большим жизненным опытом и практическим умом. Он верил мне и цеплялся за меня. Я тоже чувствовал привязанность к нему. Я никогда не видел от него ничего плохого, да и другим он не делал зла. В том, что Николай II был слабым царем, не он был виноват. При моем посредстве он помог тысячам людей и вследствие своей доброты спас многих от бедности, смерти и преследований. Распутину это я никогда не забуду и поэтому не имею права не только его осуждать, но и вообще судить. Нет людей без недостатков, но, по моему мнению, Распутин был честнее всех собиравшихся на его квартире людей. Когда он говорил о своей будущности, я ему советовал теперь же оставить Петербург и царя до того, пока его враги окончательно не выведены из терпения.

Я владел в Палестине небольшим участком земли и мечтал конец моей жизни провести в стране моих праотцов. Распутин также имел влечение к святой земле. Он соглашался с моим планом переехать туда. Мы давно уже бросили бы эту нездоровую и опасную жизнь в Петербурге, если бы нас не удерживало проведение поставленных нами себе целей. Распутин решил добиться заключения мира, в я стремился к осуществлению еврейского равноправия.

— Необходимо, — говорил он, — заставить царя сдержать данное им слово. Он обещал конституцию. Если бы он исполнил свое обещание, то давно уже все национальности были бы уравнены в правах, но теперь мы должны думать только о заключении мира.

— Заключение мира — очень трудная вещь, — отвечал я. — Ты бы лучше начал с еврейского вопроса. Это облегчило бы также заключение мира. Если нам удалось бы добиться разрешения еврейского вопроса, то я наверное получил бы от американских евреев столько денег, что мы были бы обеспечены на всю жизнь...

— Почему же русские евреи не хотят давать деньги? — настаивал Распутин.

— Потому что русские евреи не хотят, чтобы про них говорили, что они у царя купили свою свободу, — ответил я. — Деньги я оставлю себе и поделюсь с тобой. Их хватит на нас обоих и на наши семьи. Твой уход облегчит всеобщее примирение, и я полагаю, что дворцовые круги и дворянство скорее согласятся на еврейское равноправие, если они этим смогут освободиться от тебя.

— Но папа не хочет мира, — отвечал он. — О равноправии евреев он даже и слушать не хочет. Его родня не позволяет ему даровать конституцию. Неоднократно я царю говорил: — Если ты дашь конституцию, тебя назовут Николаем Великим. Он мне ответил, что при конституционном правлении он не сможет заключить сепаратный мир с Германией. Он вместе со мною все время ищет министров, которые были бы согласны на заключение мира (?!), но он всех боится. Когда он в своем рабочем кабинете разговаривает со мною, то он все время оглядывается, не подслушивает ли кто-нибудь нас. Я настаиваю, чтобы моим крестьянам была дана конституция. Она не угодна только барам. Но мы — крестьяне — нуждаемся в ней. Теперь после отбывания военной службы солдаты уже не возвращаются в деревню, а остаются в городе. Как только дадут крестьянам землю, это изменится. Это большая беда, что папа не дает себя уговорить. Как только я не при нем, он забывает свои обещания. Это наше несчастье.

Потом Распутин продолжал:

— Я вполне согласен с Витте. Может быть, мне удастся провести его на какую-нибудь значительную должность. Тогда он меня поддержит. Когда я теперь разговариваю с царем по еврейскому вопросу, он не противоречит мне, но говорит:

— Подожди, отец Григорий, пока я найду верного министра и заключу мир, тогда я исполню все, что я обещал.

— Ты, может быть, все и дашь, — отвечал я совершенно откровенно. — но отберешь все обратно. Тогда уже лучше не давай ничего, чтобы тебе не приходилось брать обратно.

— Ну хоть что-нибудь нужно же дать евреям, — кричал я.

— Как же может быть что-нибудь дано евреям, если я для моих крестьян ничего не добился, — возражал Распутин. — Царь боится даровать евреям равноправие. Он уверен, что его после этого убьют. Его дедушку ведь убили. Царь мне много раз жаловался, что все его министры жулики. Они стараются ему внушить, что во всем виноваты евреи.

Этот разговор произошел в 1915 году. В период сближения Витте с Распутиным, Витте имел тогда большое влияние на Распутина, а последний сумел перетащить на его сторону царицу и митрополита Питирима. К ним присоединился также старик Штюрмер, и им симпатизировал весь молодой двор. Распутин старался убедить царя, что необходимо, наконец, внести конституционную форму правления, и таким образом покончить со всеми раздорами. Однажды Распутин явился в очень хорошем настроении к нам. Он заявил, что ему, наконец, удалось провести у царя свои желания. Царь собирается в Государственную Думу, чтобы объявить, что он решил установить порядок, по которому председатель совета министров будет назначаться им самим, а остальные министры будут намечены Думой. Как все это должно было пройти, я не могу сказать. Может быть я Распутина не так понял, в может быть он мне все и не передал как следует.

— Во всяком случае, — присовокупил он, — после объявления новой конституции евреи также получат полное равноправие, за исключением права занимать руководящие должности в войсках и в государственном управлении. По словам Распутина, это была немецкая система.

Я счел своей обязанностью все передать моим единоверцам и сообщил полученные от Распутина сведения барону Гинцбургу и Мозесу Гинцбургу. Все ему поверили, так как знали, что он не лжет.

Но мы упустили из виду печальные качества царя. Правильнее было бы, если бы мы не упустили бы из виду его безволие, неспособность сдерживать данное слово, и не верили бы его обещанию.

После своего возвращения из ставки он заявил Распутину, что он свое намерение переменил. Он не желает даже показываться в Думе и не думает о даровании новой формы правления, пока идет война.

Распутин бывал иногда очень несдержан и грубоват с царем. На этот раз он не скрывал свою злость. По сему случаю он запугивал царицу и Вырубову и говорил, что революция неизбежна, так как царь не может понять, что необходимо сговориться со своим народом.

Наконец царь объявил, что он последует совету Распутина и даже был установлен день, когда будет оглашена конституция. В этот день он действительно направился в Государственную Думу, но по-видимому, он опять в последнюю минуту был напуган возможностью его убийства в случае отказа от своих самодержавных прав. К сожалению, подробности этого случая мне неизвестны.

БЕЗРЕЗУЛЬТАТНАЯ ПОПЫТКА У ЦАРЯ

Однажды мы устроили в Александрово-Невском монастыре у митрополита Питирима совещание по еврейскому вопросу. Оно состоялось скоро после назначения Штюрмера председателем совета министров. Он обязался перед нами предпринять меры к решению еврейского вопроса. На совещании митрополита кроме меня участвовали епископ Исидор, Штюрмер и Распутин. Все присутствующие выразили согласие по мере сил способствовать разрешению еврейского вопроса.

По отношению ко мне Штюрмер высказался следующим образом:

— Ты странный человек, Симанович. В твоих стремлениях ты прав, но ты выбрал неправильную дорогу для их осуществления. Должен же ты знать, что не только я, но и весь совет министров никогда без согласия царя не осмелится поднять еврейский вопрос. Каждый министр заботится о своей будущности. При прежних царях было иначе: они действовали по собственному почину, имели больше мужества и держали слово. Теперешнему царю же никто не верит. Он сам также никому не верит, и поэтому трудно что-нибудь у него провести. Я был бы счастлив, если бы мне удалось бы вывести еврейский народ из его ужасного положения. Но я не могу решиться взять на себя инициативу, так как за это я могу поплатиться моей карьерой. Каждый русский министр официально должен быть юдофобом и не должен отказываться от своей враждебности к евреям. Я же, конечно, хочу сохранить мой пост министра, и ты не имеешь права от меня требовать невозможного. Я охотно помогу евреям, но для этого должен подвернуться случай. При твоих связях и изворотливости тебе скорее представится случай поднять этот вопрос. Ты имеешь больше власти, чем мы все вместе. Добейся только, чтобы царь поручил мне за-

няться еврейским вопросом, и я могу тебе поклясться, что я все необходимое сделаю.

Митрополит Питирим выступил после этого с совершенно неожиданным предложением: — Слушай, Симанович, мы с Распутиным завтра едем в Царское Село, где будет богослужение. После службы раненым будет дан обед. Ты должен привезти коньяк, сахар и мармелад для солдат, и я позабочусь о том, чтобы ты мог лично поговорить с царем. Это будет самый верный путь. Следуй моему совету и расскажи царю откровенно о всех тех преследованиях евреев, о которых ты рассказывал здесь. Бог тебе поможет.

Предложение митрополита встретило всеобщее одобрение. Я вызвал к телефону сестер Воскобойниковых и получил от них подтверждение, что действительно в Серафимовском лазарете предполагается устроить богослужение. Наследник имел намерение в этот день распределять подарки среди раненых.

Я отправился в лазарет, и наследник поручил мне купить для подарков дюжину серебряных часов и столько же подставок для чайных стаканов. Взяв на другой день заказанные предметы с собой, я приехал в лазарет к окончанию службы. Наследник был в восхищении от моих вещей. Царица обратила на это свое внимание и сейчас же сообщила царю, насколько наследник доволен мною. Настроение казалось мне благоприятствующим. Наследник распределял подарки.

Распутин понимал, что наступил для исполнения нашего замысла подходящий момент. Он встал и обратился к царю:

— Сын еврейского народа стоит перед тобой.

Николай II посмотрел с удивлением на нас обоих с Распутиным и сказал:

— Я не понимаю.

Остальные присутствующие смотрели на нас с большим любопытством. Распутин продолжал:

— Я только начал, он сам изложит тебе все.

Дрожа от волнения, я начал:

— Ваше Императорское Величество, я уже годами живу в Петербурге, но мои сестры и братья и весь наш еврейский народ ничего не знают о вашей любви к нам.

Митрополит прервал меня:

— Ты объясняешь очень неясно. Если ты говоришь, как сын еврейского народа, то ты должен выражаться яснее.

В сильном волнении я продолжал:

— Ваше Величество, мои братья и сестры и весь еврейский народ ждут Вашего слова. Они ждут свободы и разрешения на право образования, они ждут Вашу милость. — Царь слушал меня. Речь моя была бессвязная. Я говорил отрывистыми предложениями, но Николай II понял, чего я хотел. Все молчали и с напряжением ждали ответа царя. С удовлетворением я заметил, что все присутствующие мне сочувствовали. Но царь ответил мне:

— Скажи твоим братьям, что я им ничего не разрешу.

Я потерял самообладание и со слезами на глазах умолял царя:

— Ваше Величество, ради Бога, освободите меня от этого ответа. Свыше моих сил передать моим братьям такой ответ.

Ласково смотрел царь на меня, и сказал спокойным, даже симпатичным тоном:

— Ты меня не понял. Ты должен передать евреям, что они, как и все инородцы, в моем государстве равны с другими подданными. Но у нас имеется девяносто миллионов крестьян и сто миллионов инородцев. Мои крестьяне безграмотны и мало развиты. Евреи высоко развиты. Скажи евреям:

— Когда крестьяне будут на той же ступени развития, как евреи, то они получат все то что к тому времени будут иметь крестьяне.

Я ответил:

— Как прикажете, Ваше Величество, я все сделаю.

Я просил митрополита Питирима на другой день принять еврейских делегатов и подтвердить им, что я хлопотал перед царем о равноправии евреев. Барон Гинцбург, Поляков и Варшавский явились к нему, и он им подтвердил правильность моего сообщения.

ПРОТОПОПОВ — ПОСЛЕДНЯЯ КАРТА

Наши надежды на царя разбились, и мы находились в очень подавленном состоянии. Мы решили в будущем уже не рассчитывать на непостоянство царя, а действовать больше при посредстве министров. На них можно было легче воздействовать и при помощи орденов и денег перетянуть на свою сторону. Я опять поставил себе целью добиваться улучшения еврейского положения, считая, что скорее возможно улучшить положение отдельных лиц, чем добиться изменения всего режима.

В этом отношении у нас появились новые надежды. Распутин неоднократно сообщал нам, что царь не прочь предоставить евреям некоторые облегчения. Когда нам удалось провести в министры внутренних дел Протопопова, мы взяли с него обещание что-нибудь сделать для евреев. Мы уверили его, что почва в этом отношении уже подготовлена нами и дальнейший успех зависит исключительно от его ловкости и умелости.

Когда евреи узнали, что Протопопов обещал принять меры к улучшению положения евреев, то они прислали к нему делегацию. Ему это было очень неприятно, так как он не хотел преждевременно открывать свои карты. Поэтому он принял делегацию довольно сдержанно и не высказал ей своего намерения идти им навстречу. Этим он вызвал сильное недовольство среди евреев.

Протопопов, решив выдвинуть себя на пост министра, вошел сперва в сношения со мной. Мы скоро с ним подружились и стали на ты. Я его свел с Распутиным, который начал ему доверять. Он часто разговаривал с царем о Протопопове и старался царя им заинтересовать. Его старания не остались без результатов.

Первые встречи Распутина с Протопоповым происходили у княжны Тархановой. Потом они встречались в доме князя Мышецкого. Протопопов мечтал о министерской карьере. Мы выдвинули ему наши условия: заключение сепаратного мира с Германией и проведение мер к улучшению положения евреев. Он согласился. Я его потом познакомил с выдающимися представителями еврейства, и он им подтвердил свое согласие относительно евреев. Однажды Протопопов, Распутин и я поехали в Царское Село к Вырубовой. Она подвергла его, по своему обычаю, особому испытанию. Все сошло хорошо. В лазарете Вырубова представила Протопопова царице, на которую он произвел хорошее впечатление. Скоро он сделался министром внутренних дел, но, как потом оказалось, последним при старом режиме. До его назначения я выкупил его векселя на сто пятьдесят тысяч рублей, иначе его объявили бы несостоятельным, что воспрепятствовало бы его назначению. Протопопов обещал мне эту сумму уплатить после своего назначения из секретных фондов министерства. Но так как он пожертвовал сто тысяч рублей лазарету Вырубовой, то он сразу не мог эту сумму вернуть. Вырубова запросила, согласен ли Распутин на принятие этого пожертвования, и получила ответ, что оно произведено по указанию Распутина. Для нее это было достаточно, и она приняла пожертвование. Очень часто такие суммы жертвовались лицами, которые пользовались поддержкой Вырубовой. Так, например, ей пожертвовали: г-жа Рубинштейн 50.000 рублей, г-жа Бейненсон — 25.000 рублей. Банкир Манус — 200.000 рублей, Нахимов — 30.000 и другие. От меня Вырубова получала неоднократно ценные бриллианты, смарагды и дорогие серебряные вазы. Вырубова рассказывала царской чете, что ее друзья хотят обеспечить ее будущность, так как во время железнодорожной катастрофы у нее были сломаны ноги.

При обыске на моей квартире во время революции были найдены несколько векселей Протопопова. На основании этого судебный следователь, нашедший у меня векселя, также других лиц, великих князей, министров и прочих высоких сановников, хотел меня обвинить в даче взяток. Но до этого дело не дошло. Я пояснил ему, что не могу отвечать за то, что я занимал должность еврея без портфеля.

Назначение Протопопова вызвало в России много шуму. Члены Государственной Думы были возмущены, что он в борьбе за народное представительство стал на сторону царя. Очень озабоченный этим, Протопопов советовался с нами, что делать. Распутин пояснил ему, что он не должен вводить себя в заблуждение. Члены Думы сами не знают, что они хотят. В действительности, Распутин боялся, чтобы против него самого не произносились бы едкие речи. Поэтому он советовал царю и потом Протопопову по возможности оттягивать открытие Думы, и вообще держать представителей народа, как собак на привязи, так как они всегда будут недовольны и всегда будут иметь стремление кусаться. Это выражение особенно любил Распутин.

Царь, царица и Распутин были сильно увлечены Протопоповым. Молодой двор чувствовал себя всеми оставленным и окруженным только врагами. Он находился в сильном беспокойстве, чувствовал опасность, но не был в силах ее предотвратить. Это кажется странным потому, что царь не был еще свержен и имел почти неограниченную власть, но настроение при дворе было в высшей степени подавленным. Тем более ценилось каждое лицо, которое вызывало доверие. Кружок друзей и надежных людей все суживался. Царь становился все более апатичным и безразличным. Создавалось впечатление, что он уже ничем не интересуется. Ему и в голову не приходило принять действительно энергичные меры к примирению со своими врагами и к общему улучшению положения. В это время появился Протопопов, и он сумел воскресить угасшие надежды.

АФЕРА САХАРОЗАВОДЧИКОВ

Сын известного председателя Петербургской синагоги, Зив,

обратился ко мне с просьбой помочь его тестю, Хепнеру, киевскому сахарозаводчику. Хепнер был арестован совместно с сахарозаводчиками Бабушкиным и Добрым.

Так началась известная афера киевских сахарозаводчиков. Их обвиняли в продаже во время войны немцам крупной партии сахара и отправки его в Персию. Дело касалось, насколько я мог установить, крупной махинации с сахаром и имело своим началом крупную продажу перед войной. Военные власти старались всех обвиняемых (они были все евреи), привлечь к ответственности за государственную измену.

Осуждение их военным судом могло иметь самые нежелательные последствия для евреев, и поэтому считалось необходимым всеми мерами противодействовать обвинению заводчиков.

Я советовался с Распутиным. Он согласился помочь арестованным. Зив согласился нести все финансовые тяготы, связанные с благополучным разрешением этого дела. Его первый расход был уплачен в «Вилла Родэ» за кутеж: пятнадцать тысяч рублей.

Далее я заинтересовал этим делом и обер-прокурора Сената, Добровольского, который со своей стороны конферировал с товарищем министра юстиции. Через несколько дней Добровольский посоветовал мне подать через поверенного жалобу на неправильный арест обвиняемых. По мнению Добровольского, процесс подлежал рассмотрению в гражданском суде. Военные же власти держались того взгляда, что произведена спекуляция с сахаром, вредно отозвавшаяся на снабжении армии.

Случай был очень тяжелый, и даже Распутин признался мне, что у него нет надежды. Генералы не хотели его даже слушать. Он пояснил мне, что с этим делом я должен один справиться. После долгих споров он все-таки согласился и в дальнейшем меня поддерживать. Чтобы облегчить борьбу, мы дали Добровольскому обещание провести его в министры юстиции, если он нас поддержит. Со своей стороны он обещал нам распустить комиссию генерала Батюшкина, которая будто бы мешала юстиции. Распутин согласился с этим планом и даже вызвался заинтересовать этим делом царицу. Он, действительно, сумел так устроить, что Добровольский был представлен царице. При посредстве ее окружения старались ей внушить, что генерал Батюшкин и его комиссия приносят много вреда. Распутин выступал вообще против комиссий, в бесполезной работе которых, по словам Распутина, только тратилось много времени, которое могло быть использовано более целесообразно.

Скоро я мог установить, что наша пропаганда в пользу сахарозаводчиков при дворе возымела некоторый успех. Одновременно я предпринимал также шаги и в другом направлении. Я посылал моего друга, Розена, к отдельным членам комиссии, к которым он как бывший прокурор имел отношения, с поручением выведать положение дела и ход расследования, что ему без особых трудов и удавалось. Таким образом, нам удалось узнать слабые пункты обвинения.

От имени дочери Хепнера мы подали на имя царицы прошение о помиловании, в котором мы особенно напирали на слабые стороны обвинения. В прошении указывалось, что сахар был продан немцам еще до войны и отправлен в Персию. Каким путем он оттуда попал в Германию, сахарозаводчикам не известно. Царица послала прошение находящемуся в то время в ставке царю с просьбой поручить установить действительное положение дела.

Николай вызвал генерала Батюшкина в ставку. Здесь ему сообщили, что он скоро будет сменен с должности председателя комиссии и получит другое назначение. Батюшкин сильно возмутился и пожаловался начальнику штаба Алексееву. Последний посоветовал ему не обращать внимания на эти запугивания и спокойно продолжать свою работу. Батюшкин последовал этому совету, но стал осторожнее и начал добиваться расположения к нему Распутина. Когда я это заметил, я пошел к генералу. Мы имели продолжительный разговор. Батюшкин стал податливее, и нам удалось все дело вырвать из рук военного суда и передать его гражданскому суду. Сахарозаводчики признали себя виновными в спекуляции с сахаром, но отвергли обвинение в государственной измене.

Это произошло уже после смерти Распутина. В то время министр юстиции Макаров был уже уволен и вместо него назначен, по моему указанию, Добровольский. Я был в нем вполне уверен и рассчитывал на то, что ему удастся это дело совсем прекратить. Он вызвал к себе киевского прокурора с подробным докладом о ходе расследования. После переговоров с прокурором Добровольский распорядился о прекращении дела. Все же освободить арестованных мне не удалось, так как они были арестованы по распоряжению командующего юго-западным фронтом, Брусиловым, который и слышать не хотел об их освобождении. Он распорядился сослать сахарозаводчиков в Нарымский край.

Мы старались оказать на Брусилова влияние, но совершенно безрезультатно. Тогда Слиозберг написал царю новое прошение, в котором сахарозаводчики признали себя виновными в попустительстве, благодаря которому германцам удалось переотправить сахар в Германию и просили о помиловании. Прошение было подано через министра внутренних дел Протопопова. На прошении царь поставил резолюцию, коей хотя и сахарозаводчики не были совершенно оправданы, но судебное преследование против них было прекращено. Она гласила, что хотя сахарозаводчики и провинились, все же для них будет достаточным наказанием сознавать перед обществом свою вину.

Незадолго перед революцией они были освобождены.

Это дело имело еще в 1919 году свои последствия в Одессе. Хепнер, Розен и я в числе других беженцев также попали туда. Розен очень нуждался. Розен просил Хепнера выдать ему обещанные в Петербурге его зятем Зивом двести тысяч рублей. Хепнер отказался. Тогда Розен пожаловался бывшему члену комиссии генерала Батюшкина, Орлову, который в то время занимал должность начальника контрразведки при генерале Деникине. У него был произведен обыск и при этом найдено мое адресованное ему письмо, в котором я требовал уплаты указанных двухсот тысяч рублей. Хепнера арестовали. В то время Одесса была оккупирована французами. Когда они узнали, что Хепнер в свое время оказывал услуги немцам, они стали к нему относиться весьма подозрительно. Он оставался в заключении до оставления Одессы французами.

МИНИСТР-ПРЕЗИДЕНТ В ВИДЕ ПРИМАНКИ

К началу войны министром-президентом в России был Горемыкин. Старый и совершенно больной человек оставался на своем посту только благодаря своей жене, которая сумела обеспечить себе расположение Распутина. Она постоянно находилась на квартире Распутина и всеми мерами старалась удержать его расположение. Когда Горемыкин все же был смещен, ей удалось все же добиться вновь назначения мужа министром-президентом.

Горемыкина приняла на себя, по ее мнению, почетную работу снабжать Распутина вареным картофелем, который доставлялся Распутину с такой быстротой, что по дороге не успевал остыть. Кроме того, она часто посылала уху, яблоки и белые булочки. Она умела картофель приготавливать десятью способами и этим, действительно, добилась расположения Распутина.

Известный петербургский банкир Дмитрий Рубинштейн, человек очень честолюбивый, высказал пожелание познакомиться с Горемыкиным. Я посоветовал для этой цели пожертвовать Горемыкину для содержания лазарета некоторую сумму денег. По моему совету Рубинштейн через Распутина просил передать Горемыкину для пожертвования соответствующую сумму для лазарета. После этого Распутин представил Горемыкину Рубинштейна. Сумма пожертвования была 200 000 рублей. Госпожа Рубинштейн была назначена начальницей лазарета, и, таким путем, Рубинштейн имел возможность часто встречать Горемыкина.

Это вызывало много зависти среди других финансистов Петербурга, но имело большую пользу для Распутина, так как благодаря этому престиж Рубинштейна сильно поднялся. Он очень гордился знакомством с Горемыкиным и никогда не упускал случая этим похвастаться. Очень часто во время разговора с каким-нибудь лицом, с которым он считался, Рубинштейн звонил по телефону к Горемыкину и справлялся о здоровье его супруги или заводил с ним какой-нибудь незначительный разговор, чтобы этим импонировать присутствующему при разговоре. Соответствующее лицо тогда распространяло по всему городу слухи о близости Рубинштейна с Горемыкиным, что, конечно, в сильной мере укрепляло положение Рубинштейна.

Рубинштейн приобрел большинство акций известного банкирского дома Юнкер и К°. Началась эта операция блестящим балом, на который в числе других был приглашен очень богатый киевский сахарозаводчик Лев Бродский. Рубинштейн надеялся его также привлечь к участию в покупке акций. Ему это удалось. Когда Бродский на балу Рубинштейна увидел министров Горемыкина и Протопопова, Распутина и ряд других высокопоставленных лиц и ему пришлось подслушать дружественные разговоры хозяина дома с влиятельными министрами, он согласился участвовать в покупке акций на несколько миллионов рублей.

Рубинштейн умел выдвигать себя на первый план. Он не скупился большими пожертвованиями на благотворительность. Я с ним находился в хороших отношениях и часто помогал ему в его делах. Его сближение с Распутиным состоялось через меня. Рубинштейн расценивал знакомство с Распутиным очень высоко. Поэтому он охотно отзывался на мои просьбы о помощи бедным евреям. Со своей стороны я также старался быть ему полезным и всюду его рекомендовал для финансовых операций.

БАНКИР ЦАРИЦЫ

Царица просила Распутина указать ей для ее доверительных финансовых операций верного банкира. Он, конечно, обратился ко мне, и я назвал ему Рубинштейна. Распутин вызвал его к себе и спросил его, можно ли ему доверить производство одной финансовой сделки, в которой особенно заинтересована государыня. Рубинштейн пришел в большое волнение и клялся в том, что он оправдает вполне оказанное ему доверие и будет держать данное ему поручение в безусловной тайне. К моему удовольствию, Рубинштейну удалось убедить Распутина, что он является самым подходящим человеком для исполнения поручений царицы.

Распутин рассказал царице, что он нашел для нее очень подходящего банкира, Рубинштейна, члена древней еврейской фамилии, родственника знаменитого композитора, который ко всему этому является одаренным финансистом. Царица согласилась на выбор, и Рубинштейн находился на вершине своего счастья.

Поручение царицы заключалось в следующем.

Царица имела в Германии бедных родственников, которым она помогала. Во время войны денежные переводы в Германию не производились, и царица беспокоилась о своих нуждающихся родственниках. Поэтому она искала возможности тайным образом переслать деньги в Германию. Роль Рубинштейна в этом дела была очень деликатна и опасна, но он исполнил поручение царицы с большой ловкостью и этим заслужил ее благодарность.

Своими отношениями к Распутину Рубинштейн добился некоторого значения в придворных кругах. Оба старались быть друг другу полезными. Лично для себя Распутин от Рубинштейна ничего не требовал. Но он посылал к Рубинштейну массу нуждающихся, чтобы он им помог или дал работу. Рубинштейн никогда не отказывал в исполнении просьб Распутина, но не имел возможности предоставить такой массе работу в своих банках. Поэтому он основал на Марсовом поле контору, назначение которой для него самого было неясно. Служащие этой конторы не имели никакой работы, но регулярно получали жалованье. Этим Рубинштейн достиг того, что Распутин его постоянно хвалил и величал «умным банкиром».

Отношения Рубинштейна к царице никому не были известны, но путем ловкой рекламы Рубинштейн сумел распространить слухи, что он состоит банкиром царского дома. Мануйлов, секретарь президента министров Штюрмера, с особым усердием заботился о том, чтобы эти слухи получили бы более широкую огласку. Однако, скоро Рубинштейна постиг тяжкий удар. Он скупил все акции страхового общества «Якорь» и их с большою прибылью продал одному шведскому страховому обществу. Планы застрахованных в «Якоре» крупных зданий он послал в Швецию. Среди них находились планы многих украинских сахарных заводов.

Это произошло как раз в то время, когда по примеру великого князя Николая Николаевича искали по всей России шпионов. В охоте за шпионами гибла масса невинных людей; она вызвала всеобщее смятение. Почта и пассажиры на границе Швеции подвергались строгому контролю. Когда контролирующие чиновники увидели посылаемые Рубинштейном планы, они вообразили себя напавшими на след большой шпионской организации. Это было скоро после назначения Штюрмера. Старик Горемыкин уже не мог ему помочь. Распутин, бывший недовольным некоторыми его финансовыми махинациями, также был настроен к Рубинштейну не особенно доброжелательно. По распоряжению военных властей Рубинштейн был арестован. Это вызвало внимание всей России. Особенно неприятным был этот арест для евреев, так как он давал новую пищу для разговоров о еврейской шпионской деятельности. Друг Рубинштейна, консул Вольфсон, находящийся в хороших отношениях с графиней Клейнмихель, был также арестован.

Арест Рубинштейна произвел на царицу потрясающее впечатление. Она предполагала, что арест вызван как раз произведенными по ее поручению Рубинштейном операциями. Ее беспокойство улеглось только после того, как выяснилось, что арест с ее поручениями ничего общего не имел. Она все очень боялась, что ее отношения к Рубинштейну могут какнибудь раскрыться, что, конечно, вызвало бы неслыханный скандал. Царицу все это сильно тревожило.

Она поручила статскому советнику Валуеву съездить в ставку и там принять шаги к прекращению дела. Она посоветовала ему сперва обратиться к генералу Гурко с просьбой сообщить все данные о деле. Гурко высказался, что, по его мнению, арест Рубинштейна не имеет достаточно оснований. По его мнению, военные власти произвели арест с целью вообще напакостить евреям.

Рубинштейну угрожала виселица. Гурко знал акты. Он составил доклад, в котором выводилось, что Рубинштейн вообще не совершил военное преступление. Но Рузский, большой враг евреев, с ним не соглашался. Он опасался, что Рубинштейна в Петербурге могут освободить и поэтому распорядился о переводе его и Вольфсона в Псковскую тюрьму. Расследование дела было поручено комиссии генерала Батюшкина, и дело принимало все больший объем.

Все евреи были очень встревожены. Представители еврейства устраивали беспрерывно совещания, на которых много говорилось о преследованиях евреев. На одно из этих совещаний был приглашен также и я. Ко мне обратились с предложением оказать еврейскому народу большую услугу. Вследствие моих отношений к царской чете, Вырубовой, Распутину и министрам все присутствующие считали, что только я один способен что-то сделать. Я должен был добиться прекращения дела Рубинштейна, так как оно для еврейского дела могло оказаться столь же вредным, как в свое время дело Бейлиса. Я вполне сознавал опасность положения и считал, что должны быть приняты все меры, чтобы отвратить надвигающуюся на евреев беду.

В первую очередь я старался достигнуть примирения Распутина с Рубинштейном, Распутин согласился хлопотать за него. По моему указанию жена Рубинштейна посетила Распутина. Она уверяла Распутина в невиновности своего мужа, объясняла все происками врагов евреев и горько плакала. Распутин обращался с ней очень милостиво и предложил ей поехать с ним немедленно в Царское Село.

Царица приняла их в лазарете. Распутин просил ее помочь невинно арестованному человеку. Она расспросила г-жу Рубинштейн о всех подробностях и наконец сказала ей:

— Успокойтесь и поезжайте теперь домой. Я еду в ставку и там расскажу все моему мужу. О результатах я Вам сообщу по телефону.

Госпожа Рубинштейн была очень осчастливлена милостливыми словами царицы.

Нужно было подать прошение об освобождении из-под ареста. Но, к нашему удивлению, известные адвокаты отказались от его составления. Даже находившиеся в дружественных отношениях с Рубинштейном адвокаты не хотели и слышать о нем. Все они боялись военных властей. Но без прошения царица не могла ничего предпринять. Поэтому я поручил составить прошение моему старшему сыну. Мы его передали царице, и к еврейскому Новому году я получил от нее телеграмму:

— Симанович, поздравляю. Наш банкир свободен.

Александра.

На другой день г-жа Рубинштейн отправилась в Псков. Она надеялась своего мужа встретить уже на свободе, но ее радость была преждевременной.

Мы старались выяснить причины, из-за которых задерживалось освобождение Рубинштейна, и скоро их обнаружили. Совместно с братьями Воейковыми Рубинштейн учредил банк. Банк работал плохо, и Воейковы вину приписывали Рубинштейну. Они в этом деле потеряли около восьмисот тысяч рублей, т. е. очень крупную сумму. С тех пор они были врагами Рубинштейна. Один из братьев был дворцовым комендантом. Получив распоряжение царя об освобождении Рубинштейна, он оставил его без исполнения. Эти обстоятельства я выяснил к моменту возвращения царя в Царское Село. После церковной службы мне удалось переговорить с ним. Поступком Воейкова он был крайне возмущен и потребовал подачи ему нового прошения. Это прошение с резолюцией царя было передано для исполнения надлежащему учреждению помимо Воейкова, и Рубинштейн наконец был освобожден. Узнав, что Воейков оставил без исполнения приказ царя, царица устроила своему мужу неприятную сцену. Царь молчал, даже не защищая своего любимца. Создавалось впечатление, что подобный случай не первый.

Наша победа в деле Рубинштейна казалась мне очень важной, так как благодаря ей еврейский народ избежал много новых неприятностей.

ВТОРИЧНЫЙ АРЕСТ РУБИНШТЕЙНА

Рубинштейн недолго оставался на свободе. Скоро после его освобождения был убит Распутин. Я допустил большую тактическую ошибку, благодаря которой опять было возобновлено дело против Рубинштейна. Его арестовали во второй раз. Дело было в следующем.

После смерти Распутина царь был еще милостливее ко мне, так как он предполагал, что я был вполне посвящен в планы Распутина. После погребения Распутина я был вызван к царю, подробно расспросившему меня о надеждах и намерениях умершего. Мне удалось благодаря доверию ко мне царя провести в министры несколько лиц, кандидатуры которых были нами совместно с Распутиным уже намечены.

В последний дореволюционный год все министры назначались и увольнялись исключительно по моим с Распутиным указаниям. При выборе кандидатов мы руководствовались двумя соображениями: насколько предполагаемый министр мог способствовать заключению мира с немцами и нам помочь при проведении еврейского равноправия.

Еще при жизни Распутина я наметил моего юридического советника Добровольского, состоявшего в то время обер-про-

курором сената, в министры юстиции. Он был плотный, по внешним признакам весьма ограниченный мужчина. Но при его помощи в сенате можно было многое сделать. Он очень любил деньги и за подарки услуживал. Поэтому для меня он был очень ценным. Вообще такими людьми Петербург был переполнен.

Я хотел провести Добровольского в министры юстиции, так как предполагал, что он в благодарность будет исполнять все мои желания. Но он был запутан в какую-то грязную историю и пользовался в высших кругах весьма неважной репутацией. Поэтому проведение его в министры стоило мне большого труда, и это назначение вызвало очень много толков в обществе и в газетах.

Назначение Добровольского состоялось после смерти Распутина, но только потому, что я его предложил царю. Я и понятия не имел, что он принадлежал к кружку старого двора. После я узнал, что он друг дома баронессы Розен. Там он часто встречался с мадам Рубинштейн. Они занимались спиритическими экспериментами. Между мадам Рубинштейн и Добровольским произошла ссора, благодаря которой они сделались большими врагами. Что он не будет помогать мне при освобождении Рубинштейна из второго ареста, было для меня ясно. К нашему разочарованию, он действовал против нас. Во время своей первой аудиенции он докладывал царю о необходимости вторичного ареста Рубинштейна, так как по его мнению на него падают очень сильные подозрения в военном шпионаже. Последствием этого было, что безвольный царь отменил свое прежнее распоряжение о прекращении дела против Рубинштейна и согласился на его вторичный арест.

Таким поступком Добровольского мы были захвачены врасплох и не знали, что делать. Я отправился к Добровольскому и устроил ему крупную сцену. Я бранил его и объяснил ему, что он очень скоро вылетит из министерства. Я дал полную волю моей злобе и ударял даже кулаками по столу. Однако старая лисица, Добровольский, старался инициативу приписать царю и вел себя довольно вызывающе. Но на открытый разрыв с нашей партией, т. е. царицей и Вырубовой, у него все-таки не хватало мужества.

После разговора с Добровольским я немедленно отправился к царице и рассказал ей все случившееся. Она была в полном отчаянии, хваталась за голову и говорила мне:

— Симанович, что вы наделали.

Назначение одного из сторонников старого двора министром юстиции действительно могло иметь для царицы самые нежелательные последствия. Опять появилась угроза раскрытия операций по переводу царицей денег в Германию. Довольно долго продолжалось, пока царица пришла в себя. Она повторяла несколько раз:

— Вы нас всех погубили, Симанович, всех погубили...

Я упал перед ней на колени и сказал:

— Простите, Ваше величество, но дело поправимо, нужно прогнать Добровольского.

Царица предложила мне немедленно отправиться к нашему общему доверенному, министру внутренних дел Протопопову и просить, что делать. Протопопов также был изменой Добровольского очень возмущен. Но его смещению препятствовало то обстоятельство, что царь был в убеждении, что Добровольский намечен в министры Распутиным. Сам же Добровольский великолепно знал, насколько царь считался с указаниями покойного, и поэтому усиливал свою враждебность к нам. Протопопов вызвал к телефону Добровольского и сильно его упрекал, но ничего не помогало. Добровольский оставался твердым и только старался формально вину свалить на царя.

При таких обстоятельствах я решил прибегнуть к моему старому испытанному средству — взятке. Протопопов согласился, и мы решили мой план привести немедленно в исполнение.

На другой день я пошел вместе с мадам Рубинштейн в банк, где она получила сто тысяч рублей. Так как мне было известно, что любимая дочь Добровольского была только что помолвлена, то я взял с собой несколько драгоценностей. Добровольский не устоял против соблазна, получил от нас наличными деньгами сто тысяч рублей и драгоценности для свадебного подарка своей дочери и согласился прекратить судебное преследование против Рубинштейна.

Но он свое обещание не сдержал, и нам разрешили только перевести Рубинштейна из тюрьмы в санаторию, где он во всяком случае имел больше удобств. Потом наступила революция. Когда во главе Временного правительства стал Керенский, мадам Рубинштейн при посредстве дружественного к ней адвоката Зарудного добилась освобождения мужа.

ПЛАН ФИКТИВНОЙ РЕВОЛЮЦИИ

С 1916 года Распутин не скрывал, что он противник войны. Он постоянно высказывался за скорейшее заключение мира. Если ему говорили, что царь и слышать об этом не хочет, то он отвечал, что во всем виновата «баба». Она бросила камень в воду, а теперь трудно его найти. Он подразумевал царицу-мать, которая пропагандировала русско-английское сближение. Распутину этот союз казался мало удачным. Он говорил мне, что существует только одна возможность вызвать мирные переговоры: революция. Только революция могла Россию освободить от обязанности перед своими союзниками. Политическое будущее России Распутину рисовалось в очень мрачных красках.

— Все министры жулики, — любил он говорить, — а дворянство кусается. У царя нет советников, и он не видит выхода. Он изворачивается и не решается ни на мир, ни на войну. Может быть, нам удастся найти министров, которые будут за заключение мира, и в его необходимости убедят также царя. Мама хочет мир, но все плачет. Ее сестра, Елизавета, увлекается войной, она хотя и немка, но восстанавливает всех против немцев. Она потребовала даже от царя моей высылки и заключения царицы в монастырь. Это она требовала по поручению московского дворянства. Царица прогнала ее, и царь посоветовал ей лучше вернуться в учрежденный ею монастырь. Хорошо, что она не может продолжить свои козни, иначе и я не был бы от нее в безопасности. Но теперь победа на нашей стороне.

Во время посещений Царского Села сестрой царицы Распутин был в сильном беспокойстве. Когда он полностью узнал ее намерения, он сильно взволновался, писал разные записки и клал их под свою подушку. На другой день он тогда казался уверенным в своей победе. В происках великой княгини царь отказал, но положение перед тем было столь критическим, что я счел необходимым сжечь некоторые бумаги, которые в случае выступления против Распутина могли бы оказаться опасными. Касалось это главным образом поступивших к Распутину со всех концов России прошений, количеством превосходящих число прошений, получаемых даже царицей. При просмотре бумаг нам помогал епископ Исидор.

Пришлось установить, что пошатнувшееся доверие народа к царю выявлялось также в сильно уменьшившемся в последние годы перед революцией числе поступавших прошений на имя царя. Царица этим явлением была сильно обеспокоена. Она старалась, насколько это только было возможно, исполнять все поступающие просьбы. Мы старались это обстоятельство использовать для наших целей и советовали многим к нам обращавшимся подавать прошения царице, будучи уверены, что эти прошения будут удовлетворены.

Мирная пропаганда Распутина вызвала недовольство представителей союзников России. Французский посол Палеолог имел даже свидание с Распутиным, но ничего не добился от хитрого мужика. Однажды через одну из поклонниц Распутина к нему обратилась одна английская художница с просьбой разрешить ей писать с него портрет. Он согласился, но работа подвигалась очень медленно. После истечения около полгода, Распутин выбросил художницу со словами:

— Я знаю, что ты от меня добиваешься, — сказал он, — но ты меня не перехитришь.

Оказалось, что эта художница старалась приблизиться к Распутину по поручению английского посла Бьюкенена, чтобы выследить Распутина.

После назначения Протопопова у Распутина появилась надежда на возможность окончания войны.

— Царь теперь имеет верного советника, — выражался он, — может быть теперь нам удастся остановить бессмысленное кровопролитие.

Он устроил совещание, на котором кроме Протопопова присутствовали начальник петербургского гарнизона Хабалов, начальник политической охраны генерал Глобачев и начальник петербургской крепости, генерал Никитин. К изумлению Распутина, Протопопов привел с собою также своего сотрудника, генерала Курлова.

Распутин открыл совещание и заявил, что царь поручил ему посоветоваться по одному очень важному и строго секретному делу с безусловно верными людьми и спросил, может ли он быть вполне уверенным в этом относительно всех присутствующих.

— Я вполне доверяю всем присутствующим, — ответил Протопопов.

— Но среди нас есть лицо, которому я не доверяю, — ответил Распутин, — если бы я знал, что ты назначишь его своим сотрудником, я не стал бы хлопотать о твоем назначении. Этот человек — Курлов. Я не стану в его присутствии говорить.

Курлов встал и удалился. Распутин продолжал:

— Он человек больной и все путает. Царь его не любит. Он подозревается в участии при покушении на Столыпина. К остальным генералам я питаю полное доверие. Теперь говори, Александр Димитриевич, что царь тебе приказал.

— Царь поручил мне, — заявил Протопопов, — устроить восстание.

— Почему как раз ты хочешь взять на себя это поручение? — спросил Распутин. — Ведь это больше дело генералов? Как ты хочешь это устроить?

— Я поручил вполне верному нам председателю Союза Русского Народа, Др. Дубровину, доставить с Кавказа людей, на которых мы можем вполне надеяться. Это отчаянные головорезы, но, безусловно, нам преданные. Они подавят восстание в подходящий момент. Число городовых будет также увеличено на 700 человек, и они будут обучены обращению с пулеметами.

— Ты не говорил генералу Хабалову, что он должен удалить из Петербурга солдат старых призывов и заменить их молодыми?

— В этом нет надобности, — ответил Протопопов.

— Это должно быть сделано, — настаивал Распутин и, обращаясь к генералу Хабалову, добавил:

— Ты должен стянуть к Петербургу молодых солдат и старых офицеров. Царь должен как можно чаще их навещать и привлечь на свою сторону. Тогда устроим беспорядки. Солдаты нас защитят. После этого царь заключит мир.

— Каким путем ты учинишь беспорядки?

— Я вышлю на улицу моих людей с криками: «Давайте хлеба!» Это вызовет общее выступление, но солдаты без труда разгонят толпу. Мы сможем тогда нашим союзникам сказать: — «Мы находимся перед революцией». Но я считаю, что нет необходимости вызывать в Петербург новые военные части. Мы можем вполне положиться на теперешний петербургский гарнизон.

Распутин утверждал, что царь уже получил от Вильгельма мирное предложение и обсуждал его с некоторыми доверенными лицами. Он собирается возобновить прежний торговый договор с Германией и признать самостоятельность Польши. Россия получает часть восточной Галиции, населенной православными русинами. Прибалтийские губернии должны отойти к Германии, но зато Россия получает свободный проход через Дарданеллы. Но царь заявил, что он не может приступить к заключению мира до тех пор, пока не произойдут беспорядки.

Агент члена Государственной Думы Пуришкевича Лапчинская сумела подслушать и записать этот разговор. План фиктивной революции стал известным в Петербурге. Протопопов приступил к подготовительным работам, но странным образом поручил их Курлову. Как раз в это время был убит Распутин, и план был оставлен.

ПОКУШЕНИЯ НА РАСПУТИНА

Мне было прекрасно известно, насколько Распутина ненавидели его враги, и об его безопасности я был в постоянном беспокойстве. Для меня было ясно, что неслыханное возвышение этого мужика должно повлечь за собой трагическую развязку.

Во время ночных попоек Распутина часто происходили всякие недоразумения и столкновения. Они всегда заканчивались гладко, но только благодаря мною уже заранее предпринятым мерам предосторожности. Для охраны Распутина была организована специальная служба, подчиненная начальнику петербургского охранного отделения генералу Глобачеву. Дом, в котором жил Распутин, постоянно охранялся агентами полиции. При оставлении Распутиным квартиры его всегда сопровождали агенты охраны. О своих наблюдениях они составляли доклады, которые представлялись по начальству. Охрана Распутина была организована по образцу охраны членов царской фамилии. Для охраны отпускались значительные суммы денег. На охранную службу командировались исключительно опытные и надежные агенты. Я сам также старался Распутина не выпускать из виду. Мы встречались по несколько раз в день. Если он не находился во дворце или у Вырубовой, то я навещал его и по вечерам. Кроме того, мы часто беседовали по телефону. На Распутина постоянно устраивались покушения. Зачинщиком некоторых из них являлся монах Илиодор.

Однажды утром мы провожали Распутина с одной попойки в Вилле «Родэ» домой. На Каменноостровском проспекте были брошены несколько больших поленьев дров перед нашим автомобилем с целью вызвать катастрофу. К счастью, шофер обладал достаточным присутствием духа и свернул машину в сторону. При этом переехали одну крестьянку. Покушавшиеся бежали. Мы позвали находившегося поблизости городового, который нагнал и арестовал одного из покушавшихся крестьян. Стонавшую крестьянку мы доставили в больницу. Распутин успокаивал ее и дал ей денег. Поранения ее были незначительны. Арестованный назвал всех своих сообщников. Все они были простыми крестьянами из Царицына, главной цитадели Илиодора. Он их подговорил к покушению, но они не намеревались лишить жизни старца, а лишь подшутить над ним.

Распутин отказался от судебного их преследования. Из Петербурга они были высланы на родину.

Второе покушение было произведено на Распутина незадолго перед началом великой войны. Распутин находился тогда в своем родном селе, Покровском.

Распутин ежегодно ездил летом на свою родину, и в тот раз его сопровождал журналист Давидсон. Впоследствии я узнал, что этот журналист будто бы знал о предполагающемся покушении и собирался писать сенсационные статьи об убийстве Распутина. Спор между Распутиным и Илиодором достиг в то время наивысшего своего напряжения, и Илиодор задумал еще раз принять меры к насильственному устранению своего врага. К поклонницам Илиодора принадлежала Гусева, также знакомая Распутина, крестьянка с провалившимся носом. Она получила от Илиодора приказание убить Распутина. В село Покровское она явилась еще до приезда туда Распутина, часто посещала дом Распутина и не вызывала ни малейшего подозрения. Однажды Распутин получил из Петербурга телеграмму. Он привык за доставку телеграмм давать чаевые. На этот раз телеграмма была вручена не ему, а одному из членов семьи.

Распутин спросил, не забыли ли дать на чай и, получив отрицательный ответ, он поспешил за доставившим телеграмму. Гусева его поджидала и подошла к нему со словами: «Григорий Ефимович, подай, Бога ради, милостыньку».

Распутин начал искать в своем кошельке монету. В этот момент Гусева ударила Распутина в живот спрятанным перед тем под платком ножом. Так как на Распутине была надела лишь рубашка, то нож беспрепятственно вонзился глубоко в тело. Тяжело раненный, с распоротым животом, Распутин побежал к дому. Кишки выступали через рану, и он держал их руками. Гусева бежала за ним, намереваясь ударить еще раз. Но Распутин был еще в силах подобрать полено и им выбить у Гусевой нож из рук. Гусеву окружили прибежавшие на крики люди и изрядно избили. Бесспорно над ней был устроен самосуд, но Распутин попросил за нее. Рана оказалась очень опасной. Врачи считали чудом, что он остался живым. Он употреблял какие-то целебные травы, и свое исцеление приписывал исключительно им.

В Петербурге многие были того мнения, что если бы Распутин был ко времени объявления войны в Петербурге, то ему удалось бы войну предотвратить. Зная Распутина и обстоятельства, я должен к этому мнению вполне примкнуть. Царь безусловно следовал его советам. Распутин уже в то время был противником всяких войн. Задерживаемым своим ранением в Покровском, он телеграфировал царю во всяком случае отказаться от войны. Но телеграмма не могла оказать на царя такое влияние, как его личное присутствие. Объявление войны привело Распутина в такое волнение, что его рана вновь раскрылась. Он послал царю вторую телеграмму, в которой он умолял царя еще раз отказаться от войны, но было уже поздно.

Распутин рассказывал мне, что после Сараевского убийства он неоднократно указывал царю, что не стоит начинать войну с Австрией из-за Сербии. По этому поводу он даже поссорился с царем.

— Ты родился несчастным царем, — взволнованный, говорил он ему. Народ еще не забыл Ходынскую катастрофу при коронации и гибельную войну с Японией. Мы не можем начинать новую войну. Плати им, сколько хочешь. Дай Австрии 400 миллионов, но только не войну. Война всех нас погубит.

Распутин не любил балканские страны. Во время своего посещения в 1913 году Петербурга, болгарский царь Фердинанд навестил Распутина. Причиной этому послужил отказ Николая принять Фердинанда. Распутин исхлопотал для него прием у царя. Но результаты не были удовлетворены. Распутин рассказывал мне, что Фердинанд поехал домой с красным носом.

Фердинанд старался повлиять на Николая II указанием о возможности новой балканской войны. Распутин был уверен, что не существует военной опасности. — Пока я жив, я не допущу войны, — говорил он.

ЗАГОВОР ПРОТИВ РАСПУТИНА

Теперь я приступаю к описанию убийства Распутина во всех подробностях. Оно не произошло для меня неожиданно. Меня неоднократно предупреждали, и как раз в дни, предшествующие убийству, я принял тщательные меры предосторожности. Они, однако, не достигли благодаря несчастным случайностям своей цели. Первые слухи о предполагаемом убийстве были мне доставлены следующим образом. В то время в Петербурге существовало много клубов, в которых шла карточная игра.

Во главе клубов обычно стояли высокопоставленные лица или люди с громкими именами. Они получали большие оклады, но не имели никакого влияния на дела клуба. Я был владельцем такого клуба под названием «Пожарный Клуб», и находился он в доме графини Игнатьевой на Марсовом Поле. С пожарным делом клуб ничего общего не имел. Он служил исключительно для карточной игры. Председателем правления состоял городской голова Пскова Томилин. В клубе на хороших условиях служили двое молодых людей. Один назывался Иваном, а другой Алексеем. Фамилии обоих я забыл.

Томилин был избран председателем «Национального Клуба», который находился недалеко от моего клуба. Поэтому Томилин должен был нас оставить. Он пригласил с собою также моих обоих служителей. Я этому не противился, так как вследствие их новой службы мне предоставлялась возможность узнавать о происшествиях в новом клубе.

Для меня было весьма ценно быть осведомленным о том, что происходило в других клубах и общественных собраниях, и поэтому я всюду имел своих людей. Это было мне необходимо для успешного ведения дел моих многочисленных клиентов. Один из моих бывших служителей, Иван, явился однажды ко мне с сообщением о состоявшихся в Национальном Клубе таинственных совещаниях, которые ему казались очень подозрительными. Подробностей он не мог мне сообщить, так как в той комнате, в которой состоялись совещания, прислуживал не он, а его коллега Алексей. Он только знал определенно, что на этих совещаниях много говорилось о Распутине.

— Слушай, Иван, вот тебе пятьсот рублей, передай их Алексею и попроси его от моего имени выяснить все подробности этих совещаний. Деньгами он может не скупиться. Я вас обоих хорошо вознагражу, если вам удастся выяснить, что подготавливается в клубе.

Иван и Алексей великолепно знали, что в таких делах я наградами не скупился. После пары дней ко мне явился Алексей и рассказал мне, что ему удалось разузнать о совещаниях в их клубе. Он передал, что на совещаниях председательствовал известный антисемитский член думы Пуришкевич, а участвовали великий князь Дмитрий Павлович, граф Татищев, молодой князь Феликс Юсупов, бывший министр внутренних дел Хвостов, реакционный член думы Шульгин и несколько молодых офицеров, фамилии последних Алексей не знал. Но он слышал, что это были великие князья. Все время на совещаниях много говорилось о Распутине. Иногда назывались также имена английского посла Бьюкенена, царя и царицы. Затевалось что-то таинственное и говорилось, что кого-то необходимо выставить.

Общее впечатление было, что против царя и Распутина затевался заговор, головой которого был Пуришкевич. Сообщение Алексея заставило меня задуматься. В сопровождении его я немедленно отправился к Распутину. Я обещал Алексею еще большее вознаграждение, если ему удастся получить дальнейшие сведения и поставил ему на вид возможность получить службу во дворце. Этим он был очень обрадован и обещал мне сделать все возможное.

Распутин выслушал сообщения Алексея с большим вниманием и был сильно возмущен заговором. Пуришкевича он всегда считал своим врагом. Но мы были уверены, что при помощи Алексея нам удастся обезвредить затеянный Пуришкевичем план. Алексей ежедневно являлся ко мне и доносил о дальнейших действиях заговорщиков. Он сообщал, что в совещаниях участвовало также много членов Государственной Думы, фамилии которых он не мог установить.

У меня всегда счастливилось с моими сотрудниками. На этот раз особенно ценным для меня помощником оказался Евсей Бухштаб, который работал в одном из моих предприятий. Бухштаб был дружен с одним врачом по венерическим болезням, фамилию которого я не хочу называть. Я только ограничусь указанием, что он имел клинику на Невском проспекте. Пуришкевич в то время лечился сальварсаном. Я просил Бухштаба расспросить его друга, врача, что затевает Пуришкевич против Распутина. Мы полагали, что благодаря своей болтливости Пуришкевич не утерпит посвятить своего врача в планы заговора. Бухштаб посещал врача ежедневно и обещал ему большое вознаграждение, если ему удастся разузнать планы Пуришкевича. Врач согласился на наше предложение.

Однажды оба пришли ко мне в большом волнении. Они рассказали мне следующее.

После произведенного впрыскивания сальварсана Пуришкевич прилег. Врач разговаривал с ним и как будто совершенно случайно заговорил о Распутине и высказал мысль, что тот является большим несчастьем для России и что следовало бы его удалить. Пуришкевич ответил, что он может уверить его, что скоро Распутина не станет. Он собирается освободить русский народ от Распутина. Вся Государственная Дума, включая и председателя Родзянко, с ним согласна. Скоро уже царь не сможет помешать работе Думы, ее распуская. «Вы увидите, — закончил он, — что произойдет в ближайшие три дня».

Я очень благодарил врача за это сообщение и отправился в Царское Село. Там я имел разговор с сестрами Воскобойниковыми, находящимися в очень близких отношениях к царице. По моему мнению, было необходимо посвятить царскую чету в дело о заговоре Пуришкевича, и я просил сестер передать царю, что я считаю весьма полезным вызвать указанного врача в Царское Село и лично его расспросить о заговоре. Без сомнения, предполагался государственный переворот. Положение очень серьезное. Я посоветовал также допросить обоих служителей клуба: Ивана и Алексея. После этого я направился к Распутину и также рассказал ему все. У него были гости: придворная дама Никитина и Маня Головина. По-видимому, Распутин не хотел выдавать перед ними свое волнение и внешне казался спокойным.

Когда гости уехали, я сказал Распутину:

— Дело очень серьезное, и ты не должен терять времени. Поезжай немедленно к царице и расскажи ей, что затевается переворот. Заговорщики хотят убить тебя, а затем очередь будет за царем и царицей. Царь должен от тебя отказаться. Только этой жертвой можно остановить надвигающуюся революцию. Когда тебя не будет, все успокоятся. Ты восстановил против себя дворянство и весь народ. Скажи папе и маме, чтобы они дали тебе один миллион английских фунтов, тогда мы сможем оба оставить Россию и переселиться в Палестину. Там мы сможем жить спокойно. Я также опасаюсь за мою жизнь. Ради тебя я приобрел много врагов. Но я хочу жить.

Не в первый раз я уже ему это говорил. Но я еще никогда не чувствовал опасность столь сильной и близкой. Для меня это было ясно, что Распутин не мог дольше оставаться при царском дворе. Мои предупреждения не остались без результатов. Взволнованный Распутин ходил по комнате, потом он потребовал вина и было видно, что он хочет привести себя в состояние ясновидящего. Принесли вино и Распутин выпил сразу две бутылки мадеры.

— Сказанное тобою еще преждевременно. Я не скажу царю ничего из твоего разговора. Еще рано.

Он говорил очень скоро, его глаза блестели.

— Дворянство против меня, — вдруг воскликнул он. — Но дворянство не имеет русской крови. Кровь дворянства смешанная. Дворянство хочет меня убить, потому что ему не нравится, что около русского трона стоит русский мужик. Но я им покажу, кто сильнее. Так скоро они меня не забудут. Я уйду только после заключения мира с Вильгельмом. До тех пор от меня не освободятся. Дворянство врет. Оно только ищет, как можно больше выжать из крестьянина. Но я пошлю моих мужиков домой с фронта, дворяне могут кусаться, сколько им угодно.

Наша беседа продолжалась еще долго. Мои старания заставить Распутина отказаться от своей роли при царском дворе остались безрезультатными.

ПРЕУВЕЛИЧЕННАЯ САМОУВЕРЕННОСТЬ РАСПУТИНА

Нам не пришлось долго ждать новых известий о предполагаемом заговоре. При моем следующем посещении Распутина я там встретил трех офицеров: обоих братьев князей Эристовых и жениха дочери Распутина Марьи — Симеона Пхакадзе. Распутин любил армян и желал, чтобы его дочь вышла замуж за офицера армян. К Пхакадзе он был особенно расположен. Но потом оказалось, что он находился на службе Русского Национального Клуба и был помолвлен с дочерью Распутина лишь для того, чтобы легче проникнуть в дом Распутина и произвести покушение.

Братья Эристовы и Пхакадзе пришли к Распутину, чтобы пригласить его на попойку, которая должна была состояться в доме графа Толстого, на Троицкой улице. Там он был встречен большим обществом, и было много выпито. Многие гости были совсем пьяными.

Вдруг Распутин заметил, что Пхакадзе вытащил свой револьвер и направил на него. Пхакадзе предполагал, что Распутин ничего не замечает. Тогда Распутин повернулся к нему, пристально на него посмотрел и сказал:

— Ты хочешь меня убить, но твоя рука не повинуется.

Пхакадзе был ошеломлен и выстрелил себе в грудь. Среди гостей возникла паника. Одни окружили Пхакадзе и старались ему помочь, другие хотели успокоить Распутина, но он, никого не слушая, повернулся, вышел, взяв свою шубу, и направился домой.

После прихода домой он немедленно вызвал меня к себе и рассказал о случившемся. При этом он не был не только подавлен, но находился даже в хорошем расположении духа. Он даже подпрыгивал, как он это делал, когда был в радостном настроении, и сказал мне:

— Ну, теперь опасность миновала. Покушение уже произведено. Пхакадзе, конечно, больше не жених моей дочери. Он поедет теперь домой.

Он был вполне уверен, что ему не грозит больше никакая опасность.

Я же был уверен, что заговорщики не успокоятся неудавшимся покушением. Опасность казалась мне еще больше. Я предполагал, что Пхакадзе, находившийся в отпуске в Петербурге, и отпуск получил только для производства покушения на Распутина.

Вернувшись домой, я узнал, что Распутин приглашен на чай к одному из великих князей. Это сообщение обеспокоило меня, и я счел нужным Распутина предупредить. Для меня было ясно, что необходима крайняя осторожность. Если на этом чае участвовали великий князь Дмитрий Павлович или князь Феликс Юсупов, то для меня было ясно, что на Распутина опять что-то готовилось. Я опять поехал к нему, чтобы его лично предупредить.

— Будь осторожен! — воскликнул я, — чтобы они с тобой там не прикончили.

— Что за глупости! — ответил он. — Я уже справился с одним убийцею, и с такими мальчишками, как князь, я также справлюсь. Я поеду к ним, чтобы этим доказать перед царем мое превосходство над ними всеми!

— Но мы не можем допустить, чтобы ты пошел, — возразил я, — они тебя там убьют.

— Никто не может запретить мне ехать, — настаивал он. Я только жду «маленького», который за мной должен заехать, и мы поедем вместе.

— Кто же этот «маленький»? — спросил я с любопытством. Я уже раньше слышал это прозвище, но Распутин не хотел его мне выдавать. Но он был возбужден и бегал по комнате.

— Григорий, ты должен быть готовым, — сказал я, — что тебя сегодня или завтра убьют. Лучше послушай моего совета и исчезни. Иначе для тебя нет спасения.

. В этот момент раздался телефонный звонок, и Распутин пошел к телефону. Незнакомый женский голос спрашивал:

— Не можете ли Вы мне сказать, когда состоится отпевание Григория Распутина?

— Тебя похоронят первой, — ответил злобно Распутин и повесил трубку.

— Видишь, уже тебя хоронят, — сказал я. — Слушайся меня. Брось свои фантазии. Ты мог бы их провести двести лет тому назад, но не теперь. Я не хочу больше с тобой спорить, а все скажу царю, царице и Вырубовой. Может быть им удастся тебя научить.

— Слушай, — сказал Распутин, — я сегодня выпью двадцать бутылок мадеры, потом пойду в баню и затем лягу спать. Когда я засну, ко мне снизойдет божественное указание. Бог научит меня, что делать и тогда уже никто мне не опасен. Ты же убирайся к черту!

Распутин велел принести ящик вина и начал пить. Каждые десять минут он выпивал по одной бутылке. Изрядно выпив, он отправился в баню, чтобы после возвращения, не промолвив ни слова, лечь спать. На другое утро я его нашел в том странном состоянии, которое на него находило в критические моменты его жизни. Перед ним находился большой кухонный таз с мадерой, который он выпивал в один прием. Я его спросил, чувствует ли он прибавление своей «силы».

— Моя сила победит, — ответил он, — а не твоя.

В этот момень вошла очень возбужденная Вырубова.

— Были ли здесь сестры из Красного Креста, — спросила она. Видимо, смутившийся Распутин прошептал мне: — говори, что сестры здесь были.

Оказалось, что царица и одна из ее дочерей, в форме сестер Красного Креста, навестили Распутина.

Они приходили просить Рвспутина без моего ведома не принимать никаких приглашений. Это было результатом моих предостережений.

После этого приезжали также епископ Исидор, придворная дама Никитина и другие лица, и все они умоляли Распутина не выезжать.

Я посвятил также министра внутренних дел Протопопова а мои заботы. Он находил эти тревоги беспочвенными, так как он не видел никакой опасности, советовал мне ехать домой и присовокупил:

— Я сам примусь за это дело. Царица приказала мне позаботиться о том, чтобы Рвспутин сегодня не уходил из дому. Все меры предприняты, и Распутин сам своим честным словом обещал мне сегодня не оставлять квартиру. Нет ни малейшего повода к беспокойству.

Протопопов говорил очень уверенно, и это меня несколько успокоило.

Я возвратился к Распутину.

В это время гости Распутина стали постепенно расходиться. Я же считал необходимым также принять некоторые меры предосторожности. Я велел Распутину раздеться и запер в шкаф на ключ его платье, сапоги, шубу и шапку. На квартире Распутина остался секретарь митрополита Питирима Осипенко, который мне обещал следить за Распутиным. Кроме того, дом был окружен агентами охранной полиции, получившими распоряжение не выпускать Распутина.

Но Распутин сумел нас всех перехитрить. Он вышел к агентам охраны, дал им деньги и уговорил их уйти, так как по его словам, он собирался спать. Они поверили ему и пошли в какой-то ресторан.

После этого к Распутину приезжал еще Протопопов, чтобы удостовериться в исполнении всех его распоряжений. Распутин уже находился в кровати. Он просил Протопопова распорядиться, чтобы Осипенко ушел, так как его присутствие излишне. Протопопов исполнил эту просьбу. Ушел также в то время у Распутина еще находившийся епископ Исидор. Протопопов оставался еще некоторое время. При прощании Распутин как-то таинственно сказал ему:

— Слушай, дорогой. Я сам господин своего слова. Я его дал, но я его могу и взять обратно.

Протопопов изумился этим словам, но объяснил их всегда несколько страным распутинским оборотом речи и ушел.

УБИЙСТВО РАСПУТИНА

В полночь ко мне позвонил Распутин по телефону и сказал:

— Приехал «маленький», я поеду с ним.

— Боже упаси, — воскликнул я испуганный. — Оставайся дома, иначе они тебя убьют.

Слово «маленький» приводило меня в ужас.

— Не беспокойся, — возразил Распутин, — приезжай к нам. Мы будем пить чай, и в два часа я позвоню к тебе.

Нечего было делать. Я не имел возможности удержать Распутина. Но о сне я и думать не мог и поэтому остался с моими сыновьями около телефона. Часы пробили два, потом три... Распутин не звонил. Я не был в состоянии подавить мое волнение и сказал моим детям:

— Помните мои слова, они убили Распутина.

Наконец я поехал с моим старшим сыном Семеном к Распутину и разбудил его племянниц и дочерей. Я им заявил прямо:

— Ваш отец убит, нужно искать его тело.

Девушки заплакали. Я их спросил, кто такой «Маленький».

— Отец запретил нам это говорить, — ответили они.

— Он убил Вашего отца, — воскликнул я.

— Это — Юсупов, — наконец призналась старшая дочь Марья.

Когда я услышал эту фамилию, я в отчаянии схватился за голову. Теперь мне стало ясно все. У меня уже не было сомнений, что Распутин сделался жертвой страшного заговора.

— Как же Юсупов с ним встретился, — удивленный спросил я, — ведь они были большие враги.

— Через Маню Головину, — к моему удивлению ответила дочь Распутина.

Для меня это было непонятно. Головина была фанатической поклонницей Распутина, и я не мог себе представить, что она могла бы явиться участницей заговора.

Я отправился к Мане Головиной и не скрывал от нее мою тревогу.

— Григорий убит, — сказал я ей. Но она мне не верила.

— Нет, Вы ошибаетесь, — ответила она, — Григорий жив.

Я спросил ее, для какой цели она способствовала сближению Распутина и Юсупова. Для меня было ясно, что она и понятия не имела о заговоре. Она сообщила мне следующие подробности.

Родители Юсупова не были довольны своим сыном, и поэтому они послали его для образования в Англию. Только после убийства из-за какой-то проститутки на дуэли его старшего брата ему было разрешено вернуться в Петербург.

Так как Феликс был гомосексуалистом, то родители пытались его вылечить с помощью Распутина. Лечение, которому подвергался Феликс, состояло в том, что Распутин укладывал его через порог комнаты, порол и гипнотизировал. Немного это помогло. Но Феликс поссорился с Распутиным, так как послед-

ний был против его брака с дочерью великого князя Александра Михайловича Ириной.

План женитьбы Юсупова на великой княжне Ирине имел целью влить несметные богатства князей Юсуповых во владения семьи Романовых.

Князья Юсуповы были татарского происхождения. Поэтому Распутин часто говорил, что в их жилах не течет русская кровь, и советовал Николаю не выдавать Ирину замуж за Феликса Юсупова, так как он вообще не мог быть мужем.

Молодой Юсупов узнал об этих выражениях Распутина и страшно возмутился. Произошло очень бурное столкновение, после которого они не встречались, пока их опять не помирила Маня Головина.

Царица была против женитьбы Феликса на Ирине, и после того, когда эта женитьба все же была решена, она долгое время не разговаривала с царем. Она присутствовала на венчании, но не разговаривала с Николаем.

Все эти подробности я узнал от Распутина — перед которым царская чета не имела секретов.

Я лично с князем Юсуповым познакомился при следующих обстоятельствах: Юсупов хотел купить для своей невесты подарок — жемчужное колье, которое было выставлено в окне ломбарда около Синего Моста. Я требовал 12 000 рублей. Юсупов поехал туда со своим комиссионером Эйзенбергом и мною. Эйзенберг отличался красным цветом лица и имел искусственную ногу, вследствие чего бросался всем в глаза. Покупка не состоялась. Распутин был против моих деловых сношений с Юсуповым по причине своей враждебности к нему.

Феликс Юсупов, окончив военное училище, был произведен в офицеры. Но царь не хотел его, вследствие его гомосексуальности, принять в гвардию. Юсупов решил обратиться к Распутину в надежде, что царь не откажет Распутину в ходатайстве. Он обратился к Мане Головиной замолвить за него перед Распутиным доброе слово. — Я достигла их примирения, — гордо заявила она, — Феликс пригласил сегодня Распутина к себе. Григорий обещал вылечить (?!) также княгиню Юсупову. Теперь они кутят и чествуют свое примирение. Убийство совершенно исключается.

Я знал, что княгини Юсуповой совсем не было в столице. Вне сомнения, Распутин был вовлечен в ловушку. Но Маня Головина уверяла, что Распутин, как обычно после кутежа, благополучно вернется домой.

Я поспешил к Протопопову, разбудил его и рассказал ему все.

— Но Распутин же дал мне свое честное слово, что он никуда не поедет, — удивился министр.

Я рассказал, каким способом он тайком ушел из дому. Протопопов обеспокоился, звонил по телефону и поднял на ноги всю полицию. Распутина искали по всему городу.

С епископом Исидором я направился в полицейский участок в районе дворца Юсуповых. Участковый пристав, с которым я был дружен, также разделял мое мнение, что Распутин убит. Ему уже доносили, что ночью из дворца Юсуповых были слышны выстрелы. С тех пор, как стало известно о заговоре, квартира заговорщиков находилась под постоянным полицейским наблюдением. Городовой, находившийся ночью на этом посту у дворца Юсуповых, доносил, что ночью подошел к нему неизвестный, назвался членом Государственной Думы Пуришкевичем, передал ему пятьдесят рублей и заявил, что он убил Распутина.

— Я освободил Россию от этого чудовища. Он был другом германцев и хотел мира. Теперь мы можем продолжать войну. Ты также должен быть верным своему отечеству и молчать.

Городовой направился в участок, где обо всем и доложил. Пристав велел вызвать в участок кого-нибудь из слуг Юсуповых.

Вызванный слуга был бледен и сильно взволнован. Он заявил, что он видел автомобиль, которым управлял великий князь Дмитрий Павлович. В этом автомобиле сидели Юсупов и Распутин, а рядом с великим князем с нарочно измененным лицом Пуришкевич. Он им открывал двери и потом получил от Юсупова распоряжение удалиться. Дальнейшие подробности затем сообщила присутствовавшая при убийстве и тоже стрелявшая двоюродная сестра Юсупова.

Участниками заговора были великий князь Дмитрий Павлович, оба сына великого князя Александра Михайловича, братья жены Юсупова и Пуришкевич. Отец Юсупова и бывший министр внутренних дел Хвостов ожидали результатов убийства в другой части дворца. В убийстве Распутина принимала участие двоюродная сестра Юсупова и танцовщица Вера Коралли. Один из шуринов Юсупова находился спрятанным за портьерами в передней. При входе Распутина он выстрелил в него и попал в глаз. В упавшего Распутина стреляли уже все, только Вера Коралли отказалась и кричала: я не хочу стрелять.

Ее крик был услышан даже в соседних помещениях.

Заговорщики полагали, что Распутин уже мертв. Они надели на него его шубу, завернули его в дорожный плед и спрятали в подвал дома с намерением потом его удалить из дома.

Но Распутин был еще жив, хотя в него и было сделано 11 выстрелов.

Он пришел в себя, выбрался из подвала, направился в окруженный высокой стеной сад и там искал из него выход. Он даже старался перелезть через стену, но это ему не удалось. Собаки подняли сильный лай, который привлек внимание убийц. Они бросились и начали ловить Распутина. Последний, несмотря на свои раны, отчаянно сопротивлялся. Наконец Дмитрию Павловичу удалось поймать Распутина, и он был связан по рукам и ногам веревками. Впавшего в то время в обморочное состояние Распутина повезли в автомобиле в заранее выбранное место, на скованной льдом Неве, близ Каменного острова. С деревянного моста сбросили Распутина в воду, которая около моста была незамерзшей.

Было очень трудно найти то место, где тело Распутина было сброшено в воду. Но мой сын Семен нашел около моста галошу Распутина. Мы также заметили следы крови, которые вели к одной проруби. В полверсте от этого места мы на льду нашли тело Распутина. Оно было сильно занесено снегом. По-видимому, Распутин выбрался из воды и потащился по льду, и только благодаря сильному морозу он погиб; шуба на нем была продырявлена пулями в восьми местах. Его правая рука была развязана и приподнята, как бы для сотворения крестного знамени. Наверно, ему еще в автомобиле удалось освободиться от веревок, и в воду он был брошен живым.

Это произошло 17-го декабря 1916 года.

ПОХОРОНЫ РАСПУТИНА

После нахождения тела Распутина туда явились Протопопов, начальник политической охраны Глобачев, начальник петербургского гарнизона, генерал Хабалов, петербургский градоначальник Балк и полицмейстер Галле. В их присутствии тело было перенесено в автомобиль.

Еще до нахождения тела Распутина в восемь часов утра отправился во дворец Юсуповых. Епископ Исидор сопровождал меня. Молодой Юсупов немедленно вышел к нам взволнованный и бледный.

— Что вы сделали с Распутиным? — спросил я его. Были ли вы с ним у цыган?

— Я не знаю, — пробормотал он. — Мы вместе с ним кутили, но он остался у цыган.

Князь не осмеливался смотреть мне в глаза.

— Сообщите это царице, — ответил я. — Ее Величество очень беспокоится. Она хочет знать, что произошло с Распутиным.

Князь передал мне через несколько минут письмо, в котором говорилось, что ему ничего не известно о пребывании Распутина.

— Я ничего не знаю, — повторял молодой человек.

Тем временем я заметил на полу темные кровяные пятна.

— Чья это кровь на полу? — спросил я его.

Это его не озадачило. Он ответил мне совершенно спокойно, хотя и не глядел на меня.

— Мы застрелили нашу собаку, это не имеет никакого значения.

— Но чем объяснить то, что живущие по соседству модистки слышали несколько выстрелов и кроме того крик: «Не убивайте его»!?

Эти сведения мною были получены от моих агентов, которым я поручил заняться выяснением обстоятельств убийства.

— Это были моя двоюродная сестра и госпожа Коралли, — ответил с деланным спокойствием князь. — Они очень испугались, когда мы стреляли в собаку.

Ничего больше я не мог от него добиться.

Тело Распутина в дубовом гробу доставили в Чесменскую часовню, которая находилась по дороге из Петербурга в Царское Село. Скоро туда прибыли дочери и племянницы Распутина. Я с моими сыновьями также направился туда. Мы увидели в часовне притворявшуюся поклонницей Распутина, а в действительности бывшую агентом Национального клуба Акулину Лаптинскую. По приказанию царицы посторонним доступ в часовню был воспрещен. Дочери Распутина привезли с собой белье и платье. Тело омыли и одели. Епископ Исидор отслужил панихиду. Мы просили об этом митрополита Питирима, но он ответил, что убийство Распутина его слишком расстроило.

Император находился в ставке. Об убийстве Распутина ему было сообщено по телеграфу. Царь приказал разломать весь лед от Петербурга до Кронштадта.

Он поспешил вернуться в Петербург. Убийство Распутина подвергло его в тяжелую грусть.

— Я погиб, — говорил он. Все старались его успокоить, но ничто не могло отвлечь его от грустных мыслей. Он был уверен, что убийство Распутина повлечет за собой и его гибель.

Царица и ее дочери плакали все время. В дворцовой часовне постоянно совершались панихиды. Тело покойного было тайно доставлено в одну часовню в Царском Селе и там погребено. После погребения еще часто совершались службы, на которых присутствовала вся царская семья. Но на них могли присут-

ствовать лишь люди, которые считались ближайшими друзьями царской четы.

На тайных похоронах все члены царской семьи помогали при перенесении гроба в склеп; даже маленький наследник, который держал прикрепленную к гробу черную шелковую ленту. Тело было набальзамировано и над лицом покойного в крышке гроба помещено стекло. На груди покойного была помещена икона, на которой расписались все члены царской семьи. Один офицер, по фамилии Беляев каким-то путем узнал об иконе с подписями членов царской семьи. Для него было ясно, что эта икона могла стать очень ценной для собирателей редкостей, и он решил икону похитить. Ему было трудно узнать место погребения Распутина. Для этой цели он прибег к хитрости. Он познакомился с дочерью Распутина Марьей и выдавал ей себя за тайного поклонника ее отца; но осуществить свой план ему удалось лишь с началом революции. К склепу Распутина он привел толпу революционеров. Гроб Распутина вскрыли, и Беляев взял себе икону, а тело сожгли. Толпа была уверена, что Беляев действовал в интересах революции.

ЗАВЕЩАНИЕ РАСПУТИНА

После убийства Распутина царь продолжал оставаться в подавленном состоянии. Он потерял всю жизнеспособность. Только этим можно объяснить то, что он без особого противодействия подписал свое отречение. Еще до наступления революции царь был уверен в неизбежности катастрофы. Несомненно также, что решающую роль в этом сыграло предсказание Распутина, которое он незадолго до своей смерти в письменной форме передал царю. Оно имело громадное влияние на все действия царя во время переворота.

Предсказание Распутина, о котором идет речь, создалось таким же путем, как создавались все его предсказания, которым он очень гордился. Весь день он находился в приподнятом настроении. Вечером он лег спать. На другой день он поручил мне вызвать к нему его любимца адвоката Аронсона. Он собирался писать свое завещание. Я изумился его намерениям, но исполнил его просьбу. Аронсон провел с нами весь вечер. Распутин написал следующее прощальное письмо:

«Дух Григория Ефимовича Распутина Новых из села Покровского.

Я пишу и оставляю это письмо в Петербурге. Я предчувствую, что еще до первого января я уйду из жизни. Я хочу Русскому Народу, папе, русской маме, детям и русской земле наказать, что им предпринять. Если меня убьют нанятые убийцы, русские крестьяне, мои братья, то тебе, русский царь, некого опасаться. Оставайся на твоем троне и царствуй. И ты, русский царь, не беспокойся о своих детях. Они еще сотни лет будут править Россией. Если же меня убьют бояре и дворяне, и они прольют мою кровь, то их руки останутся замаранными моей кровью, и двадцать пять лет они не смогут отмыть свои руки. Они оставят Россию. Братья восстанут против братьев и будут убивать друг друга, и в течение двадцати пяти лет не будет в стране дворянства.

Русской земли царь, когда ты услышишь звон колоколов, сообщающий тебе о смерти Григория, то знай: если убийство совершили твои родственники, то ни один из твоей семьи, т. е. детей и родных не проживет дольше двух лет. Их убьет русский народ. Я ухожу и чувствую в себе Божеское указание сказать русскому царю, как он должен жить после моего исчезновения. Ты должен подумать, все учесть и осторожно действовать. Ты должен заботиться о твоем спасении и сказать твоим родным, что я им заплатил моей жизнью. Меня убьют. Я уже не в живых. Молись, молись. Будь сильным. Заботься о твоем избранном роде.

Григорий.»

Это пророческое завещание я передал царице. Какое оно на нее оставило впечатление, я не знаю. Она никогда мне об этом не говорила. Она только просила меня не показывать его царю. Я его передал на хранение митрополиту Питириму.

Царь познакомился с завещанием только после смерти Распутина. Я думаю, что царица сама сказала ему о завещании. Царь опасался, что задуманный Национальным Клубом заговор направлен не только против Распутина, но и против него. Отношения его родни становилось более угрожающим. После убийства Распутина Николай II считал себя в серьезной опасности. Он неоднократно совещался с представителями департамента полиции. С тех пор он уже не имел ни к одному человеку на свете доверия.

Это делало его положение еще более безнадежным.

ПОСЛЕ СМЕРТИ РАСПУТИНА

Завещанием «старца» редакция заканчивает публикацию мемуаров личного секретаря Григория Распутина, подготовленную по книге, выпущенной в 20-е годы в буржуазной Латвии.

Делаем мы это лишь потому, что оставшиеся несколько главок этой книги содержат в себе не столько воспоминания Арона Симановича о Распутине, сколько пространные описания послереволюционных перипетий самого автора — причем описаний также крайне субъективных, окрашенных стремлением выпятить свою роль в тех или иных происходивших событиях.

Со смертью Григория Распутина, пишет автор, его магическое влияние на царя и царицу, вопреки надеждам организаторов убийства, отнюдь не ослабло, напротив, Николай II и Александра Федоровна старались во всем следовать указаниям «старца». Вот тут-то и вышел на авансцену Арон Симанович, который убедил, дескать, государя в том, что только он один — как самое доверенное лицо Распутина — был посвящен в планы покойного, и в частности, относительно желательных перемещений в министерских кругах. Подняв из архива несколько старых записок, на которых рукою Распутина были нацарапаны имена, якобы, претендентов на ключевые государственные посты, Симанович показал их царю, и тот, зная почерк «старца» и думая, что действительно выполняет последнюю его волю, сделал ряд высочайших назначений: Добровольского — на пост министра юстиции, Беляева — во главу военного ведомства и т. д.

Исключительным влиянием Распутина объясняет Симанович и то обстоятельство, что государь, будучи хорошо осведомленным о готовящемся против него заговоре, в котором участвовали великие князья, задумавшие — как один из вариантов — объявить Николая II умалишенным, а царицу сослать в монастырь, и до совершеннолетия цесаревича провозгласить Николая Николаевича регентом, не принял по отношению к заговорщикам никаких репрессивных мер: дескать, «старец» — а его воля священна — просил не трогать никого из императорской фамилии.

После свержения монархии на квартиру к Арону Симановичу неоднократно заявлялись вооруженные солдаты и учиняли обыски. Керенский требовал немедленного удаления секретаря Распутина из Петрограда. Скрываясь, Симанович переехал в скромную гостиницу, где и поселился под вымышленным именем, однако вскоре был все же арестован и отправлен в Александро-Невский монастырь, где уже содержались Штюрмер и Питирим, а затем переведен в Петропавловскую крепость, откуда за взятку в 200 тысяч рублей ему удалось освободиться. Отмена распоряжения о высылке его из города обошлась Симановичу еще в 40 тысяч рублей.

И все же, не чувствуя себя в безопасности, секретарь Распутина с семьей перебрался в Киев. «Чтобы совершить эту поездку без риска, — пишет он, — мне пришлось прибегнуть к хитрости. Я изобрзил перелом руки и велел сделать перевязку, к которой была прикреплена надпись, что снять ее разрешалось только в определенный день. Кроме того, я имел врачебное свидетельство, которое удостоверяло перелом. В повязке я спрятал на тысячу каратов брильянтов и миллион рублей наличных денег».

В Киеве Симанович открыл казино, организовал сбор средств среди богатых беженцев, опасающихся погромов, в пользу белой армии — взамен ему гарантировали защиту от черносотенцев, среди которых находился и его «злейший враг» Пуришкевич. Когда город занял Петлюра, Симанович бежал в Одессу; вскоре на пароходе «Продуголь», где в его распоряжение, небезвозмездно, конечно, было предоставлено 50 мест, он прибыл в Новороссийск. Там секретарь Распутина «подружился» с небезызвестным генералом Мамонтовым, который конфиденциально попросил Симановича обменять несколько миллионов имевшихся у него рублей на бриллианты. По городу вскоре поползли слухи, что бывший секретарь Распутина скупает драгоценности. Не раз Симанович подвергался разбойным нападениям — то офицеров, то неизвестных лиц, а однажды к нему, мол, явился сам Пуришкевич, но Симанович чудом спасся. Убийцу же «старца» арестовали и выслали из Новороссийска.

Одну из заключительных главок своей книги Арон Симанович посвятил рассказу о детях Распутина, о их судьбе, а также о тобольских злоключениях царской семьи и многочисленных попытках ее освободить. Поведал он и историю Соловьева, который перед тем как скончаться в Париже от туберкулеза, «признался мне во всем», т. е. в своем предательстве членов императорской фамилии. Не обошел Симанович и Юровского — бывшего «ювелира, похитившего царские брильянты» и поделившего их со своими «товарищами». Рассказ о Юровском секретарь Распутина записал со слов Семена Голубя, жившего в Екатеринбурге, а затем бежавшего в Америку, где в 1922 году его повстречал Симанович.

Как сложилась в дальнейшем судьба Арона Симановича, читателю известно из нашей публикации в № 10 за прошлый год.

Заканчивая печатать воспоминания личного секретаря Григория Распутина, хотим сообщить, что в 1991 г. в «Библиотечке «Слова» среди других книг-приложений к журналу планируется выпуск репринтного издания «Воспоминаний» Арона Симановича.

АННА ВЫРУБОВА

УЗНИЦА ТРУБЕЦКОГО БАСТИОНА

В 3 часа полковник Перетц и вооруженные юнкера меня повезли. Обнявшись, мы расстались с Лили. Внизу Перетц приказал мне сесть в мотор; сел сам, юнкера сели с нами, и всю дорогу нагло глумился надо мной. Я старалась не слушать. «Вам с вашим Гришкой надо бы поставить памятник, что помогли совершиться революции!» Я перекрестилась, проезжая мимо церкви. «Нечего вам креститься, — сказал он, ухмыляясь, — лучше молились бы за несчастных жертв революции... Вот всю ночь мы думали, где бы вам найти лучшее помещение, — продолжал полковник, — и решили, что Трубецкой бастион самое подходящее!» После нескольких фраз он крикнул на меня: «Почему вы ничего не отвечаете?» — «Мне вам нечего отвечать», — сказала я. Тогда он набросился на их величества, обзывая их разными оскорбительными именами, и прибавил, что, вероятно, у них сейчас «истерика» после всего случившегося. Я больше молчать не могла и сказала: «Если бы вы знали, с каким достоинством они переносят все то, что случилось, вы бы не смели так говорить, а преклонялись бы перед ними». Перетц замолчал...

Миновав ворота крепости, подъехали к Трубецкому бастиону. Полковник крикнул, что привезли двух важных политических преступниц. Нас окружили солдаты. Было очень скользко, и вышедший навстречу офицер, казак (Берс) помог мне идти. Он сказал, что заменяет коменданта. Мы шли нескончаемыми коридорами. Меня толкнули в темную камеру и заперли.

Тот, кто переживал первый момент заключения, поймет, что я пережила: черная, беспросветная скорбь и отчаяние. Я упала на железную кровать; вокруг на каменном полу лужи воды, по стенам текла вода, мрак и холод; крошечное окно у потолка не пропускало ни света, ни воздуха, пахло сыростью и затхлостью. В углу клозет и раковина. Железный столик и кровать приделаны к стене. На кровати лежали тоненький волосяной матрац и две грязные подушки. Я услышала, как поворачивали ключи в двойных замках огромной железной двери, и вошел ужасный мужчина с черной бородой, с грязными руками и злым, преступным лицом, окруженный толпой наглых, отвратительных солдат. Солдаты сорвали тюфячок с кровати, убрали вторую подушку и потом начали срывать с меня образки, золотые кольца. Этот субъект заявил мне, что он здесь вместо министра юстиции и от него зависит установить режим заключенным. Впоследствии он назвал себя — Кузьмин, бывший каторжник, пробывший 15 лет в Сибири. Когда солдаты срывали золотую цепочку от креста, они глубоко поранили мне шею. Крест и несколько образков упали мне на колени. От боли я вскрикнула; тогда один из солдат ударил меня кулаком, и, плюнув мне в лицо, они ушли, захлопнув за собой железную дверь. Холодная и голодная, я легла на голую кровать, покрылась своим пальто и от изнеможения и слез начала засыпать под насмешки и улюлюканье солдат, собравшихся у двери и наблюдавших в окошко. Вдруг я услышала, что кто-то постучал в стену, и поняла, что верно это госпожа Сухомлинова, заключенная рядом со мною, и в эту минуту это меня нравственно поддержало...

В первый день пришла какая-то женщина, которая раздела меня донага и надела на меня арестантскую рубашку. Как я дрожала, когда снимали мое белье... Платье разрешили оставить. Раздевая меня, женщина увидела на моей руке запаянный золотой браслет, который я никогда не снимала. Помню, как было больно, когда солдаты стаскивали его с руки. Даже черствый каторжник Кузьмин, присутствовавший при этом, увидя, как слезы текли по моим щекам, грубо заметил: «Оставьте, не мучьте! Пусть она только отвечает, что никому не отдаст!»

Я голодала. Два раза в день приносили полмиски бурды



Анна Вырубова (справа) с сестрой Александрой.

Окончание. Начало в № 9/1989, № 1/1990.

вроде супа, в которую солдаты часто плевали, клали стекло. От него воняло тухлой рыбой, так что я затыкала нос, проглатывая немного, чтобы только не умереть от голода; остальное же выливала в клозет, выливала по той причине, что, раз заметив, что я не съела всего, тюремщики угрожали убить меня, если это повторится. За все эти месяцы мне не разрешили принести еду из дома. Первый месяц мы были совершенно в руках караула. Все время по коридорам ходили часовые. Входили в камеры всегда по нескольку человек сразу. Всякие занятия были запрещены в тюрьме. «Занятие — не есть сидение в казематах», — говорил комендат, когда я просила его разрешить мне шить...

Теперь надо поговорить о моем главном мучителе, докторе Трубецкого бастиона — Серебрянникове. Обходил он камеры почти каждый день. Толстый, со злым лицом и огромным красным бантом на груди. Он сдирал с меня при солдатах рубашку, нагло и грубо насмехаясь, говоря: «Вот эта женщина хуже всех: она от разврата отупела». Когда я на что-нибудь жаловалась, он бил меня по щекам, называя притворщицей и задавая циничные вопросы об «оргиях» с Николаем и Алисой, повторяя, что, если я умру, меня сумеют похоронить. Даже солдаты, видимо, иногда осуждали его поведение..

Первую радость она (надзирательница. — Ред.) доставила мне, подарив красное яичко на Пасху.

В этот светлый праздник в тюрьме я чувствовала себя забытой Богом и людьми. В Светлую Ночь проснулась от звона колоколов и села на постели, обливаясь слезами. Ворвалось несколько человек пьяных солдат со словами «Христос Воскресе», похристосовались. В руках у них были тарелки с пасхой и кусочком кулича; но меня они обнесли: «Ее надо побольше мучить, как близкую к Романовым», — говорили они. Священнику правительство запретило обойти заключенных с крестом. В Великую Пятницу нас всех исповедовали и причащали Святых Тайн; водили нас по очереди в одну из камер, у входа стоял солдат. Священник плакал со мной на исповеди.

Была Пасха, и я в своей убогой обстановке пела пасхальные песни, сидя на койке. Солдаты думали, что я сошла с ума, и под угрозой побить требовали замолчать. Положив голову на грязную подушку, я заплакала... Но вдруг я почувствовала над подушкой что-то крепкое и, сунув руку, ощупала яйцо. Я не смела верить своей радости. В самом деле, под грязной подушкой, набитой соломой, лежало красное яичко, положенное доброй рукой моего единственного теперь друга, нашей надзирательницы...

В № 71 сидела Сухомлинова, в № 72 генерал Воейков. В № 69 сидел сперва Мануйлов. Говорят, он симулировал паралиичное состояние, закрывая то один, то другой глаз. Когда его перевели в Кресты, туда посадили писателя Колышко. Он громко плакал первую ночь; надзирательница сказала, что он отец большой семьи...

Меня повели на первый допрос. За большим столом сидела вся Чрезвычайная комиссия — все старые и седые; председательствовал Муравьев. Вся процедура напоминала мне дешевое представление комической оперетки. Из всех них один Руднев оказался честным и беспристрастным. Меня он допрашивал 15 раз, по четыре раза каждый раз. Он был ошеломлен, когда я благодарила его в конце четвертого допроса, во время которого мне сделалось дурно. «Отчего вы благодарите меня?» — удивился он. «Поймите, какое счастье четыре часа сидеть в комнате с окном и через окно видеть зелень!..» После моего освобождения он высказал, что из моих слов он ясно понял наше несчастное существование...

В день имени государыни, 23 апреля, когда я особенно отчаивалась и грустила, в первый раз обошел наши камеры доктор Манухин, бесконечно добрый и прекрасный человек. С его приходом мы почувствовали, что есть Бог на небе и мы Им не забыты.

Солдаты стали относиться с недоверием к доктору Серебрянникову, находя излишней его жестокость. Следственная комиссия сменила его, так как воля солдат была законом для правительства Керенского. Доктора заменили человеком, который был известен как талантливый врач и в смысле политических убеждений человек им не опасный, разделявший мнение «о темных силах, окружающих престол». Но одного Керенский не знал: что у доктора Манухина было золотое сердце и что он был справедливый и честный человек.

Допросы Руднева продолжались все время. Я как-то раз спросила доктора Манухина: за что мучат меня так долго? Он успокаивал меня, говоря, что разберутся, но предупредил, что меня ожидает еще худший допрос.

Раз он пришел ко мне один, закрыл дверь, сказав, что комиссия поручила ему переговорить со мной с глазу на глаз. Чрезвычайная комиссия, — говорил он, — закончила мое дело и пришла к заключению, что обвинения лишены основания, но что мне нужно пройти через этот докторский «допрос», чтобы реабилитировать себя, и что я должна на это согласиться!.. Многих вопросов я не поняла, другие же вопросы открыли мне глаза на бездну греха, который гнездится в думах человеческих. Когда «осмотр» кончился, я лежала разбитая и усталая на кровати, закрывая лицо руками. (По протоколам Следственной комиссии Вырубова при медицинском освидетельствовании оказалась девственницей. — Примеч. ред.) С этой минуты доктор Манухин стал моим другом, — он понял глубокое, беспросветное горе незаслуженной клеветы, которую я несла столько лет.

24-го августа вечером, в 11 часов, явился комиссар Керенского с двумя «адъютантами», потребовал, чтобы я встала и прочла бумагу. Я накинула халат и вышла к ним. Встретила трех евреев; они объявили, что я, как контрреволюционерка, высылаюсь в 24 часа за границу...

В Рихимякки толпа в несколько тысяч солдат ждала нашего поезда и с дикими криками окружила наш вагон. В одну минуту они отцепили его от паровоза и ворвались, требуя, чтобы нас отдали на растерзание. «Давайте нам великих князей. Давайте генерала Гурко...» Я решила, что все кончено, сидела, держа за руку сестру милосердия. «Да вот он, генерал Гурко,» — кричали они. Напрасно уверяла сестра, что я больная женщина, — они не верили, требовали, чтобы меня раздели, уверяя, что я — переодетый Гурко. Вероятно мы бы все были растерзаны на месте, если бы не два матроса-делегата из Гельсингфорса, приехавшие на автомобиле: они влетели в вагон, вытолкали половину солдат, а один из них — высокий худой, с бледным добрым лицом (Антонов) обратился с громовой речью к тысячной толпе, убеждая успокоиться и не учинять самосуда, так как это позор...

Ночью подъехали к Гельсингфорсу. Всех остальных спутников Антонов отправил под конвоем, меня же и сестру он повел в лазарет, находившийся на станции. Санитары на носилках понесли меня на пятый этаж. Сестра финка, очень милая, уложила меня в постель, дала лекарство, но через полчаса поднялась суматоха, пришел караул с «Петропавловска», матросы, похожие на разбойников, с штыками на винтовках, какие-то делегаты из комитета, требуя, чтобы меня перевезли на «Полярную Звезду» к остальным заключенным. Антонов с ними сердито спорил, но ему пришлось сдаться.

Я спустилась вниз на костылях среди возбужденной толпы матросов. Антонов шел возле меня, все время их уговаривая. На площади перед вокзалом тысяч шестнадцать народу,— и надо было среди них добраться до автомобиля. Ужас слышать безумные крики людей, требующих вашей крови... Я, уверенная, что меня растерзают, чувствовала себя как заяц, загнанный собаками. Антонов посадил меня и сестру в автомобиль и мы начали медленно двигаться сквозь неистовавшую толпу. «Царская наперсница, дочь Романовых. Иди пешком по камням!..» — кричали обезумевшие голоса.

На набережной остановились, пришлось лезть по плоту, доскам и, наконец, по отвесному трапу. Спустились на яхту «Полярная Звезда», с которой связано у меня столько дорогих воспоминаний о плаваниях по этим же водам с их величествами... Яхта перешла, как и все достояние государя, в руки Врем. правительства и на ней заседал «Центробалт». В заплеванной, загаженной и накуренной каюте нельзя было узнать чудную столовую их величеств. За теми же столами сидело человек сто «правителей», — грязных, озверелых матросов. Решались вопросы и судьба разоренного флота и бедной России.

Пять суток, которые я пережила на яхте, я целый день слышала, как происходили эти заседания и говорились «умные» речи. В трюме все было переполнено паразитами; день и ночь горела электрическая лампочка, так как все это помещение было под водой. Никогда не забуду первой ночи. У дверей поставили караул с «Петропавловска», те же матросы с лезвиями на винтовках, и всю ночь разговор между ними шел о том, каким образом с нами покончить, как меня перерезать вдоль и поперек, чтобы потом выбросить через люк, и с кого начать — с женщин или со стариков...

Газеты были полны решениями полковых и судовых комитетов, и все приговаривали меня к смертной казни. Караул приходил от шести рот поочередно. Вначале настроение было очень возбужденное. Когда же поговорят, то смягчались, но до самого конца были такие, которые хотели покончить с нами самосудом. Но не было того одиночества, как в Петропавловской крепости...

Приезжал из Кронштадта курчавый матрос, делегат-большевик. Он расспрашивал о царской семье и моем заключении, а уходя сказал: «Ну, мы вас совсем иной представляли!» Ужасно было то, что всякий мог войти к нам помимо караула. Вскоре пришли человек 10 матросов-большевиков, и насколько первый был учтивый, настолько эти ввалились с громкими криками: «Показать нам Вырубову!» Я вся похолодела. «Лучше выходить», — сказал мне кто-то. Я открыла камеры, и они все сразу окружили меня. Все были очень возбуждены. Стали расспрашивать, и чем больше говорили, тем более становились приветливее. «Так вот вы какая», — говорили они, уходя протянули руки, желали скорее освободиться...

Как ни странно, но зима 1917—1918 гг. и лето 1918 г., были сравнительно спокойными, хотя столица и находилась в руках

большевиков, и я знала, что ни одна жизнь не находится в безопасности. Пища была скудная, цены огромные и общее положение становилось все хуже и хуже. Армия больше не существовала, но я должна сознаться, что относилась хладнокровно к судьбе России: я была убеждена, что все несчастья, постигшие родину, был вполне заслуженными после той участи, которая постигла государя.

Кто не сидел в тюрьме, тот не поймет счастья свободы. На время я была свободна, виделась ежедневно с дорогими родителями; двое старых верных слуг жили со мной в крошечной квартире, разделяя с нами лишения и не получая жалованья — лишь ограждали от врагов. Любимые друзья посещали нас и помогали нам.

Я верила, что скоро наступит реакция и русские люди поймут свою ошибку и грех по отношению к дорогим узникам в Тобольске. Такого же мнения был даже революционер Бурцев, которого я встретила у родственников, и писатель Горький, который, вероятно, ради любопытства, хотел меня видеть. Я же, надеясь спасти их величества или хоть улучшить их положение, кидалась ко всем. Я сама поехала к нему, чтобы мое местопребывание не стало известным. Я говорила более двух часов с этим странным человеком, который как будто стоял за большевиков и в то же время выражал отвращение и открыто осуждал их политику, террор и их тиранство. Он высказывал свое глубокое разочарование в революции и в том, как себя показали русские рабочие, получившие давно желанную свободу. То, что он говорил о государе и государыне, наполнило мое сердце радостной надеждой. По его словам, они были жертвой революции и фанатизма этого времени, и после тщательного осмотра помещений царской семьи во дворце, они казались ему даже не аристократами, а простой буржуазной семьей безупречной жизни. Он говорил мне, что на мне лежит ответственная задача — написать правду о их величествах «для примирения царя с народом». Мне же советовал жить тише, о себе не напоминая. Я видела его еще два раза и показывала ему несколько страниц своих воспоминаний, но писать в России было невозможно. Что я видела Горького, стали говорить и кричать те, кому еще не надоело меня клеймить, но впоследствии все несчастные за помощью обращались к нему. Несмотря на то, что он и жена его занимали видные места в большевистском правительстве, они хлопотали о всех заключенных, скрывали их даже у себя и делали все возможное, чтобы спасти великих князей Павла Александровича, Николая и Георгия Михайловичей, прося Ленина подписать ордер об их освобождении; последний опоздал и их расстреляли...

7-го октября ночью мы были разбужены сильными звонками и стуком в дверь, и ввалились человек 8 вооруженных солдат с Гороховой, чтобы произвести обыск, а также арестовать меня...

Выборгская одиночка построена в три этажа; коридоры соединены железными лестницами; железные лестницы посреди, свет сверху, камеры как клетки, одна над другой, везде железные двери, в дверях форточки. После Гороховой здесь царила тишина, хотя все было полно, редкие переговоры заключенных, стук в двери при каких-нибудь надобностях и шум вентиляторов. Когда замок щелкнул за мной, я пережила то же состояние, как в крепости, — беспросветное одиночество... но старушка не забыла меня, и добрая рука просунула мне кусок хлеба... Заключенная женщина, назвавшая себя княгиней Кекуатовой, подошла к моей двери, сказав, что она имеет привилегию — может ходить по тюрьме и даже телефонировать. Я просила ее позвонить друзьям, чтобы помогли, — если не мне, то моей матери. Она принесла мне кусочек рыбы, который я жадно скушала. Самая ужасная минута, — это просыпаться в тюрьме. С 7 часов началась возня, пришла смена надзирательниц, кричали, хлопали дверями, стали разносить кипяток. У всех почти форточки в дверях были открыты и заключенные переговаривались, но я была «политическая» и «под строгим надзором», и меня запирали. После обморока меня перевели из «одиночки» в больницу. Я была рада увидеть окна, хотя и с решеткой, и чистые коридоры. К камерам были приставлены сиделки из заключенных, которые крали все, что попадалось им под руку, и половину убогой пищи, которую нам приносили. Сорвали с меня платье, надели арестантскую рубашку и синий ситцевый халат, распустили волосы, отобрав все шпильки, и поместили с шестью больными женщинами. Я так устала и ослабела от всех переживаний, что сразу уснула. Меня разбудили женщины, которые ссорились между собой из-за еды; кто-то что-то украл, а одна ужасная женщина около меня с провалившимся носом просила у всех слизывать их тарелки. Другие две занимались тем, что искали вшей друг у друга в волосах. Благодаря женщине-врачу и арестованной баронессе Розен меня перевели в другую камеру, где было получше. В 8 часов утра приходила старушка-надзирательница, на вид сердитая-пресердитая; она раздавала по чайной ложке сахар и под ее наблюдением обносили обед, но в коридорах сиделки обыкновенно съедали полпорции. Рядом с больницей помещалась советская пекарня; надзирательницы и сиделки ходили туда, кто получал, а кто просто крал хлеб. Кроме баронессы Розен и хорошенькой госпожи Сенани, у нас в палате были две беременные женщины, Варя-налетчица и Стеша из «гулящих». Сенани была тоже беременна на седьмом месяце и четыре месяца в тюрьме; потом еще какая-то женщина, которая убила и сварила своего мужа. Трудно было привыкнуть к вечной ругани, доходившей до драки, — и все больше из-за еды. Меняли все, что было: рубашки, кольца и т. д. на хлеб, и крали все, что могли, друг у друга. По ночам душили друг друга подушками, и на крик прибегали надзирательницы. С кем только не встретишься в тюрьме! Были женщины, забытые там всеми, которые скорее походили на животных, чем на людей, покрытые паразитами, отупевшие от нищеты и несчастий, из которых тюремная жизнь создала неисправимых преступников. Но к ворам, проституткам и убийцам начальство относилось менее строго, чем к «политическим», каковой была я, и во время «амнистии» их выпускали целыми партиями. Была раньше в Выборгской тюрьме церковь, которую закрыли, и во время большевистского праздника в ней устроили бал и кинематограф. Священник тайно причастил меня...

Сколько допрашивали и мучили меня, выдумывая всевозможные обвинения! К 25 октябрю, большевистскому празднику, многих освободили: из нашей палаты ушла Варя Налетчица и другие. Но амнистия не касалась «политических». Чего только не навидалась и сколько наслыхалась горя: о переживаниях каторжанок в этих стенах, о их терпении и о песнях, которыми они заглушали свое горе. И мы, госпожа Сенани и я, пели сквозь слезы, забираясь в ванную комнату, когда дежурила добрая надзирательница. 10-го ноября вечером с Гороховой пришел приказ: меня немедленно препроводить туда. Приказ этот вызвал среди тюремного начальства некоторое волнение: не знали — расстрел или освобождение! Я всю ночь не ложилась — сидела на койке, думала и молилась. Утром в канцелярии меня передали конвойному солдату, и в трамвае мы поехали на Гороховую.

Меня обступили все арестованные женщины; помню между ними графиню Мордвинову. Сейчас же вызвали на допрос. Допрашивали двое, один из них еврей; назвался он Владимировым. Около часу кричали они на меня с ужасной злобой, уверяя, что я состою в немецкой организации, что у меня какие-то замыслы против Чека, что я опасная контрреволюционерка и что меня непременно расстреляют, как и всех «буржуев», так как политика большевиков — «уничтожение» интеллигенции и т. д. Я старалась не терять самообладания, видя, что предо мной душевнобольные. Но вдруг после того, как они в течение часа вдоволь накричались, они стали мягче и начали допрос о царе, Распутине и т. д. Я заявила им, что настолько измучена, что не в состоянии больше говорить. Тут они стали извиняться, «что долго держали». Вернувшись, я упала на грязную кровать; допрос продолжался три часа. Кто-то из арестованных принес мне немного воды и хлеба. Прошел мучительный час. Снова показался солдат и крикнул: «Танеева! С вещами на свободу!» Не помня себя, вскочила, взяла свой узел на спину и стала спускаться по лестнице. Вышла на улицу, но от слабости и голода не могла идти. Остановилась, опираясь об стену дома. Какая-то добрая женщина взяла меня под руку и довела до извозчика. За 50 рублей довез он меня на Ферштадскую. Сколько радости и слез!..

6 ноября я свиделась с матерью. Туда же пришла моя тетя, сказав, что она нашла мне хороший приют — но совсем в другой стороне. Мне пришлось около десяти верст идти пешком, и часть проехать в трамвае. Боже, сколько надо было веры и присутствия духа! Как я уставала, как болели ноги и как я мерзла, не имея ничего теплого!.. Кто-то мне подарил старые галоши, которые были моим спасением все это время.

Новая моя хозяйка была премилая, интеллигентная женщина. Она раньше много работала в «армии спасения». У нее я отдохнула, но она боялась оставить меня у себя более 10 дней и обратилась к местному священнику. Последний принял во мне участие и рассказал некоторым из своих прихожан мою грустную историю, и они по очереди брали меня в свои дома.

Раз ко мне пришла знакомая эстонка, предлагала бежать в Финляндию, сказав, что одна женщина-финка за большие деньги переводит через границу. Какое-то внутреннее чувство тогда предсказало мне им не доверяться, и оказалось, правда. Взяв деньги, женщина эта завела барышню в лес и затем, сказав, что дальше идти нельзя, скрылась. Эстонка эта вернулась в Петроград пешком, без денег и под страхом ежеминутного ареста.

В конце концов, очутилась в квартире одного инженера, где нанимала комнатку. Домик стоял в лесу далеко за городом. Кроме других благодеяний этот человек позаботился первый сделать мое положение легальным. Он взял у знакомого священника паспорт девушки, которая вышла замуж, потом заявил, будто потерял его, и таким образом получил для меня новый паспорт, благодаря которому я получила карточку и право на обед в столовой. Насколько я могла и умела по хозяйству, я помогала ему. Целый день он проводил на службе; возвращался поздно, колол дрова, топил печки и приносил

из колодца воду. Я же согревала суп, который готовился из овощей на целую неделю. По субботам приезжала его невеста. Конечно, я часто была совсем голодна. Мать и старичок, ее духовник, приносили мне что могли, равно как и мой друг, которая служила в столовой.

В январе 1920 года инженер женился, и я перешла к другим добрым людям, которые не побоялись приютить меня. Самое мое большое желание было поступить в монастырь. Но монастыри, уже без того гонимые, опасались принять меня: у них бывали постоянные обыски, и молодых монахинь брали на общественные работы. Теперь другой добрый священник и его жена постоянно заботились обо мне. Они не только ограждали меня от всех неприятностей, одиночества и холода, делясь со мной последним, отчего сами иногда голодали, но нашли мне и занятие: уроки по соседству. Я приготовила детей в школу, давала уроки по всем языкам, и даже уроки музыки, получая за это где тарелку супу, где хлеб. Обуви у меня уже давно не было, и я ходила босиком, что не трудно, если привыкнешь, и даже, может быть, с моими больными ногами легче, особенно когда мне приходилось таскать тяжелые ведра воды из колодца или ходить за сучьями в лес. Жила я в крохотной комнатке, и если бы не уйма клопов, то мне было бы хорошо. Вокруг — поля и огороды. В тяжелом труде, спасителе во всех скорбных переживаниях, я забывала и свое горе, и свое одиночество, и нищету.

Осенью стало трудно и я перешла жить к трамвайной кондукторше: нанимала у нее угол в ее теплой комнате. Но я оставалвсь без обуви. Весь день до ночи таскалась по улице... Одна из моих благодетельниц, правда, подарила мне туфли, сшитые из ковра, но по воде и снегу приходилось их снимать, и тогда я мерзла, но ни разу не болела, хотя стала похожа на тень.

Начали приходить письма из-за границы от сестры моей матери, которая убеждала нас согласиться уехать к ней. Зная, сколько риска сопряжено с подобными отъездами, мы сначала отказались.

В декабре пришло письмо от сестры, настаивавшей на нашем отъезде: она заплатила большие деньги, чтобы спасти нас, и мы должны были решиться. Но как покинуть родину?

Отправились: я босиком, в драном пальтишке. Встретились мы с матерью на вокзале железной дороги и, проехав несколько станций, вышли... Темнота. Нам было приказано следовать за мальчиком с мешком картофеля, но в темноте мы потеряли его. Стоим мы посреди деревенской улицы: мать с единственным мешком, я с своей палкой. Не ехать ли обратно? Вдруг из темноты вынырнула девушка в платке, объяснила, что сестра этого мальчика, и велела идти за ней в избушку. Чистенькая комната, на столе богатый ужин, а в углу на кровати в темноте две фигуры финнов, в кожаных куртках. «За вами приехали», — пояснила хозяйка. Поужинали. Один из финнов, заметив, что я босиком, отдал мне свои шерстяные носки. Мы сидели и ждали; ввалилась толстая дама с ребенком, объяснила, что тоже едет с нами. Финны медлили, не решаясь ехать, так как рядом происходила танцулька. В 2 часа ночи нам шепнули: собираться. Вышли без шума на крыльцо. На дворе были спрятаны большие финские сани. Так же бесшумно отъехали. Хозяин избы бежал перед нами, показывая спуск к морю. Лошадь провалилась в глубокий снег. Мы съехали... Почти все время ехали шагом по заливу: была оттепель, и огромные трещины во льду. То и дело они останавливались, прислушиваясь. Слева, близко, казалось, мерцали огни Кронштадта. Услыхав ровный стук, они обернулись со словами: «Погоня», но после мы узнали, что звук этот производил ледокол «Ермак», который шел, прорезывая лед за нами. Мы проехали последними... Раз сани перевернулись, вылетела бедная мама и ребенок, кстати сказать, преиесносный, все время просивший: «Поедем назад». И финны уверяли, что из-за него как раз мы все попадемся... Было почти светло, когда мы с разбегу поднялись на финский берег. Окоченелые, усталые, мало что соображая, мать и я пришли в карантин, где содержали всех русских беженцев. Финны радушно и справедливо относятся к ним, но, конечно, не пускают всех, опасаясь перехода через границу разных нежелательных типов. Нас вымыли, накормили и понемногу одели. Какое странное чувство было — надеть сапоги...

И у меня, и у матери душа былв полна неизъяснимого страданья: если было тяжело на дорогой родине, то и теперь подчас одиноко и трудно без дома, без денег...

П О С Л Е С Л О В И Е

Когда окончание воспоминаний Анны Вырубовой было уже сдано в набор, из-за рубежа пришло сообщение, опровергающее информацию как журнала «Прожектор» (№ 6, 1926 г.), опубликовавшего некролог о смерти бывшей фрейлины последней российской императрицы, так и Советского энциклопедического словаря (1990 г.), в котором с определенной долей неуверенности сказано, что Анна Вырубова «умерла после 1929 года». И вот совсем недавно выяснилось, что утверждение СЭС, оказывается, намного ближе к истине, чем краткий некролог в «Прожекторе».

Итак, что же обнаружилось?

В результате исследований, связанных с судьбой Анны Вырубовой, проведенных отцом Арсением из Ново-Валаамского монастыря, удалось установить, что под своей девичьей фамилией (Танеева) фрейлина прожила в Финляндии более четырех десятилетий. Скончалась она в 1964 году в возрасте 80 лет и похоронена в Хельсинки на местном православном кладбище.

В Финляндии Анна Александровна вела, по словам отца Арсения, очень замкнутый образ жизни в тихом лесном уголке Озерного края, на что были свои причины. Во-первых, выполняя данный перед тем, как покинуть Родину, обет, она стала монахиней; во-вторых, многие эмигранты не желали общаться с человеком, чье имя скомпрометировано одним лишь упоминанием рядом с именем Григория Распутина. Правда, жить на территории монастыря, заниматься физическим трудом Анна Александровна не могла, поскольку передвигалась на костылях (последствие железнодорожной катастрофы 1915 г.), и посему обряд ее пострижения в инокини был совершен тайно, что, однако, в те годы довольно часто случалось, особенно в среде эмигрантов.

Многие годы бывшая фрейлина работала над мемуарами. В 1937-ом с одним финским издательством был уже заключен договор на публикацию воспоминаний, но тогда книга так и не вышла — Анна Вырубова изменила решение и по необъяснимым причинам распорядилась при ее жизни мемуары не издавать. Вышли они лишь в 1987 году на финском языке. С тех пор книга дважды переиздавалась. Хронологически повествование охватывает период с детства Анны Вырубовой до свержения царизма. Книга снабжена фотографиями, рассказывающими о жизни императорской семьи. Значительная часть снимков сделаны самой Анной Александровной.

Две заключительные главы написаны иеромонахом Арсением. Первая представляет собой пересказ ранее изданных мемуаров Анны Вырубовой о ее жизни в революционной России, вторая посвящена финскому периоду. Отец Арсений лично не был знаком с фрейлиной, однако хорошо знал другую русскую эмигрантку — Веру Запевалову, много лет жившую в одном доме с Анной Вырубовой. Запевалова умерла в 1985 году. Незадолго до смерти она передала отцу Арсению книги и документы, которые завещала ей Анна Александровна. Среди них: семь писем, полученных фрейлиной от членов царской семьи из Тобольска; все они переданы в музей православной церкви в финском городе Куопио. Многие вещи до сих пор хранятся в монастыре: в частности, рисунки, сделанные рукой императрицы и царевича Алексея, почтовые открытки с автографами царицы и ее детей, их фотографии, а также акварельные пейзажи самой Анны Александровны Вырубовой.

«СЛОВО»-91

Учитывая, что в нынешних условиях ваш выбор, уважаемые читатели, литературно-художественных периодических изданий может стать весьма ограниченным в связи с новыми ценами, советуем обратить внимание на наш журнал.
В последний год редакция «Слова» вместе с подписчиками, — полемизируя и обсуждая, — искала новый образ и тип литературно-художественного иллюстрированного «тонкого» журнала, отвечающего высоким духовным потребностям читателей. Однако подобные издания — редкость не только у нас, но и в мировой практике. И все же нам кажется, что мы приближаемся к желаемой модели.
Широкое представительство авторов, книжных новинок, разнообразие и неожиданность литературных произведений, в том числе мало или совсем недоступных, возвращаемых из зарубежья и спецхранов, из-под идеологических пломб — вот наш принцип. Мы не всегда имеем возможность печатать целиком большие произведения. Потому наше правило — представлять авторов и указывать верный адрес в выборе литературных, исторических, философских первоисточников. Это делает наше издание единственным, уникальным, своеобразным литературно-художественным «дайджестом», журналом журналов — путеводителем в современном отечественном и мировом книжном мире. «Слово» может заменить вам многие литературно-художественные издания и все более недоступные по цене книги.

Руководствуясь этим принципом, мы уже познакомили вас
— с творчеством Леонида Леонова и Альфреда Хичкока, Валентина Пикуля и Дж. Родари, Лиона Фейхтвангера, народных артистов СССР Георгия Жженова и Александра Ведерникова;
— с воспоминаниями *Лили Брик*, Александры Толстой, Эльзы Триоле, Анны Гумилевой, адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова, Б. Спорова, Г. Вагнера;
— с литературным наследием А. Ахматовой, И. Северянина, С. Писахова, В. Хлебникова, Д. Мережковского, Б. Шергина, Л. Мартынова, Н. Рубцова;
— с художниками и скульпторами В. Мухиной, Ю. Ракша, В. Клыковым;
— с представителями «Русского Зарубежья» А. Солженицыным, Б. Филипповым, А. Авторхановым, З. Шаховской, И. Шмелевым, Б. Зайцевым, А. Ремизовым, В. Набоковым, М. Алдановым, Е. Замятиным;
— с жизнью, мыслями и деяниями протопопа Аввакума, П. Флоренского, Н. Бердяева, В. Вернадского, Н. Лосского, патриарха Тихона, архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого), епископа И. Брянчанинова;
— с отрывками из воспоминаний Антуана де Сент-Экзюпери, У. Черчилля, Р. Гелена, с эссе А. Мальро, Шарля де Голле, с работами М. Джиласа *и* К. Чапека, с очерками и рассказами К. Гамсуна;
— с фрагментами из книг М. Родзянко, А. Шляпникова, П. Милюкова, С. Мстиславского, А. Деникина, М. Палеолога, Г. Зиновьева, Л. Троцкого, А. Гучкова, ... Мейкова, П. Жильяра;
— с искусством Рафаэля, Рокуэлла Кента, Андрея Рублева.
В оставшихся до конца года номерах читатели познакомятся:
— с главами из воспоминаний Айседоры Дункан и «Параллельной истории СССР» Луи Арагона;
— с продолжениями романа А. Дюма (отца) «Последний платеж», повестью Д. Жукова «Встреча с ясновидцами», исторического произведения Д. Мордовцева «Великий раскол».

«СЛОВО»-91 ПРЕДСТАВЛЯЕТ

— **постоянных авторов,** которые выразили согласие и впредь сотрудничать с редакцией:

писателей-современников — **Виктора Астафьева, Леонида Бежина, Василия Белова, Виктора Бокова, Юрия Бондарева, Леонида Бородина, Владимира Бушина, Ивана Васильева, Бронтоя Бедюрова, Михаила Воздвиженского, Сергея Воронина, Михаила Вострышева, Юрия Галкина, Глеба Горбовского, Павла Горелова, Глеба Горышина, Владимира Гусева, Николая Дорошенко, Бориса Екимова, Анатолия Жукова, Дмитрия Жукова, Станислава Золотцева, Владимира Крупина, Юрия Кузнецова, Валентина Курбатова, Виктора Лихоносова, Юрия Лощица, Вячеслава Марченко, Олега Михайлова, Михаила Юхму, Гария Немченко, Бориса Олейника, Петра Паламарчука, Михаила Петрова, Сергея Плеханова, Виктора Плотникова, Юрия Прокушева, Валентина Распутина, Всеволода Сахарова, Сергея Семанова, Михаила Синельникова, Эдуарда Скобелева, Валентина Сорокина, Бориса Спорова, Николая Старшинова, Анатолия Ткаченко, Ивана Уханова, Леонида Фролова, Евгения Чернова;**

писателей Русского Зарубежья — **Зинаиду Шаховскую, Александра Солженицына, Владимира Максимова, Абдурахмана Авторханова, Андрея Тарасьева, Валентину Синкевич, Александра Зиновьева, Алексея Киселева, Михаила Соловьева;**

ученых — академиков **Б. Рыбакова, Н. Толстого, Е. Челышева,** членов-корреспондентов АН СССР **О. Трубачева, И. Шафаревича,** члена-корреспондента АН БССР **О. Лойко,** известного пушкиниста Героя Социалистического Труда **С. Гейченко,** докторов наук **Г. Вагнера, Н. Дмитриеву, Н. Скатова, А. Швиденко;**

деятелей культуры — **Ирину Архипову, Веру Брюсову, Валерия Гаврилина, Анатолия Заболоцкого, Вячеслава Клыкова, Бориса Козмина, Владимира Минина, Валерия Сергеева, Сергея Сюхина, Сергея Харламова, Виктора Харлова, Савелия Ямщикова;**

— **постоянные рубрики,** которые вызвали наибольший интерес читателей: «Духовники», «Русская мысль», «Исповедь», «История», «Народные мемуары», «Планета», «Жития святых», «Вечные спутники», «Таинства магии», «Истоки».

«СЛОВО»-91 ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ РАЗДЕЛЫ

— «Террор и гражданская война» (продолжение рубрики «От Февраля до Октября») — *свидетельства очевидцев и участников* (вождей красного и белого движений) по материалам редчайших изданий 20-х годов, таких как «Архив русской революции» Гессена (Берлин), «Архив гражданской войны» (Берлин), «Революция и гражданская война в описаниях белогвардейцев» (сост. С. А. Алексеев, М.-Л., Госиздат). Журнал предоставит свои страницы Центральному государственному архиву Октябрьской революции, который откроет постоянный раздел — не публиковавшиеся *в нашей стране материалы* зарубежных *архивов* русской эмиграции;
— «Народная жизнь» — своеобразный «Домострой XX века», сведения, как строить, как созидать свой дом, свою семью, свою жизнь, основываясь на вековых традициях, на философских и нравственных идеалах народа, причем часть публикаций составят материалы из готовящейся «Русской энциклопедии»;
— «Популярные издательские серии», где читатель познакомится с наиболее интересными актуальными книгами, готовящимися к печати.

«СЛОВО»-91 ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРЯЕТ

рубрику **«Русское Зарубежье»** — посредством прямых контактов с рядом эмигрантских журналов и издательств.

«СЛОВО»-91 ВЕДЕТ ПОИСК

— доступной для всех популярной публикации, которая продолжила бы тему, начатую «Жизнью Иисуса» Э. Ренана — в непременном сопровождении на цветной вкладке редких икон;
— исторического романа, долгое время не доступного советскому читателю, который можно было бы печатать из номера в номер целый год.

Ждем ваших предложений.

«СЛОВО»-91 ТРАДИЦИОННО ПОСВЯЩАЕТ

№ 6 — Александру Сергеевичу Пушкину,
№ 9 — Льву Николаевичу Толстому,
№ 12 — Федору Михайловичу Достоевскому.
А в № 5 отметит 100-летие со дня рождения Михаила Булгакова публикацией оригинальных материалов о жизни и творчестве писателя.

В «СЛОВЕ»-91 БУДУТ ПРОДОЛЖЕНЫ

— заинтересованный разговор о Слове, о живой речи, о языке литературном и языке нашего общения;
— вернисажи художников и фотомастеров, книжных графиков и иллюстраторов, которым в каждом номере отводится цветная вкладка;
— викторины, игры, конкурсы, связанные с выдающимися книгами, известными писателями, их творчеством и судьбой. По традиции победителей ждут призы.

Таковы лишь некоторые аспекты нашей программы на 1991 год. Большинство из них основано на предложениях подписчиков.
Чем конкретно наполнить запланированные разделы — тоже зависит от пожеланий наших читателей.
Информацию о книгах, рекламу изданий, характеристику литературного процесса, сведения о новинках, библиографию, тематические подборки — все это читатель также найдет на страницах «Слова».
Судя по редакционной почте, среди многих других категорий читателей, журнал «Слово» вызывает интерес у школьных учителей и преподавателей вузов, у библиотечных работников и книголюбов, которые, мы надеемся, станут нашими постоянными пропагандистами и помогут еще шире раздвинуть круг наших подписчиков. Напоминаем, что отсутствие журнала в розничной продаже, вызванное общей нехваткой бумаги, позволяет редакции рассчитывать лишь на рекламу да на энтузиастов, наших доброжелателей, которые не забудут напомнить о журнале «Слово» своим знакомым, друзьям, коллегам по работе и т. д. Особенно важна эта поддержка сегодня, когда многие издания могут перестать существовать в привычно-традиционной форме. Подобных трудностей можем не избежать и мы, учитывая, что на журнал «Слово» также устанавливается новая, более высокая, цена. Сохранить старую возможно только при принципиальном изменении полиграфических компонентов — изъятие цветной вкладки, замена бумаги на газетную и т. д., что совершенно меняет издание. Считаете ли вы, уважаемые читатели, что это нужно сделать?
В старом каталоге «Союзпечати», в разделе центральных журналов, ищите нас под прежним названием «В мире книг», индекс 70110.
Не откладывайте свой выбор до конца подписной кампании.

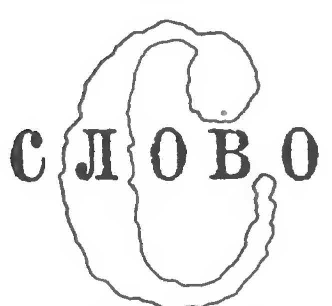
Сегодня мы публикуем Абонемент на вторую книгу нашей репринтной библиотечки-приложения: «Воспоминания» Анны Вырубовой. В сборник войдет как фальшивый «Дневник» фрейлины императрицы, так и ее подлинные мемуары.

В 1991-м году серия «Библиотечка журнала «Слово» будет продолжена (до 5 книг в год).



УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Для того, чтобы стать обладателем этой книги, надо вырезать Абонемент, заполнить его, вложить в обычный почтовый конверт и отправить по адресу: 117168, Москва, ул. Кржижановского, 14, магазин № 93 «Книга — почтой». Книга будет выпущена в ноябре-декабре т. г. Абонемент высылать в магазин не позднее 1 декабря 1990 г.
Деньги ПОСЫЛАТЬ НЕ СЛЕДУЕТ. Стоимость книги (ориентировочная цена 6 руб. 00 коп.) и тариф за ее пересылку оплачиваются в почтовом отделении по месту вашего жительства при получении бандероли.

Литературно-художественный журнал Госкомпечати СССР.
Издается с сентября 1936 года.
№ 8. 1990.



ЖУРНАЛ РЕДАКТИРУЮТ:

Художественно-технический редактор **Е. М. Верба**
Технический редактор **Н. Н. Козлова**
Корректор **М. Х. Асалиева**

Сдано в набор 24.05.90.
Подписано в печать 06.07.90. А01643.
Формат 84×108/16.
Бумага Знаменская 100 г.
Печать глубокая и офсетная.
Усл.печ.л. 8,40+0,84+0,42.
Усл.кр.-отт. 21,42.
Уч.-изд. 13,85+0,78.
Тираж 238 000.
Заказ 1243.
Цена 90 коп.

Адрес редакции:
129272, Москва,
Сущевский вал, 64

Телефон для справок: 281-50-98

Ордена Трудового Красного Знамени Калининский полиграфкомбинат Госкомпечати СССР.
170024, г. Калинин,
проспект Ленина, 5.

В НОМЕРЕ:

ВРЕМЯ. Идеи. Диалоги. Поиски.

ИСПОВЕДЬ. Дневники. Письма. Воспоминания.

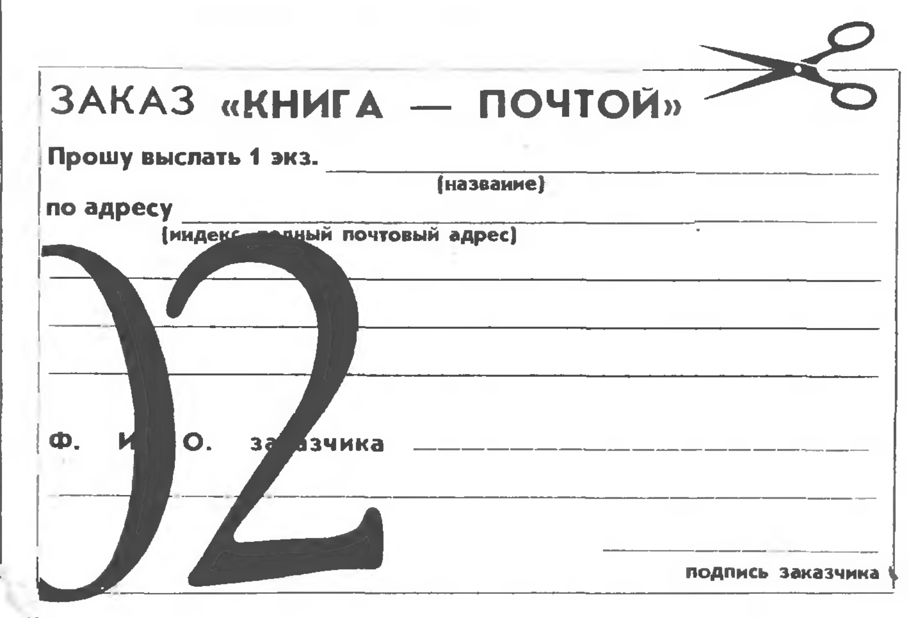
ОТ ФЕВРАЛЯ ДО ОКТЯБРЯ

ИСКУССТВО. Графика. Живопись. Скульптура.

ИСТОКИ. Легенды. Исследования. Находки.

ЛИТЕРАТУРА. Стихи. Рассказ. Портрет.

ИСТОРИЯ. Очерки. Мемуары. Документы.





Сергей Харламов.
Н. Гоголь. Вечера на хуторе близ Диканьки.
Ксилография.



Геннадий Павлов
Райский Алконост. 1985 год.
Читайте о художнике
на стр. 32.

ISSN 0321—0561. Слово 1990. № 8. 1—88. Индекс 70110. 90 коп.